

Третья часть  
Третья часть

# НОВОБЫІ МІІІ

12

НОВОБЫІ МІІІ

12



1947

# Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXIV

№ 12

Декабрь 1947 г.

---

---

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
САЛЮТ, ИСПАНИЯ! — Предисловие	3
ПЕДРО ГАРФИАС — Сталин, поэма. Перевел с испанского Федор Кельин	4
ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ — И они не покорились	6
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ — Трагедия Испании	11
СЕСАР М. АРКОНАДА — Знамя, стихотворение. Перевел с испанского Федор Кельин	19
ХОСЕ БЕРГАМИН — Партизанка, стихотворение. Перевела с испанского Инна Тынянова	20
АНТонио АПАРИСИО — Рубен Руис Ибаррури, стихотворение. Перевел с испанского Федор Кельин	21
АЛЕКСАНДР РОДИМЦЕВ, дважды Герой Советского Союза — Воспоминания капитана республиканской армии	22
Р. КАРМЕН — Дыхание Мадрида. Из блокнота кинооператора	29
О. САВИЧ — Николас. Страницы воспоминаний	44
СЕРЖ ГРУССАР — С партизанами Галисии	67
ЭУСЕБИО СИМОРРА — Там, где костер еще пылает	74
КРИСТИНО ГАРСИА — Последнее письмо	81
МАНУЭЛЬ ПОНТЭ — Открытое письмо английскому послу в Испании	84

---

ЧАРЛИ ЧАПЛИН — Комедия убийств, киносценарий. Перевод с английского М. Абкиной	87
КОНСТ. ФЕДИН — Необыкновенное лето, роман. Продолжение	155

### КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

Б. РУНИН — Молодые голоса. Заметки о лирике	191
Г. ЛЕНОБЛЬ — История и литература	217

### На зарубежные темы

СЕРГЕЙ КОЗЕЛЬСКИЙ — Индустрия лжи. Быт и нравы американской прессы	232
--	-----

---

Содержание журнала «Новый мир» за 1947 год	254
--	-----

---

### ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

Москва



---

---

## САЛЮТ, ИСПАНИЯ!

*Испания... Мадрид... Вечнозеленые лавры, пыльные плоскогорья, крапленые рыжим кустарником. Красная, каменистая земля, зеленые звезды и луна, начищенная до блеска, словно старинный солдатский котелок из меди. Все мы хорошо помним те дни, когда в далекой Испании фашист Франко поднял вооруженный мятеж, и в газетах появились первые военные сводки «с мадридского фронта».*

*Мы уже знали, как пришел к власти Гитлер; как был подожжен рейхстаг; мы уже слышали обличительные речи Димитрова на Лейпцигском процессе. Мы уже знали, что такое фашизм, и предчувствовали, что рано или поздно он посягнет на нашу страну социализма.*

*Борьба испанских республиканцев с фашистскими мятежниками была первым в мире открытым вооруженным столкновением сил демократии с силами фашизма. Мы понимали это. И наши сердца были тогда в окровавленном Мадриде, наши мысли были с его защитниками, и кто бы мог сосчитать, сколько советских юношей оказалось бы в рядах солдат республиканской Испании, если бы все те из нас, кто хотел драться на передовых позициях борьбы с фашизмом, имели тогда возможность выполнить свое желание. Наши маленькие братья и сестры носили тогда испанские пилотки и, поднимая кулачки на уровень плеч, восклицали:*

*— Салют, Испания!*

*Этот возглас стал названием пьесы, которая шла в московском театре, стал заголовком статей, которые печатались в московских газетах. Сталин сказал тогда: «...освобождение Испании от гнета фашистских реакционеров не есть частное дело испанцев, а — общее дело всего передового и прогрессивного человечества».*

*Испания! Больше десятилетия миновало со дня начала борьбы, с тех пор, когда там, на Иберийском полуострове, обливаясь кровью, поднимались в которую уже по счету контратаку солдаты генерала Лукача, когда упрямые танкисты победно вели свои машины на Брунете.*

*Почти десятилетие прошло с печальных дней временного поражения республиканской Испании. Больше двух лет прошло с тех пор, как советские солдаты вошли в тот самый фашистский Берлин, из которого Гитлер посылал своих летчиков бомбить республиканский Мадрид.*

*Германский фашизм, который хотел подчинить себе весь мир, сокрушен. Он будет сокрушен во всем мире. Рано или поздно фашизм будет разбит и в Испании. Советские люди внесли самый большой вклад в дело борьбы с фашизмом. На их долю выпали самые большие жертвы в этой борьбе, и потому они будут всегда помнить о бойцах республиканской Испании, о бойцах интернациональных бригад, о людях, первыми вступивших в открытый бой с фашизмом. И об еще не отомщенных жертвах этой борьбы, зарытых в испанской земле.*

*Публикуя в этом номере журнала ряд статей, воспоминаний, стихотворений, писем, посвященных героической борьбе испанского народа с фашизмом, борьбе, начавшейся в 1936 году и не прекращающейся до сегодняшнего дня, мы хотим не только вспомнить о прошлом, но и сказать о настоящем. Мы хотим вместе с нашими читателями подумать и о будущих днях этой борьбы, которая будет увенчана полной победой. Эти дни придут — в том не сомневается ни одно честное и мужественное вердце на земном шаре.*

---

---

---

# СТАЛИН

*Поэма*

ПЕДРО ГАРФИАС

★

Есть в мире то, что заставляет плакать  
Поникшие деревья. Есть дожди,  
Опасные для роз и для стекла.  
Есть бури, потрясающие замки  
Сердечных грез; кровавых жалоб, стонов  
И ужаса исполнены они.  
Есть голоса, что вопрошают тайно  
Траву и стены; взоры, что безмолвно  
Устремлены к созвездиям ночным;  
И есть миллионы неизвестных жизней,  
Бесплодный труд, чужую им заботу  
Влачат они по камню мостовых.  
Есть резкий ветер, страшный ветер ночи,  
Под ним испуганною злою крысой  
В безумье мечется клубок жестокий  
Кровавых дел, наживы и насилья.

И лишь твое сияющее имя  
Во мраке ночи светит нам всегда.  
Оно везде. В том плуге, что проводит  
Для новой жатвы в поле борозду,  
В рубанке столяра, в душистом хлебе,  
В суровом камне. Им живет рабочий,  
И партизан, в глаза глядящий смерти,  
И пахарь, ждущий жатвы, и художник,  
Мечте послушный. На устах у них  
В часы томительные страшной ночи  
Твое лишь имя, С т а л и н. И его услышав,  
Земля как будто плечи расправляет,  
Согбенные под бременем страданий.  
О, если бы не ты, с твоею силой,  
С твоей высокой мудростью, с твоим  
Простым и добрым словом, с твердым шагом,  
Кто свет принес бы нам, кто путь вперед  
Нам указал бы, кто б вдохнул в нас песню,  
Предтечу лучезарную зари?

Вчера сошло спокойствие на землю:  
Ты кровь свою, кровь своего народа,

Людей спасая, отдал на борьбу.  
И твой народ — он мой, тебя ж своим  
Зовут народы мира.  
Сгнил старый мир. Мы знаем это, все  
Те, кто свободы жаждет. Но настал  
Проклятый час молчанья. Стиснув зубы,  
Должны мы ждать и ждать, и снова ждать,  
И снова ждать...

Я заклинаю кровью,  
Что в дни войны потоком затопила  
Твою страну, где жатвы расцветали.  
И трактором, что превратился в танк,  
И колосом, созревшим гневной пулей, —  
Скажи! Коснется ли когда-нибудь  
Моя нога земли моей отчизны,  
Согреется ль еще душа суровой  
И вместе жаркой ласкою равнин  
Родной земли, исчезнет ли позор,  
И сбросит ли Испания моя,  
На поруганье отданная крысе,  
Свои оковы, старые оковы  
(Ты их разбил для твоего народа),  
И успокоятся ль в своих гробах  
Герои битвы за ее свободу?

Скажи, товарищ! Ведь в тебе одном  
Для нас, кто жить не может без свободы,  
Грядущей справедливости залог!

*Перевел с испанского Федор Кельин*



---

---

## И ОНИ НЕ ПОКОРИЛИСЬ...

ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ



**Т**ак было в испанскую войну с 1936 по 1939 год. «Мир», который выдавал себя за «весь мир», мир международной дипломатии, открывал дорогу гитлеровской агрессии. Мир Мюнхена, мир торгующих родиной, мир разбойников из шайки тресгов, мир, где все переводится на деньги, начиная с чести женщины и кончая спасением души, — этот мир был против испанского народа, героически сопротивлявшегося грубой фашистской агрессии, итало-германской интервенции.

«Ничего!», — говорил наш народ, сжимая кулаки и не страшась ни материального, ни количественного превосходства врагов, бросившихся на него. Как герой песни о Роланде, он не стал считать их. На это у него не было времени. Он знал, что их много. и что они сильны.

Но народ доверился самому себе и своей истории.

Кантабрийская ярость, 200 лет сопротивлявшаяся римским легионам, воскресла в боях Басконии. Баски защищали не только свою землю, но когда это нужно было, помогали тем, кто в скалах Астурии воскрешал эпопею «реконкисты» (отвоевания Испании у мавров).<sup>1</sup>

Сагунто и Нумансия (города, оказавшие наибольшее сопротивление римлянам) вдохновляли мадридское сопротивление, бойцов Эстремадуры, Леванта и Арагона...

Наш народ понял тяжесть задачи, которую история возложила на его плечи, и не отказался от нее. Он решил выполнить ее с честью.

Миллион погибших в жестокой, неравной борьбе трагически свидетельствует о решимости испанцев не покоряться, бороться за свою свободу, помочь другим народам быть свободными. Ведь наша война была не только нашей. Это была война всех народов, которые знали, что им грозит, и в ту минуту чувствовали, что их представляет один народ. Наш народ. Испанский народ, который отдавал жизнь на защиту свободы и международной безопасности на Гвадарраме и в Сомосьерре, в окопах Университетского городка и на Эбро, под Брунете и под Бельчите, на Гвадалахаре и под Теруэлем (крупнейшие бои 1936—1939 годов).

Всемирное значение нашего дела провозгласил Сталин. Его золотые слова словно резцом выгравировались в сознании каждого испанца, обладавшего душой свободного человека, они с восторгом повторялись из края в край нашей земли всеми, кто любил свободу: «...освобождение Испании от гнета фашистских реакционеров не есть частное дело испанцев, а — общее дело всего передового и прогрессивного человечества».

Эту потрясающую истину — всемирность нашего дела, — которую многие отказывались признать, а другие пытались отрицать, засвиде-

<sup>1</sup> Всё взятое в скобки — примечания переводчика.

тельствовали своей кровью люди интернациональных бригад, прибывшие из всех стран мира, чтобы сражаться вместе с нами. Для многих из них это означало и борьбу за их собственную родину, страдавшую под игом фашистской тирании.

Наши матери окружили этих героев любовью, наши матери благословляли их, как собственных сыновей.

Испанский народ был достоин этих жертв, этой трогательной солидарности. Он достоин их и сегодня, несмотря на то, что его терзает фашистский хищник. Во времена крайнего разложения правящих каст люди без веры и без мужества называли испанцев народом без силы и без здоровья.

Это несправедливое утверждение стало модным и распространенным среди так называемой «элиты», — ведь ей стоило посмотретья в зеркало, чтобы притти к такому убеждению, принимая свое ничтожество за выражение народной сущности, на самом деле великодушной и великоколенной.

Фашистская агрессия в июле 1936 раскрыла ложь этого «нарцисизма» навыворот.

Чувство опасности, угрожающей родине мятежом Франко, всколыхнуло до дна национальную гордость в глубинах народного сознания и оживило гордую любовь к свободе и независимости, придавленную в народе годами бедствий, предательства, бесчестной торговли национальным достоинством и национальным достоянием во времена монархии, под властью жадных и бездарных правящих классов.

Ошиблись и те, кто думал, будто заковать испанский народ в цепи фашистского рабства — дело легкое.

К решимости народных масс защититься от грубого нападения присоединились в 1936 новые факторы, которые лишили Франко возможности добиться победы без помощи иностранной интервенции.

Это прежде всего — существование коммунистической партии, закалившейся во время восстания 1934 года (так называемое Астурийское восстание горняков), партии с высоким чувством национальной и революционной ответственности, готовой защищать Республику, полной решимости в борьбе за свободу, способной организовать и возглавить эту борьбу. Затем — единство народных демократических сил, заразившихся энтузиазмом коммунистов в защите Республики, демократических прав народа и независимости Испании.

Сопротивление организовалось, и организовалось на испанский манер. То есть — на всенародной базе. Наш великий поэт Антонио Мачадо говорил: «Лучшее в Испании — это народ», «В тяжелые переходные минуты господчики говорят о родине и продают ее, а народ не называет ее, но выкупает своей кровью»...

И этот народ наш, героический страстотерпец, в течение всего прошлого столетия борющийся за либеральную конституцию, восставший в 1820 вместе с Риего, который заставил трусливого короля поклясться в верности конституции, народ, в течение 90 лет трижды сбрасывавший монархию, — это тот самый народ, который 18 июля 1936, возмущенный фашистской агрессией, вышел на улицу, чтобы защитить свою свободу, защитить право Испании жить в качестве свободной и независимой страны. Республиканские бойцы не ждали пощады от врага. Но и не предлагали ее.

«Война до последнего!», — восклицали испанцы в 1808 году, сражаясь с иностранными захватчиками. «Война до последнего!», — повторяли наши бойцы, услышав, что комитет по невмешательству лишил

их оружия для защиты от фашистской агрессии, от вторжения итало-германской солдатчины.

Те, кто знал испанский народ только по черным легендам или по экзотической литературе, отказывались верить тому, что они увидели.

«Еще одна эспаньолада» (этим ироническим словом испанцы обозначают всю ту специфическую экзотику, с помощью которой буржуазное искусство и буржуазная пресса изображают испанскую национальную сущность), — говорили некоторые неверящие. Что же! Эта эспаньолада решала вопрос о мире всего мира.

«Отсталым испанцам, полуафриканцам, не удастся то, чего не смогли сделать народы «культурные» и «цивилизованные», — с ослиной важностью уверяли другие.

Но испанцы показали тем тупицам, которые судят о культуре народа по высоте зданий, по ранжиру улиц или по манере есть или одеваться, что от кораблекрушения испанской империи осталось нечто, чего не разрушили ни конквистадоры, ни захватчики, ни бедствия, ни национальные катастрофы, ни измена, ни бездарность правящих классов: остался народ, подаривший цивилизации Новый свет, народ, когда-то овладевший всем чудесным богатством арабской цивилизации. Народ, из недр которого вышли самые смелые мореплаватели и самые гениальные исследователи.

Народ Сервантеса, Лопе де Вега, Кальдерона, Аларкона, Кеведо, народ кастильских комунерос (восстание XVI века), валенсийских повстанцев, галисийских «братств». Народ, в 1808 восставший против Наполеона, народ, на счету которого слава битв под Байленом, Хероной, Сарагоссой и бессмертного сражения в Мадриде 2 мая 1808 года!

Из недр народа вышли такие замечательные герои, как антитанкист Колль, солдат Селестино Гарсиа, комиссар Бельмонте, Лина Одена, майор Леаль, Хуанин, Андрес Мартин... Такие командиры, как генерал Модесто, Листер, Бельтран — командир 43-й дивизии, и столько других — имя им легион!

А вместе с народом в боевом братстве сражались профессиональные военные, моряки, летчики — генерал Рохо, Кордон, Прадос, Идальго де Сиснерос, Сиутат, Галан и столько других, сохранивших до конца верность Республике...

32 месяца борьбы и героизма, усилий, труда, лишений, страданий, изумительных политических, экономических и социальных достижений, побед и поражений, — это история военного сопротивления Испании гитлеризму и фашизму.

О войне против фашизма, которую народные массы вели с 18 июля 1936 по март 1939, вдвойне справедливо сказать то, что испанский историк сказал о национальном сопротивлении наполеоновским войскам: «В каком веке померкнет слава тех побед и тех поражений? Ведь в народных войнах поражением называется мученичество, искупление и апофеоз погибших, которые служат залогом победы для выживших». Да, история испанского сопротивления вовсе не закончилась вступлением фашистских легионов в Мадрид.

Страница перевернулась, и началась новая глава. Глава о нелегальной борьбе, борьбе на перекрестках, борьбе без сияния славы, борьбе, в которой смерть стережет на каждом углу, в которой ежедневно, ежедневно испытывается не только закал души бойца, но и его способности, упорство, твердость, — чтобы трудности не останавливали его, чтобы ищейки, яростно преследующие его, не обнаружили его...

И если Испания первой в мире узнала ужас разрушенных городов, сравненных с землей фашистской авиацией, то ей же выпала печаль-

ная привилегия раньше других узнать чудовищные преследования незащитного населения со стороны фашистских преступников. Она узнала ужас массовых уничтожений, пыток, непередаваемого мученичества сотен тысяч мужчин и женщин, заключенных в концентрационные лагеря, посланных в каторжные трудовые батальоны.

Жестокие кары настигают сегодня не только тех, кто боролся в рядах республиканцев, но даже тех, кто просто жил на территории республиканского лагеря.

Тысячи крестьян были расстреляны, или задушены, или брошены живыми в Вилльяробледо, в Альбасете — в карьеры, из которых добывается глина для кирпичей.

Три года открытой борьбы и восемь лет сопротивления и тайной борьбы не исчерпали боевой готовности испанского народа.

Ни голод, ни террор, ни самые страшные пытки не поставили наших людей на колени. Эти люди и перед казнью так смелы и тверды, что палачи бледнеют.

Вот что пишет накануне казни один из осужденных на смерть, наш Кристино Гарсиа, командир испанских партизан и бывший командир французских партизан:

«Мы, несколько коммунистов, словно уже одеты в саван, и когда ты получишь это письмо, нас, конечно, уже не будет на свете.

И мы хотим сказать тебе, что никто не смог вырвать из наших уст ни одной жалобы и никто не смел в нашем присутствии безнаказанно оскорбить славное имя нашей Партии...

Мы пали в борьбе, это судьба. Но мы знаем, что много тысяч испанцев, коммунистов и не коммунистов, продолжают нашу борьбу...

Меня зверски пытали...

Мы довольны своей судьбой, гордимся тем, что сумели жизнь прожить честно, быть достойными звания коммунистов, и это дороже жизни. Мне все равно, что скажут обо мне фашисты, мне важно лишь то, что скажет обо мне народ, которому я и все мы обязаны всем.

За него, за его свободу я боролся и буду бороться до последней минуты. И когда эта минута наступит, будьте уверены, товарищи, скромный коммунист сумеет умереть, как подобает коммунисту...»

Кристино Гарсиа был расстрелян, но его смерть, как и смерть Рамона Виа, как смерть многих тысяч героев, не долго будет радовать убийц. «Не может быть рабом народ, который умирать умеет».

Есть в Андалузии, в Эстремадуре и Галисии партизаны, которые 11 лет скитаются в горах, которых преследуют, как дичь, которые исчезают в одном месте, чтобы появиться в другом, которым помогают крестьяне, которые организуют в деревнях сопротивление и карают фашистов, замешанных в терроре.

В тех странах Европы, где беспощадно и справедливо разможжена голова фашистской гены, воспевается слава и героизм участников подпольной борьбы.

Бессмертным сиянием окружены имена тех, кто указал грядущим поколениям путь борьбы, самопожертвования, патриотического труда, кто целиком посвятил себя служению народу, отечеству, возродившемуся из крови и воли лучших.

К героям Краснодона, к партизанам генерала Ковпака, к югославским бойцам, к тысячам подпольных бойцов Франции, Чехословакии, Польши, Болгарии, Албании, Греции, павшим в борьбе, мы присоединяем наших героев — Кристино Гарсиа, Рамона Виа, Касто Гарсиа Роса, Эдуарда Торреса, Хосе Мачадо, Мануэля Понте, Ларраньягу, Диегеса, Асарту, Баррейро... Одни были партизанскими командирами,

другие — политическими руководителями, и умерли за то, чтобы Испания жила и была свободной!..

Стена коварного замалчивания окружает испанскую подпольную борьбу и партизанские выступления.

Но когда вслед за партизанами Галисии, Андалузии, Сиудад Реаля и Толедо выступают партизаны Теруэля и Валенсии; когда вслед за прошлогодними стачками каталонских текстильщиков разразились стачки в Мадриде и Пасакесе и огромная первомайская стачка в Бильбао, — то уже стало невозможно умалчивать о существовании борьбы против фашизма в Испании, уже невозможно не понимать, что испанский народ прилагает все усилия, чтобы покончить с фашистской тиранией.

Это большое стачечное движение в рабочем и демократическом Бильбао было не только сигналом для совести народов, но и нанесло серьезный удар по политике тех, кто, отрицая самое существование испанского народного сопротивления, маневрирует в кулуарах, чтобы спасти франкистский режим, укрывая его под крылышко монархии, восстановление которой замышляют реакционные круги по ту и по сю сторону Атлантического океана.

Решимость пролетариата Басконии, — а в данном случае он выражает и представляет волю большинства испанского народа, — вновь ставит вопрос о Республике.

Лед сломлен. Массы пришли в движение. Демократическая Испания этим выступлением трудящихся Басконии, как и своим ежедневным сопротивлением и враждебностью франкизму, выявила свою волю к борьбе и свое желание покончить с фашистским режимом, залившим испанскую землю кровью.

Стачка в Басконии, как и ежедневные выступления всего народа оживляют и укрепляют надежды на близкое падение Франко, на восстановление Республики и демократии в Испании.

Мы надеемся, что в этом справедливом деле, которое интересует сегодня, как и вчера, все передовое и прогрессивное человечество, нам не будет недоставать поддержки и солидарности со стороны других народов и всех тех людей, которые трудятся и борются за то, чтобы исчезли ненавистные тирании и чтобы мир и дружба воцарились среди народов.



---

---

## ТРАГЕДИЯ ИСПАНИИ

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ



**В** годы войны мы благоговейно повторяли это слово: справедливость. Мы тосковали тогда не только по миру, не только по счастью, мы тосковали по справедливости. Девятое мая... Я вспоминаю тот светлый весенний день и в тоске отворачиваюсь от частой сетки дождя, от серой полосы газеты с последними телеграммами.

Пять лет тому назад немецкие промышленники подсчитывали доходы; они зарабатывали на орудиях, которые крушили наши города, они зарабатывали и на «газенваген», на «душегубках», в которых фашисты душили детей. Пять лет тому назад американцы слали телеграммы герою Сталинграда, они тогда говорили, что советский народ поможет справедливости восторжествовать. А теперь? Теперь американцы говорят, что советский народ это угроза справедливости, теперь американцы на банкетах чествуют немецких промышленников.

Пять лет тому назад на «фабриках смерти», построенных немцами, палачи терзали, убивали миллионы евреев, уроженцев Варшавы и Парижа, Минска и Салоник, Праги и Амстердама. Пять лет тому назад англичане говорили, что это страшное преступление и что евреи ждут справедливости. Евреи дождались... В 1947 году несколько тысяч несчастных людей, стариков, подростков, женщин с детьми, которые чудом уцелели на «фабриках смерти», попали в руки к англичанам. Что же с ними сделали демократы, джентльмены, гуманисты? Они пустили против женщин слезоточивые газы, избивали стариков резиновыми дубинками, они заглушали плач детей джазом, точь-в-точь как это делали палачи Освенцима и Майданека. Англичане насильно отвезли евреев в Гамбург, посадили их в концлагерь и поручили сторожить недорезанных испытанным немецким резакам.

Мы слишком многое видели, и все же при слове «Испания» кровь подступает к лицу. Одиннадцать лет назад Германия Гитлера вместе с Италией Муссолини напали на испанский народ. Только Советский Союз стоял тогда за поддержку правительства Испанской республики. Английские консерваторы и французские социалисты решили выдать Испанию фашистам; и не все ли равно, кем из них руководила звериная злоба, кем — звериный страх? Испания первая приняла на себя удар двух фашистских империй; почти три года она сопротивлялась и пала в неравной борьбе. Отбомбив Мадрид и Барселону, немцы начали бомбить Париж и Лондон.

В годы войны англичане, американцы, французы клялись, что они уничтожат фашизм во всем мире. Кончилась война. Нет Гитлера. Сгнил Муссолини. Но в Мадриде попрежнему сидит Франко и гестаповцы пытаются испанских патриотов. А господа из Вашингтона, которые ежедневно на конвейере произносят речи о торжестве справедливости, гос-

года из Лондона, которые называют себя социалистами, господа из Парижа, которые пять лет назад скрывались в маки вместе с испанскими республиканцами, выгораживают генерала Франко. Недавно газета г. Блюма «Попюлер» опубликовала сообщение «Идерпресс» о «комнатах пыток» в Испании 1947 года. Мы узнали, что арестованных там бьют особыми дубинками по рту и по паху, подвешивают за ноги, прижигают тело и что (цитирую «Попюлер») «допросами руководят немцы, им переводят все показания, и немцы указывают, в каком направлении должно вестись следствие». Итак, два года спустя после разгрома гитлеровской Германии гитлеровцы пытаются людей в испанских городах, а французские социалисты, которые якобы возмущаются этой вопиющей несправедливостью, приоткрывают закрытую было границу с Испанией и тем самым спешат на выручку Франко. Это ли не издевательство над справедливостью? Я не дал бы раскрыть рта ни одному благородному говоруну, будь то американец, англичанин или француз, не прервав его возгласом: «Сударь, а Испания?..»

Но не только чувство справедливости заставляет нас неизменно возвращаться к трагедии Испании, мы любим эту страну, ее большую культуру, ее благороднейший народ. Испанцы знают, что любовь к ним мы доказали не словами — кровью. Есть подвиги, есть могилы, которые будут умилять и вдохновлять поколения испанцев.

Много лет тому назад молодой советский поэт Михаил Светлов написал прекрасные стихи о Гранаде. В уста украинца-красноармейца; героя гражданской войны, он вложил слова:

«Красивое имя,  
Высшая честь,  
Гранадская волость  
В Испании есть  
Я хату оставил,  
Пошел воевать.  
Чтоб землю в Гранаде  
Крестьянам отдать».

Чем была тогда Гранада для чужестранцев? Звонким именем, городом, где высится мавританская Альгамбра, названием мебелирашек или кафе-шантанов. А крестьяне провинции Гранада тогда и не мечтали о земле. Поэзия тем велика, что она не регистрирует, а предопределяет. Весной 1936 года я увидел, как крестьяне «гранадской волости» двинулись в поход за землей, и тогда Испания пела переложенную на испанский язык песню: «Гранада, Гранада, Гранада миа»...

Наша любовь взаимна. Я был в Испании до войны, был там во время войны, видел и торжество народа и его беды, веселую толпу на Пуэрта дель Соль и последний исход через Пиренеи. Мне хочется напомнить, что далеко от нас, на другом краю Европы, есть страна, где слово «русо» — «русский» открывает все двери, все сердца. Фашисты много толковали о магии крови, о таинстве расовой общности. Но не похож винодел Каталонии на приволжского землепашца, мало общих корней в русском и кастильском языках. Видимо, любовь не поддается анализу антрополога или лингвиста...

Перед нападением фашистов на Испанию в одной испанской деревне я слышал бесхитростные стихи о Сталине. Их сочинил крестьянин, которого звали Санчо Перес. Я тогда их перевел почти дословно, они лучше многих статей говорили о причинах взаимной любви:

«Плакали дети. Кричали ослы.  
Плохо жили крестьяне.  
Был один человек, он трубку курил.  
Его имя было: Сталин».

Он жил далеко, там летом снег,  
 Туда на осле не доехать.  
 Он сказал: «Маслина растет для всех.  
 Зачем обижать человека?»  
 Он хотел, чтобы все пили вино.  
 Он хотел, чтобы дети смеялись.  
 Я сегодня почистил ружье  
 И сказал матери: «Сталин».  
 Мать у меня темна и стара.  
 Я сказал ей сегодня «Сталин»,  
 Это все равно, что сказать «мать»,  
 Это все равно, что сказать «товарищи».  
 Если меня застрелит враг,  
 Отдай ружье младшему брату.  
 Нужно уметь умирать,  
 Нужно уметь сражаться,  
 Сталин думает о Москве,  
 Я думаю о моей деревне,  
 Но у нас с ним один свет,  
 Одно горе, одна победа».

Эти стихи были сложены в ту весну, когда испанский народ, поняв, что его земле, свободе, будущему грозят враги. Правая мадридская газета «АБС» тогда писала: «Канцлер Гитлер во всеуслышание объявил новую доктрину: среди европейских стран не может быть вассалов. Испания стала страной красного рабства. Европа не сможет равнодушно глядеть на торжество большевизма, она вмешается в наши дела, как однажды вмешалась в дела России». В моей записной книжке рядом — стихи Санчо Переса и статья «АБС». Несколько месяцев спустя Гитлер показал, как он понимает рабство и свободу. Генерал Франко сделался его первым вассалом, а на деревню Санчо Переса упала первая немецкая бомба.

Говорят: в Испании была только гражданская война. Но разве можно назвать «только гражданской войной» борьбу французских партизан против Лавалы? Разве можно назвать гражданской войной борьбу норвежских патриотов против Квислинга? В Испании были народ и предатели, государство и пятая колонна, республика и наемники. На Испанию напали Италия и Германия. Подписан мирный договор с новой Италией. Говорят о мирном договоре с Германией. А в Испании англосаксонские миротворцы оставили итальянского и немецкого ставленника, иберийского Лавалы, мадридского Квислинга — Франко. Пусть они не прикидываются ни законниками, ни миролюбцами — на них кровь испанского народа.

Может быть американцы не помнят, кто именно посадил на престол генерала Франко? Я видел, как на улицах Мадрида, Барселоны, Валенсии рвались немецкие бомбы, на узких улицах, вечно заполненных детворой. Кровь испанских детишек была первой распиской Гитлера. Может быть англичане забыли, что различные «юнkersы», «хейнкели», «мессеры» до того, как они показались над Лондоном, терзали города Испании? Мы помним Ковентри. Но до Ковентри была Герника... Я не забуду первой встречи с фашистским летчиком, его звали обер-лейтенант Кауфман. Когда его спросили, почему он бомбил городок Пуэрто-Льяно, где не было ни солдат, ни складов, он равнодушно ответил: «Мы проверяли действие бомб, сбрасываемых с разной высоты». Я не удивился, встретив пять лет спустя обер-лейтенанта Кауфмана в Белоруссии. Была последовательность в его поведении. Но что сказать о тех людях, которые сначала шептали обер-лейтенанту Кауфману «плиз, сильвупле, бомбите, мы ведь в это не вмешиваемся», потом в метро Парижа и в щелях Лондона бурно проклинали обер-лейте-

нанта Кауфмана, а сейчас, когда тысячи таких обер-лейтенантов в Мадриде истязают испанцев, снова заговорили о преимуществах невместительства. Что это? Ветренность? Нет, холодный расчет. Сейчас им не страшен обер-лейтенант Кауфман, сейчас они страшатся испанского народа.

В годы войны генерал Франко честно служил своим хозяевам. Официально Испания не выступила на стороне оси, на деле она стала вульгарным сателлитом Германии. Франко составил из палачей и босячья «голубую дивизию» и послал ее на Восточный фронт. Генерал Муньос Грандес убивал новгородских колхозников, участвовал в блокаде Ленинграда, разрушал дворцы Пушкина. Мы знаем, что испанский народ не отвечает за злодеяния фалангистов, но Лондон и Вашингтон отвечают: они спасли негодяев, которые вешали русских девушек, они спасли генералов Эстебана Инфантеса, Муньоса Грандеса, Гарсиа Наварро, которые убивали советских солдат, они спасли генерала Франко. Ничего нет удивительного в том, что фашист Франко поддерживал фашиста Гитлера. Но удивительно, что американские демократы, английские лейбористы, французские социалисты выгораживают фашиста Франко. Впрочем, и это скорее отвратительно, чем удивительно...

Иначе вел себя испанский народ, преданный мнимыми друзьями, обескровленный чужими и доморощенными гестаповцами; все эти годы он продолжал бороться против фашизма.

Я был на испано-французской границе, когда республиканцы покидали родину. Страшным был тот исход, шли и солдаты, и старики, и крестьянские семьи. Правительство Далады поставило на границе сенегальцев, которые не понимали, кто перед ними. Победленных, но доблестных героев встретили, как преступников, их посадили в концлагери, которые мало чем отличались от немецких. Испанцы знали, что виновен в происшедшем не французский народ, и два года спустя не было в маки Франции ни одного отряда, где рядом с французами не сражались бы испанцы.

В нашей стране нашли приют многие испанцы, главным образом дети, подростки. Когда немцы напали на нас, испанские дети были уже юношами. Однажды в длинном списке награжденных партизан, среди русских имен, я увидел: Хосе, Хуан, Родриго, Фернандо, Пабло... Отважные испанцы ходили по волховским болотам с «бутылками», с толом, с гранатами. (Есть теперь на нашей земле могилы, которых мы не забудем). Дело не в военной помощи: что значит горстка храбрецов в той гигантской битве, которая не замолкала четыре года? Но кроме арифметики существует счет сердца, и никогда мы не поставим кровь героев рядом с машинами или с тушонкой.

Я сказал, что англо-саксами, когда они предадут Испанию, руководит холодный расчет. Испания, которую называют отсталой, никогда не согласится пристроиться в обозе истории. Испанцы выделяются своей бескорыстностью, мужеством, культом человеческого достоинства. Американцам и англичанам нужен Франко с его фалангой, с его гестаповцами, с его тюрьмами, чтобы не допустить к власти испанский народ. Ведь нищие, часто неграмотные крестьяне Кастилии или Арагона политически куда просвещеннее американских фермеров. Рабочих Барселоны или Севильи не околпачить ни проповедями Маршалла, ни анафемами министра торговли Гарримана.

Перевалив через Пиренеи, видишь другой мир. Сказываются особенности исторического развития Испании, пережитки феодализма, гнет фанатической церкви, связь правящей касты с иностранным капиталом, глубокий демократизм народа, слияние идеи национальной независимости

сти с идеей социального освобождения. Уголь, руда, медь, ртуть находятся в руках чужеземных дельцов. Испанская буржуазия ленива и невежественна. Местные товары могли прежде конкурировать с привозными только благодаря чрезвычайно низкой оплате труда. Земля принадлежит аристократии, причем землевладельцы живут в Мадриде, а батраками правят деспотические управляющие; поместья огромные, помню, например, земли герцога Арнауэлоса — пятьдесят тысяч га. Батраки живут в городках — снимают комнату или угол. Крестьяне возле Лорки ютятся в пещерах. Пастухи в Лас Урдес или в Санабрии не знают крова, кроме дымных землянок. Богатейшие монастыри, статуи богородиц, у которых по дюжине платьев, расшитых золотом, драгоценными камнями, лохмотья крестьян, голодные города, где люди мечтают о гороховой колбасе или о чашке супа с бобами, трущобы Барселоны, лоск молодых бездельников. Такой была Испания при королях, потом при Хиле Роблесе; теперь контрасты сгустились, и английские корреспонденты, описывая Мадрид, говорят, что нигде в Европе нельзя увидеть таких роскошных автомобилей и таких оборванных голодных горемык. Развалины трех военных лет и новые тюрьмы, десять лакеев на каждого «кабальеро» и тысяча непокорных на каждого лакея, вот Испания наших дней. Думая о том огне негодования, который жив в сердце испанского народа, англо-саксы ведут переговоры с претендентом на престол Бурбонов, с Хилем Роблесом, с генералами и епископами, с продувным Прието — им хочется заменить чересчур заметного Франко более скромным тюремщиком, но они боятся расшевелить костер.

Испания не страна министерских комбинаций. Она была страной военных хунт и всемогущих иереев, страной заговоров, молчаливого горя, длинных дорог, длинных песен, длинной судьбы. Но той Испании больше нет: она исчезла вместе с королем, вместе с эфемерной карьерой болтливых адвокатов и генералов, на час прикинувшихся республиканцами. В 1931 году еще можно было убаюкать испанцев беспечными разговорами о «республике трудящихся всех классов» (причем к трудящимся были причислены сиятельные лодыри вплоть до герцога Арнауэлоса). Слишком дорого заплатил испанский народ за свою доверчивость: кровью астурийских горняков, годами черной реакции, сговором между Франко и зарубежными фашистами, страшной войной, фашистским террором. Теперь в горах Астурии, Каталонии, Кастилии отряды партизан — «герильерос» — сражаются против Франко и его фаланги. Кто поддерживает Франко? Доллар, английская дипломатия, анафемы Ватикана, бежавшие из Германии питомцы Гиммлера. А партизан поддерживает испанский народ. Я далек от желания преуменьшить силы врагов — за спиной испанских фашистов стоит черная сотня всего белого света. Но я знаю мужество испанского народа и не сомневаюсь в исходе поединка. Победит народ, и победит не для того, чтобы на место Франко посадить короля, Хиля Роблеса или Прието.

Увидев впервые Испанию (это было шестнадцать лет назад), я писал: «Испания — не Кармен и не тореадоры, не король Альфонс, не дипломатия Лерруса, не романы Бласко Ибаньеса, не все то, что вывозится за границу и подается, как сугубо испанское, вместе с аргентинскими танцорами и поддельной малагой. Нет, Испания — это двадцать миллионов оборванных Дон-Кихотов, это бесплодные скалы и горькая обида, это песни грустные, как шелест сухой маслины, это гул забастовщиков, среди которых не сыщешь «желтого», это доброта, участливость, человечность. Великая страна, она сумела сохранить отроческий пыл, несмотря на все старания инквизиторов и тунеядцев, Бур-

бонов, шулеров, стряпчих, англичан, наемных убийц и титулованных сутенеров».

Потом я увидел испанский народ в годы страшных испытаний, увидел добрых старых крестьян, которые пошли с охотничьими ружьями против танков, увидел героизм юношей и девушек, защищавших Мадрид, увидел, что люди, повторявшие «но пасаран» — «они не пройдут», действительно умирали, но не отходили.

Я был на последнем заседании испанского парламента, оно состоялось под землей в подвалах старого замка — пограничный городок Фигерас фашисты день и ночь бомбили. Старичок принес в темный погреб маленький коврик, хотел прикрасить агонию свободы. Его убила бомба...

Ни разу мне не удавалось в Испании заплатить крестьянину за фрукты, за сыр или за вино. Один крестьянин мне ответил: «Улыбка дороже пезеты». Вряд ли это поймут люди с Уолл-стрита, и вряд ли они примирятся с раскрепощением народа, который, почитая человека, искренно и глубоко презирает деньги.

Весной 1938 года один политический деятель Англии заявил на банкете: «Конечно, мы оплакиваем судьбу испанских детей, но не можем забывать об испанской меди, руде, угле. Нам надоело донкихотствовать!» Теперь много пишут о гениальной книге Сервантеса. Нужно ли подчеркивать национальную сущность «Дон-Кихота», которая не мешала тому, что рыцарь печального образа объехал всю землю и заглянул в сердца разноплеменных читателей? В испанском искусстве все время чувствуешь жестокий реализм, иронию и ощущение трагического. Даже «чудеса богородицы», относящиеся к тринадцатому веку, реалистичны, монах Гонсало де Берсео подробно рассказывает, как, желая спасти соблазненную монахиню, святая дева превратилась в повивальную бабку. Так называемые «кошмары» Гойя, ужасные видения войны, когда я глядел на них в 1936 году, казались мне точным выражением действительности. Испанская ирония резко отличается от французской шутовщины и английского юмора — она беспощадна. В XIV веке в Испании жил замечательный поэт, протоиерей из Ита, он написал «Книгу доброй любви», в которой издевался и над жизнью общества и над многими чувствованиями (стоит добавить, что поэзия привела его в тюрьму). Есть настоящий трагизм и в бессмертных строфах поэта XV века Хорхе Мандрике, посвященных смерти, и в удлинненных лицах Эль Греко, и в «Разрушении Герники» современного художника Пабло Пикассо, сложные пути которого встречают сложную и противоречивую оценку, но который непонятен вне ощущения Испании. «Дон-Кихот» изумительный синтез всех свойств испанского духа. Он начинается, как сатира, и кончается утверждением разума, который выше рассудка, и чести, которая выше честности. Для испанца Дон-Кихот это не жалкая борьба с ветряными мельницами, это эпопея самоотверженности, история порывов и заблуждений, слабости и силы, апофеоз человеческого достоинства. О, разумеется, опасны в политической борьбе или в стратегии ошибки Дон-Кихота, это знают и испанцы. Знают они также другое: торгаш уверяет, что ему «надоело донкихотствовать», а народу не надоело и не надоест отстаивать справедливости.

Испания много дала человечеству, ее искусство и литература бессмертны; достаточно назвать имена Сервантеса и Лопе де Вега, Кеведо и Кальдерона, Веласкеса и Сурбарана, Греко и Гойя, чтобы измерить лепту этой земли. Архитектура Кордовы, Толедо, Сеговии, Саламанки, Гранады, Севильи восхищала и будет восхищать людей всех стран,

Может ли народ, создавший такое искусство, пойти за Франко, за его прусскими держимордами и американскими банкирами? Автор блистательной книги о «Дон-Кихоте», Мигель Унамуно, долго блуждал, путался, был он в политике наивен до слепоты. И все же перед смертью он бросил в лицо фашистам великолепные слова: «Вы можете победить, вы не можете убедить». Фалангисты расстреляли прекрасного поэта, молодого Гарсиа Лорка. Другой большой поэт, старый Антонио Мачадо, прошел весь горький путь защитников Республики и умер, перейдя границу Франции. В изгнании теперь поэт Рафаэль Альберти, писатель Хосе Бергамин, многие другие. В годы испанской войны Пабло Пикассо создал «Разрушение Герники» и альбом «Мечты и ложь Франко». У Франко нет ни поэтов, ни художников, его воспевают сотрудники «Дэйли мэйл», и глаз его радуют зеленые кредитки, отпечатанные в Вашингтоне.

Еще до войны я видел, с какой любовью простые люди Испании относятся к великому прошлому своей страны. Председатель муниципалитета села Эскалона, батрак и коммунист, показал мне рукописи XII века. Его предшественник, фашист, «хранитель традиции», выкинул эти рукописи из шкапа, а коммунист сказал: «Мы отправим их в музей».

В Мадриде жил крупный медик, профессор Мануэль Маркес. Когда началась война и фашисты подошли к Мадриду, профессор эвакуировался, он повесил на двери своего дома записку: «В папках труды профессора Мануэля Маркеса, плоды тридцатилетней работы». Несколько месяцев спустя он получил письмо: «Профессор Мануэль Маркес! Твой дом, настоящий храм науки, разрушен фашистами, но «красные неучи» спасли тридцать лет твоей работы. Будь уверен, что мы отстроим твой дом заново. Все твои приборы и восемьдесят пять папок с бумагами в сохранности. Красный солдат Габриэль Эрнандес Ринсон». Что к этому добавить? Правда, красные солдаты еще не отстроили дома для профессора. Франко на деньги, полученные из Лондона и Нью-Йорка, построил немало тюрем, и в тюрьмах сидят рядом рабочие и ученые, друзья профессора Маркеса и друзья солдата Ринсона. Но тюрьмы не вечны, вечен народ.

Я был в Мадриде, когда вывозили оттуда сокровища музея Прадо, полотна Веласкеса, Сурбарана, Греко, Гойя. Их спасли простые люди, солдаты республиканской армии.

Таков народ, против которого выступают лицемерные защитники культуры и демократии. Мы неизменно возвращаемся к трагедии Испании, потому что нам бесконечно дорог этот народ, его замечательное прошлое и его будущее. Испания теперь отрезана от мира. Издалека смутно доносятся выстрелы партизан, залпы палачей. Но мы знаем этот народ, знаем, что не угасает его творческая сила. Для нас Испания не только музей, не только земля, где много дорогих нам, советским людям, могил, — это земля, где много детей, где и теперь растут гении будущего.

Страшно генералу Франко: он понимает, что его дни сочтены. Он ответит за все: за развалины Мадрида, за кровь детей, за «голубую дивизию», за самолеты Берлина и за чаевые Лондона. Прошлым летом я был в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности, когда обсуждался вопрос об Испании. Я помню унылое безразличное лицо представителя Англии, усмешку американца, растерянность француза. В такой-то раз все они торжественно дали генералу Франко отпущение грехов. Но этого отпущения не дал генералу испанский народ, и несмотря на все красноречие г. Кадогана, герильерос Астурии не сложили оружия. В древнем испанском эпосе есть потрясающий рассказ о короле Родриго,

который, потеряв Испанию, бродил по стране. Отшельник приказал ему от имени бога лечь живым в могилу и положить на грудь змею. Три дня и три ночи король ждал смерти, наконец с облегчением сказал: «Змея меня поцеловала». Генерал Франко молчит. Но его давно поцеловала не вульгарная медянка, а золотая американская гадюка. Нет больше Испании Франко, есть новая колония англо-саксов, кладовая для обедневших британцев и военная база для расшалившихся янки. Можно сказать, что вся Испания теперь превратилась в Гибралтар с англо-американским фасадом и с немецкими эсэсовцами, переодетыми в костюмчики из шотландского твида. Но испанский народ не дал своего согласия на такую опеку: борьба продолжается. Старый испанский анекдот гласит, что в раю было три языка: итальянский, испанский, французский. На сладком итальянском языке змий соблазнил Еву, на испанском бог прогнал людей из рая, и вежливо по-французски Адам просил прощения у бога. Сейчас испанцы не слушают змия, даже если он говорит на английском языке; им не нужен и французский, на котором социалисты Блюма извиняются перед миром за поддержку Франко. Испанцы выгонят Франко по-испански. Пусть они знают, что есть народ, который в них верит, народ, который их не предаст и не предаст — советский народ.

В темную осень по горам Астурии идут герильерос, они поют старую песню Испании:

«Мое украшение — оружие.  
 Мой отдых — воевать.  
 Моя кровать — это жесткие камни.  
 Мой сон — никогда не спать».

И мы отвечаем им памятными словами: «Салют и виктория!» — «Привет и победа!»



---

---

# ЗНАМЯ

СЕСАР М. АРКОНАДА

★

И час настал... Над скорбными полями  
Умолкла в небе жаворонка трель.  
Отчизна-мать! Испания! Ужель  
Ты в плен взята, поругана врагами?

Но пусть теперь горька твоя беда,  
Пускай твои разорваны одежды,  
В душе твоей не меркнет луч надежды.  
Нет! Ты рабой не станешь никогда.

Твое в веках неугасимо пламя,  
В огне, в крови и в судорогах мук,  
Ты из своих не выронила рук  
Свободою доверенное знамя.

И в час борьбы, в жестоком вихре боя,  
Когда свершались грозные дела,  
Ты голос свой Долорес отдала,  
Ты ей вручила знамя боевое.

И голос твой в речах ее звенит,  
Она везде, и всюду с ней Свобода,  
Могучий вождь испанского народа,  
Твоя защита, доблестный Мадрид...

*Перевел с испанского Федор Кельин*



---

---

# ПАРТИЗАНКА

ХОСЕ БЕРГАМИН

★

*В письме советским писателям Хосе Бергамин пишет:  
«Моя драматическая поэма навеяна светлым образом Зои  
Космодемьянской». Эти стихи — заключительный романс  
поэмы.*

## ХОР ДЕВУШЕК

На рассвете партизаны  
В мягкий снег ее зарыли.  
Много снега. Сколько снега  
На нее упало с неба!  
И покрыл ее, как саван,  
Белый холм из чистой влаги,  
Обелиск из тонких льдинок  
Ночь построила над ней.  
Тишина ее ласкала.  
Одиночество согрело.  
И во сне она мечтала  
Об Испании своей.  
И когда пройдут по снегу  
Через горы партизаны,  
От нее найдут лишь отзвук,  
Легкий след, далекий зов.  
Чистоту ее желаний,  
Ясный свет ее стремлений,  
Отклик имени заветный,  
Тихий шум ее шагов.  
Здесь она прошла, смотрите,  
Свет зари неся с собою,  
Клич ее пронзает небо,  
За нее земля отмстит!  
Здесь, в могиле одинокой,  
В тихий сумрак облеченной,  
Здесь она — Весна под снегом,  
Глубоко под снегом спит.  
И над ней ночные гучи  
Будут плыть в далеком небе,  
И над ней рассеет сумрак  
Возрожденная весна.  
И над ней весну встречая,  
В новый бой пойдет другая,  
Партизанка, как она.

*Перевела с испанского Инна Гьянова*



---

---

# РУБЕН РУИС ИБАРРУРИ

АНТониО АПАРИСИО

★

*Когда был объявлен набор в республиканскую армию, Рубен Руису Ибаррури еще не было семнадцати лет, но он, считая себя мобилизованным, ушел из московской школы летчиков, приехал в Испанию и стал рядовым бойцом армии Модесто. В боях он был ранен и получил звание лейтенанта.*

*Землю Испании захватили мятежники, и сын Пасионарии вернулся в Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, и он вступил добровольцем в Красную Армию, был снова ранен и за боевые заслуги награжден орденом Красного Знамени.*

*Рубен Руис Ибаррури погиб под Сталинградом, в наступлении, освободив со своей пулеметной ротой одно из селений в степи. Он сказал перед смертью:*

*— Я умираю за две родины — за Испанию и за Советский Союз.*

Когда на снег степей без меры и без края  
Спустилась злая ночь неустойчивой бедой,  
Чей голос прозвучал, коня войны смирая:  
«Здесь пал в бою с врагом испанец молодой?»

От Эбро он пришел, он с той реки кровавой  
Винтовку к нам принес, одной мечтой горя,  
Иль отомстить врагу, иль умереть со славой,  
Он верил, что взойдет испанская заря.

Он бился день и ночь, живя мечтой упрямой,  
Что солнце уж встает в Испании родной,  
И говорили все: «Он к нам пришел с Харамы,  
Он сын своей земли, он, как она, герой».

Друзья, он пал в бою, разя фашистов орды  
У сталинградских стен, над Волгой, на скале,  
Но крикнул он: «Вперед!», и этот голос гордый  
Призывом стал для всех, кто молод на земле.

*Перевел с испанского Федор Кельми*



---

---

## ВОСПОМИНАНИЯ КАПИТАНА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ

АЛЕКСАНДР РОДИМЦЕВ

*Дважды Герой Советского Союза*



**П**риехав в Альбасете, я явился к Андре Марти, главному организатору интернациональных бригад. Он спросил меня:

— Ваша специальность?

— Пулеметчик.

— Умеете только стрелять или и собирать пулеметы?

— Свое оружие знаю.

— Хорошо. Вы необходимый человек для нас. Здесь никто не знает пулемета.

Марти дал мне в помощь четырех интернационалистов постарше, участников первой мировой войны. В несколько дней мы собрали десятки пулеметов. Одновременно мы обучали бойцов.

Конец октября — начало ноября 1936. Фашисты рвутся к Мадриду. Все понимают: наступил решающий момент. Бойцы интербригад неопытны, едва обучены: в большинстве своем — это рабочая молодежь 30-ти с лишним национальностей, никогда не воевавшая, не прошедшая даже военного обучения. Зато ее боевой дух сделал бы честь любой регулярной армии: люди стремятся в бой, как на праздник... если только бой может быть праздником.

Мы обучили, хотя и наскоро, около батальона пулеметчиков. Первая и вторая интербригады (второй командовал Матэ Залжа) уже ушли в Мадрид. Наступила и наша очередь. Я отправился вместе со своим батальоном.

В Мадриде, как и предполагалось, батальон распался. Мы выделяли и людей и пулеметы отдельным бригадам республиканской армии, однако лишь наиболее крепким. Пришлось выдержать атаку анархистов, подкрепленную угрозой оружия: показав себя на фронте с отрицательной стороны, они тем не менее требовали своей — и явно преувеличенной — доли пулеметов. Я отказал им.

Когда люди были распределены, я был отправлен в Университетский городок. Там я и получил боевое крещение.

Один из моих пулеметов охранял сравнительно большой мост. Марокканцы генерала Франко бросились в атаку. Они бежали плотным строем, не стреляя, — первый опыт немецких «психических атак». Они уже приблизились к мосту, уже взбежали на него... А пулемет замолчал. Испанцы, защитники моста, дрогнули. Еще секунда — они бы отступили, враг прорвался бы по эту сторону Мансанареса, а стало бы и в город. Мой командир возмущенно крикнул:

— Капитан, что же это такое?

Я кинулся к пулемету, ударил по нему кулаком. Лента выправилась, очередь, как косой, срезала первые ряды марокканцев. Задние остановились. Наш пулемет строчил без перерыва. Марокканцы повернули, побежали...

— Молодец, француз! — крикнул мой командир. Он почему-то решил, что я француз.

— Я не француз, — ответил я.

— А кто же?

— Кто и вы.

Вскоре появились республиканские танки. Один из них перевалил через марокканские окопы, и враги бросились вслед за ним с бутылками горючего, с гранатами. Танк развернулся, повернул, снова прошел над окопом. «Испугались танкисты», — сказал кто-то рядом со мной. Но танк снова повернул, въехал одной гусеницей в окоп и так пошел, давя все на своем пути. Танком командовал будущий Герой Советского Союза Арманд.

В Университетском городке мне пришлось пробыть довольно долго. Хорошо помню острую жалость к разрушенным прекрасным зданиям: городок был построен недавно, с большой роскошью. Помню обрывки книг в здании философского факультета: фашисты владели им некоторое время и прежде всего выместили свою злобу на библиотеке. Тогда я впервые воочию увидел, что фашизм несет с собой гибель культуре. Я еще не знал тогда, что нас ждет через пять лет.

С какой ненавистью смотрели мы на здание клинического госпиталя, которое вдавлялось в наше расположение в городке и было в руках фашистов! Наши окопы подходили к нему на несколько десятков метров. Командование не хотело тратить людей на атаку госпиталя, — в случае нашего успеха фашисты уничтожили бы здание артиллерийским огнем. Кроме того, овладеть им было не просто в результате неизменно планировавшегося большого наступления.

Впрочем, в первые горячие дни на фронте нам всем было не до зданий, не до города. И с людьми-то мы знакомились в бою. Мы разбирались только в военной обстановке. Но уже в эти дни мы, впервые попавшие в Испанию, поняли, с каким замечательным народом встретились. Правильнее было бы добавить — с какими замечательными представителями разных народов, потому что в то время я лично видел больше интернационалистов, чем испанцев. «Зачем они здесь? Что они защищают? Откуда у них такое мужество?» — эти вопросы возникали невольно и не раз. «Затем же, зачем и ты», — отвечал я себе. Однако такой ответ не удовлетворял меня. Я приехал из свободной и передовой страны. Эта страна всем сердцем сочувствовала испанскому народу, потому что ее люди знали и прежнее рабство самодержавия, и счастье освобождения, и творческий расцвет. Для них зов Испании, на которую напал коварный враг, был священным. Они стремились помочь ей именно потому, что не искали у нее никаких выгод. Они полностью понимали и принимали для себя слова товарища Сталина об освободительных, то есть справедливых войнах. Для нашего поколения испанская война была первой такой войной, в которой мы могли принять участие, первой схваткой с тем врагом, который воплотил в себе все ненавистное советской стране и советскому человеку. Но интернационалисты пришли сюда из стран, которые хотя и назывались демократическими (и то далеко не всегда), но вовсе не сочувствовали Испанской республике. Мало того, интернационалисты дома вовсе не были свободны, счастливы, обеспечены. Среди них находились изгнанные со своей родины, преследуемые ею безработные или

люди, зарабатывавшие свой хлеб тяжким трудом и никогда не евшие досыта. И эти люди — французы, англичане, американцы, поляки, итальянцы, немцы, — да, и немцы, и итальянцы, причем не обязательно эмигранты, а тайком пробравшиеся из владений Гитлера и Муссолини, — все эти люди принесли Испании свою жизнь также не ради каких-нибудь выгод, жалованья, куска хлеба, не по приказу, а по доброй воле. Это было единство народов и единство пролетариата, осуществленное в борьбе, это было боевое воплощение высоких идей коммунизма, хотя интернационалисты вовсе не всегда были коммунистами. Среди них имелись представители всех демократических течений. Испания показала, что у свободы и справедливости всегда найдется достаточно защитников и солдат.

Говорили, что Мадрид в ноябре отстояли интербригады. Это, конечно, неверно. Прежде всего, их было слишком мало для этого: в бой вступили всего две, и немногочисленные, трехбатальонного состава. Правда, они показывали пример того, как надо сражаться. Республиканская армия была еще слишком молода, неорганизована, необучена, плохо дисциплинирована. Однако Мадрид в первую очередь обязан был своей свободой этой армии и своему собственному населению. Население само бросилось на фронт, в окопы, окружившие город. Спротивление фашистам люди рассматривали, как личное кровное дело. Это была подлинная борьба народа, притом едва вооруженного.

Под жестокими фашистскими бомбежками гибли прекрасные здания, гибли дети. Впрочем, жестокость фашистов никого не удивляла. Удивляло другое: как могли оставаться равнодушными демократические государства, как они не видели, что Гитлер и Муссолини превращают Испанию в подопытный полигон, где стреляют по живым мишеням?

В Университетском городке испанские части сменили интернационалистов. Враг остался у ворот Мадрида. Над нашими окопами с ревом пролетали немецкие и итальянские самолеты. Они бомбили не нас, а город, лежавший за нашей спиной. Бойцы бледнели от страха — не за себя, за близких. Я видел, как возвращались из города после отпуска те, кто потерял семью. Они приходили с почерневшими лицами и долго молчали, несмотря на всю экспансивность испанского характера. Товарищи тоже не находили слов утешения. Потом человека прорывало: воспаленный ненавистью, он вскакивал, грозил фашистам кулаками, осыпал их проклятиями. Испанцы считают, что мужчине стыдно плакать, и действительно, я видел слезы у них на глазах только когда они говорили о гибели своих детей...

А жизнь в Мадриде продолжалась. Было очень голодно, ведь только узкий проселок соединял столицу со страной. Было холодно и темно. Но люди работали, и работали хорошо, люди гуляли, развлекались, хотя в театрах все представления стали дневными. В поведении всего населения чувствовалось какое-то удивительное презрение к врагу. К сожалению, оно порой переходило в недооценку его. Но страха Мадрид не знал.

Впрочем, была одна категория населения, которая очень боялась, хотя и вела себя чрезвычайно нагло. Это — пятая колонна. Конечно, у фашистов было много агентов и сочувствующих. Эти предатели были убеждены, как и генералы Франко, Мола, немцы и итальянцы, что Мадрид падет от первого удара. Теперь они бесились, предчувствуя, что фашисты не войдут в столицу до конца войны. Они занимались сигнализацией, шпионажем, они подстреливали и подкалывали из-за угла респуб-

ликанских солдат, и вместе с тем они панически боялись за себя, за свою судьбу.

Было ясно: подлинное сопротивление фашизму может оказать только сам испанский народ. Для этого ему необходима регулярная армия, а не полудобровольческая милиция. Армию же необходимо в кратчайшие сроки обучить, дисциплинировать, вооружить. Я не буду рассказывать, сколько препятствий на этом пути встречали честные государственные деятели и честные военные. На своем скромном посту я это чувствовал отраженно — в медлительности, нерешительности командования, в противоречивости указаний, в бесконечных спорах, имевших место там, где нужен был короткий приказ, в недоверии бойцов к многим командирам, недоверии, к сожалению, обоснованном.

Интербригады, блестяще показавшие себя в ноябре, стали серьезной боевой силой — могучим оружием Республики. Зато республиканская армия, значительно выросшая численно, охваченная единым героическим порывом, воевать по-настоящему еще не умела, и далеко не все командиры понимали необходимость учебы. Я был направлен в одну из лучших испанских частей, выросшую из знаменитого коммунистического «пятого полка» в бригаду, которую командовал Листер.

Шли бои, на сердце было радостно. Прежде всего — за нами была победа, Мадрид свободен. А главное — дело двигалось. Листер, с его замечательными способностями, ясной головой, пролетарским чутьем, на моих глазах вырастал в будущего полководца.

Нашим первым совместным испытанием стал длительный двухнедельный бой на Хараме, узенькой речушке, которую можно в иных местах перепрыгнуть с разбегу. В феврале фашисты решили предпринять новое наступление на Мадрид и снова не сомневались в успехе, тем более, что они подготовились на этот раз довольно тщательно. На Хараме они были задержаны. Бой был изнурительный. Фашисты подтянули много артиллерии, часто шли в атаки, сражение почти не прекращалось. Республиканская армия выдержала первый экзамен. Были трудные дни, когда казалось, что фашисты вот-вот прорвут наш фронт, что наших бойцов уже охватывает паника, что командование пугается потерь и напряжения. Фашисты сменяли свои части, у нас резервов не было. Необстрелянные республиканцы делали немало ошибок. Но — выстояли. Тогда я впервые услышал это слово и... не обратил на него особого внимания. Тогда мы чаще говорили: удержались. На большее никто не рассчитывал. И то за границей, где Республику уже снова хоронили, удивлялись и рассказывали всякие небылицы.

На душе было спокойно, листеровцы дрались хорошо, не отставая от интербригад, которые в ту пору были чем-то вроде гвардии — на них все равнялись. Было достигнуто главное: толпа стала солдатами, милиция — армией. Конечно, все было далеко не совершенно, опыт невелик, знания поверхностны, но при неизменном высоком моральном духе, при неугасающей готовности к подвигу, героизму, при презрении к врагу и к смерти этого оказалось достаточным. Помню, как интернационалисты радостно говорили: «Ну, смена нам есть, это уже настоящие солдаты, настоящая армия».

Соединение Листера превратилось уже в дивизию. Он и Модесто стали первыми дивизионными командирами, вышедшими из народа, выдвинутыми войной и собственным талантом. И как же верили Листеру бой-

цы, как любили его! Правда, они всегда видели в нем пример. Он усердно учился, и не только военному делу: он учился искусству управлять людьми, убеждая их. На отдыхе он вместе с солдатами косил траву, помогая крестьянам и Республике. И никогда не забывал, что от людей можно требовать абсолютной дисциплины, только неустанно заботясь о них.

Нашим следующим испытанием была Гвадалахара. Я был в это время в одной из бригад дивизии Листера, которой командовал погибший впоследствии ученый и врач Пандо, до войны не державший в руке даже револьвера.

История гвадалахарской битвы, закончившейся самой большой победой Республики за всю войну, когда наступление итальянцев со всей их техникой споткнулось о победоносное контрнаступление сравнительно малочисленных республиканцев, описана много раз. Хорошо помню волнение, охватившее всех на фронте, когда стало известно, что против трех или четырех республиканских бригад движется чуть ли не с музыкой 40-тысячная итальянская армия. Нам рассказали, что Муссолини отдал приказ своим генералам: войти в Мадрид во что бы то ни стало.

Первые дни были тревожны. Итальянцы смяли наши передовые посты, отбросили нас. Случилось так, что два приданных нашей бригаде танка не смогли уйти и остались на территории, захваченной врагом. Помню, как мой командир сказал мне: «Делай, что хочешь, а танки верни». Это было трудно, но это нужно было выполнить. К счастью, бойцы уже на опыте убедились, какую роль играют танки и авиация, и если сокрушались о чем-нибудь, то только о малом количестве их. Поэтому приказ Пандо о возвращении танков любой ценой вызвал не колебания, как это бывало раньше, а всеобщее понимание и одобрение. Операция удалась и была проведена не с помощью прежней «отчаянности», а на основании строгого, хотя и дерзкого расчета. Для нашей бригады она-то и явилась переломным моментом: на войне часто оправдывается пословица: где тонко — там и рвется. Фашисты собрали против нас такие превосходящие силы, что совершенно не считались с нашим сопротивлением. Неожиданная для них контратака интербригады, которой командовал Залка, контратака по размерам также небольшая, наша операция, яростное сопротивление одиннадцатой интербригады, сопротивление других бригад дивизии Листера, удар нашей авиации, когда погода была нелетная и фашистские летчики не решились подняться в воздух,—все это смутило противника и заставило его реформироваться. Последовал удар наших танков, скользивших по грязи, но неумолимо шедших вперед,—и фашистское наступление превратилось в бегство. Наша бригада преследовала врага вдоль арагонского шоссе — главной магистрали, ведущей из Сарагоссы в Мадрид. Несомненно, разгром итальянцев был бы еще большим, если бы у командования нашлись перевозочные средства и резервы. Может быть, даже одни перевозочные средства: несмотря на усталость после многодневных боев, несмотря на то, что бои шли на пересеченной местности, в холод и дождь, переходивший порою в снег, — всеобщее воодушевление было таким, что люди рвались вслед за врагом. К сожалению, этого нельзя было сказать о главном командовании... Оно полагало, что с нашими малыми силами мы сделали чуть ли не чудо, оно уверяло, что, продолжая наступление, мы «зарвемся», и доказывало, что ничем помочь нам не может.

Как бы то ни было, гвадалахарская победа, весть о которой облетела весь мир, показала, что республиканская армия, во всяком случае ее наиболее обученные и крепкие соединения, стала вполне зрелой. Если бы удалось поднять до такого же уровня остальные соединения (лучшие из них достигли уровня интербригад) и если бы Республика получила немножко больше вооружения!..

По окончании гвадалахарской операции я был контужен разрывом авиабомбы: фашисты мстили нам, бомбя деревни.

Мне пришлось еще принять участие в операциях под Брунете и Теруэлем (в первой теруэльской операции 1937 года). Я не буду рассказывать о них: как ни важны они были в военном отношении, для читателя они не представляют ничего нового. Помню, что в одной из них перед нами оказались превосходящие силы врага. Мой товарищ, артиллерист Гурьев, предупредил меня:

— Я сделаю все, что смогу, но пехота должна держаться крепко!

А пехота наша, действительно, дрогнула перед натиском врага и побежала. Я побежал навстречу бегущим, крича:

— Куда? Зачем бежите?

Вероятно, мои жесты, выражение лица и то, что я руками останавливал людей, подействовали больше слов, тем более что при бедном запасе моего испанского словаря я, вероятно, все время переходил на русский. Люди остановились.

Я пробыл в Испании месяцев десять и покидал ее с глубоким сожалением. Всем сердцем я привязался к испанскому народу, а борьба его стала и моим кровным делом. С гордостью я повторял слова товарища Сталина о том, что борьба испанского народа—«...дело всего передового и прогрессивного человечества»: мне выпало счастье находиться в первых рядах солдат Свободы. В Испании все понимали, что Франко—только ставленник Гитлера и Муссолини, что для фашистов эта война—первый шаг к пресловутому мировому господству, что фашизм по природе своей не может оставить в покое человечество. Мы только удивлялись и возмущались слепотой (чтобы не сказать больше) так называемых демократических правительств Западной Европы. Одиночество испанского народа (ведь кроме Советского Союза у него не было влиятельных друзей) делало его судьбу особенно трагической. Тем не менее, мы покидали Испанию хотя и с болью, но и с твердой уверенностью в том, что в конечном счете фашизм будет разбит. В этом утверждали нас и сопротивление безоружного испанского народа, и всеобщее сочувствие трудящихся всего мира, народов всего мира делу Испании. Вспоминая прошлое, я и теперь совершенно уверен в том, что после великой победы Советского Союза и всего человечества над силами фашизма придет и час победы испанского народа.

Когда я находился в Сталинграде, бывший председатель совета министров Испанской республики Негрин прислал мне письмо, в котором он выражал свое восхищение защитниками Сталинграда и спрашивал, похож ли Сталинград на Мадрид. Я ответил ему: «Вспомните то здание в Университетском городке, которое было совершенно разрушено фашистской артиллерией и авиацией, и представьте себе огромный вытянутый вдоль реки город, который целиком превращен в такие развалины. Мадридский дом был пуст, в Сталинграде нет ничьей земли: бой идет везде».

Бой человечества с фашизмом начался в Испании. Как затем коммунисты во всем мире — испанские коммунисты сразу оказались в первых рядах сражающегося за свободу народа. Как простой советский человек, как коммунист, я горд тем, что в меру своих скромных сил пытался помочь испанскому народу. Я страстно верю, что испанский фашизм будет задушен на той земле, на которой он родился, хилым, ничтожным, слабым, и вырос только благодаря поддержке немецкого и итальянского фашизма. На Западе любят повторять поговорку: друзья наших друзей — наши друзья. Франко был лучшим другом Гитлера и Муссолини. Сегодня его поддерживают те, кто сам дружил с этими обоями. Мы же знаем, что друзья наших врагов как и враги наших друзей — наши враги. Те, кто выручает Франко, враги испанского народа.



---

---

## ДЫХАНИЕ МАДРИДА

(Из блокнота кинооператора)

Р. КАРМЕН

★

Октябрь на редкость жаркий. Удушающий зной висит над рыжей землей Кастилии. Над асфальтом толедского шоссе — плывущее марево, в котором издали грузовик кажется прыгающим челном. Дорога местами по нескольку километров совершенно пуста. Иногда же попадаются навстречу длинные колонны идущих в Мадрид. Они бегут из родных деревень, захватив с собой лишь то, что может унести маленький ослик или спотыкающаяся кляча. Здесь на дороге можно узнать положение точнее, чем в Военном министерстве. Поездка по шоссе — это своего рода разведка. Останавливаешься, спрашиваешь людей, едешь дальше. В двадцати-тридцати километрах от Мадрида беженцев становится больше, они уже не бредут медленной усталой походкой, а бегут, подгоняемые раскатами артиллерийской стрельбы. Они со страхом оглядываются по сторонам и твердят одно слово: «фасистас».

Войска Франко вчера взяли Илиескас и движутся на Мадрид. Республиканцы пытаются задержать их короткими контрударами и артиллерией. Но мятежники ежедневно вводят в бой свежие части, наращивают авиационные удары, забрасывают республиканские тылы листовками:

«Мадрид окружен! Жители Мадрида, сопротивление бесполезно, помогите нашим войскам захватить город, иначе национальная авиация снесет его с лица земли...»

«Национальная авиация» — это летчики и самолеты Гитлера и Муссолини. Это «юнкерсы», «хейнкели», «капрони», «фиаты».

Вот они появляются над нашими головами, направляясь на Мадрид. На этот раз они не бомбят дорогу. Нагло, на высоте 300—400 метров, идут над шоссе. Старик-крестьянин поднимается из кювета.

— Ты француз? — спрашивает он меня. — Англичанин? Американец?

— Со мной русо, — отвечаю я.

Он отступает, не поверив, переспрашивает. Я уже привык к этим встречам, обычно кончающимся хлопаньем по плечу, угощением сигаретами и пением советских песен. Сейчас — другое. Старик подходит ко мне и вцепляется своими крючковатыми руками в мое «моно» — серый комбинезон:

— Ты русский, — повторяет он шепотом. — Ты видел? Ты видел, я тебя спрашиваю? — он смотрит в небо, где еще видны в синем мареве самолеты. — Франко помогают все. Ему везут оружие, танки, самолеты. Кто нам поможет?

Он не выпускает меня, и крупные слезы прокладывают темные дорожки по белесой пыли на его смуглом морщинистом лице.

— Кто нам поможет? Вот наше оружие! — он бросается к своему мулу и вытаскивает из вьючной корзины старый охотничий дробовик. — Этим против самолетов Гитлера? — И снова шепотом, скороговоркой: — Помогите нам. Только вы нам поможете. Иначе нас истребят всех, слышишь, русский?

Он ждет ответа, опустив руки, глядя мне в глаза. Он знает, что русский не солжет. Он знает не хуже меня, что подводные лодки Италии и Германии рыщут по Средиземному морю, что британские броненосцы блокируют порты республиканской Испании, осуществляя политику «невмешательства», он все знает — и все-таки ждет ответа.

— Будет помощь. Будет!..

Он молча поднимает кулак. И долго смотрит мне вслед.

Из-за рыжих холмов вдали поднимаются столбы черного дыма. Оттуда доносятся глухие раскаты орудийных разрывов.

Фашисты наступают на Мадрид.

\*\*  
\*

Мадрид тяжело дышит. Чем ближе фашисты, тем учащенное его дыхание. Город становится суровее с каждым днем. Уже проступают черты того Мадрида, который стал впоследствии символом стойкости и мужества, который на протяжении двух с половиной лет отбивал натиск врагов, пока не был сражен предательским ударом в спину.

Население Мадрида тает. Дорога на Валенсию переполнена грузовиками, автобусами. Однако правительство Ларго Кабальеро до сих пор не опубликовало ни одного обращения к жителям столицы. Необходимость в таком обращении возрастает по мере приближения линии фронта. Что же решило правительство? Оборонять Мадрид, или отдать его без боя? В народе и в войсках уже открыто говорят об измене генерала Асенсио. Он — правая рука Кабальеро, его главный военный советник. Эвакуация Мадрида проходит стихийно, хаотично. Никто толком не знает о положении на фронте. Только коммунисты напрямую говорят о смертельной опасности, угрожающей Мадриду, и призывают народ к обороне. «Но пасаран!» (Они не пройдут!) — лозунг, данный Пасионарией, стал самым популярным в Мадриде.

Я встретил Долорес в знойный день на выжженных солнцем холмах в трех километрах от города. Я снимал жителей Мадрида — они рыли окопы. Переходя от одной группы к другой, я увидел Долорес. Мерно взмахивая киркой, она била каменистую красноватую землю. Невдалеке — Хосе Диас. Он очень устал от непосильной для него работы и прилег. Но товарищи и не пытаются уговорить его уехать. Отдохнув, он снова берется за кирку.

Я снимаю вождей испанских коммунистов за работой на обороне Мадрида. Тысячи людей, работающих на этих холмах, знают, что они здесь. Никто не приходит взглянуть на них. Это — не сенсация. Долорес и Пепе — так зовут их все — с народом. Это в порядке вещей.

Работают дети, старики, юноши, девушки. Девочки с розами, вплетенными в волосы, носят кувшины с водой. Одну из них подзывает Долорес и медленными глотками пьет воду. Девочка ласково говорит ей:

— Пей, Долорес, хочешь я принесу тебе вина?

Долорес благодарит, вытирает со лба пот и снова берется за кирку.

Кто же будет защищать Мадрид? Войска Франко неумолимо приближаются к городу. Правительство попрежнему молчит. Еду в казармы 5-го полка в район Тетуана. На широком плацу снимаю обучение новобранцев. Организованный ЦК компартии 5-й полк превратился в куз-

ницу военных кадров. Его батальоны, обученные и вооруженные, сражаются на всех фронтах. Частями 5-го полка командуют способные командиры, среди которых уже завоевали всенародную известность Листер и Модесто, командующие крупными соединениями.

В Альбасете заканчивается формирование интернациональных бригад — на них возлагают большие надежды. Их комплектуют люди, имеющие опыт первой мировой войны. Интеровцы, как их называют, оставили семьи, дела, работу, пробрались в Испанию через множество пограничных и полицейских кордонов с одной целью — сражаться с фашизмом.

Ходят слухи, будто каталонские анархисты собираются послать свои части на оборону Мадрида. Они грозят разгромить Франко под Мадридом и двинуться на Бургос.

Слишком много слухов. Они ползут по Мадриду, а правительство Кабальеро продолжает хранить молчание, ничего не опровергает и не принимает никаких мер к обороне города.

Мадрид переполнен шпионами. Генерал Мола объявил, что «национальные войска» идут на Мадрид четырьмя колоннами, а пятая выступит в самом городе. Так родился термин «пятая колонна» — синоним злобного контрреволюционного подполья, синоним измены и удара в спину.

На наших глазах растаял корреспондентский корпус. Многие иностранные журналисты перекочевали в штабы Франко, собираясь вернуться в Мадрид с его войсками.

Ночами мы слушаем радио. Бургос, Саламанка, Рим, Берлин, Лондон. Слушаем тщательно разработанную программу торжественного вступления фашистов в столицу. Тут и белый конь, на котором Мола въедет на площадь Пуэрта дель Соль, и расписание парадов, и зловещие разговоры о «чистке» города...

А фронт все приближается. Фашисты наступают, охватывая город полукольцом. Главное направление их ударов — по толедской дороге. Они уже захватили Сесенью, овладели важным узлом дорог в Брунете и Кихорне.

28 октября, на рассвете, мы были свидетелями небывалого зрелища. Еще накануне меня с загадочной улыбкой предупреждали: «запаси на завтра побольше пленки, будет что снимать...»

Я увидел танки, когда они выходили из оливковой рощи на проселок. Они продвигались к исходным для атаки рубежам с открытыми люками, из которых выглядывали молодые ребята в кожаных курточках и черных беретах. Я вспомнил старика-крестьянина с охотничьим ружьем на толедской дороге, его слезы. Стало светло на душе.

Танки, рокоча моторами, идут по дороге и обгоняют колонны солдат. Солдаты приветствуют танкистов неистовыми криками восторга, кидаются к ним и со слезами на глазах кричат «Вива Республика эспаньола!..» Танкисты в ответ машут руками.

Сегодняшний день должен принести решительный перелом. Каждый пехотинец тщательно проинструментирован. Пехота пойдет за танками при поддержке артиллерии. Главное — не отставать от танков, закреплять успех...

На перекрестке в группе командиров стоят Долорес и Хосе Диас.

Оставляем машину в рощице вблизи артиллерийских позиций и вместе с оператором Макасеевым идем дальше, туда, где залегла пехота Листера, готовая ринуться вперед. Мы с Макасеевым решили сегодня не разлучаться, идти рядом, не отставать от пехоты. Настроение солдат бодрое. Все знают, что сегодня им проложат дорогу танки.

— Как вы думаете, поднимутся ваши? — спрашиваю молодого командира.

— Должны подняться, — отвечает он, но я слышу в его голосе нотку сомнения. Бойцы необстреляны, ни разу не были в бою. Правда, в их ряды влиты опытные солдаты 5-го полка, но соотношение — десять к одному. Это очень мало...

Позади раздаются первые залпы республиканской артиллерии. Над нашими головами с шипением проносятся снаряды. Вскоре мы слышим гул моторов — пошли танки. Отсюда, с правого фланга, их не видно. Один мелькнул на гребне холма и ушел вперед. Пехота не поднимается, потому что над залегшей цепью роем загудели пули: фашисты открыли беспорядочный ружейно-пулеметный огонь.

— Вперед! — кричит командир.

Несколько бойцов поднимаются, но видя, что вся цепь лежит, снова ложатся. Гул танков уже еле слышен, огонь противника слабеет, и, наконец, пехота начинает перебежками продвигаться вперед. Мы снимаем перебежки, но нас начинает обстреливать фашистская артиллерия. Теперь цепи лежат как вкопанные. Взбешенный командир бежит во весь рост, размахивая револьвером, кричит, угovarивает, прокликает — тщетно...

К концу дня начали возвращаться танки.

Охрипший, покрытый серой пылью Арманд рассказывает, как танки ворвались в Сесенью. Бой шел на узеньких каменных улочках деревни. Танки прошли по ним, раздавили эскадрон марокканцев, огнем и гусеницами разгромили две фашистские батареи, разбили несколько танков «ансальдо»... Но пехоты своей не дождалась и вынуждены были вернуться обратно.

Первая в истории современных войн бутылка с бензином была брошена в танк на улице Сесеньи, в это утро 28 октября.

\*\*  
\*

Для фашистов полной неожиданностью было появление наших танков, вооруженных пушками и пулеметами. Они явно растерялись и остановились, ожидая повторных ударов. Однако оправившись от неожиданности, они снова начали наступать на Мадрид.

Тяжелые бои идут под Навалькариеро, в Торрехоне, на подступах к Леганес. Республиканская пехота, не сумевшая сразу использовать танки, с каждым часом становится все более стойкой в обороне. Даже массивные налеты вражеской авиации не производят того ошеломляющего впечатления на солдат, какое наблюдалось совсем недавно. Танки уже не совершают далеких рейдов, они дерутся бок о бок с пехотой в жестоких оборонительных боях. Они используются в сущности, как самоходная легкая артиллерия прямой наводки, как оружие непосредственной поддержки пехоты, яростно дерущейся за каждую пядь земли на подступах к Мадриду. Если бы так же дрались раньше — под Талаверой, у Толедо!..

Потери огромны. Войска тают.

Фашисты решили во что бы то ни стало как можно скорее ворваться в Мадрид.

Приближается 7 ноября.

Неужели в этот день они будут в Мадриде?

Пригородный аэродром и местечко Хетафе уже в их руках. Ночью я видел Листера. Я ни о чем его не спрашивал, но он сказал:

— Мадрида не отдадим!

— А войска? Чем ты будешь его оборонять?

— Продержимся до прихода интербригад.

На его сером от усталости лице я прочел настоящую уверенность.

Облик Мадрида меняется с каждым часом. Город становится все строже, пустынное. Я вдруг понял, как дороги мне его улицы, каждый дом, каждая руина. И не только мне дорог Мадрид. Вся моя страна, весь мир честных людей сердцем и мыслями здесь. Вместе с испанцами здесь проливают кровь люди других стран. Как они горды и счастливы, что из многих тысяч, рвавшихся в Испанию, им выпала великая честь сражаться с фашистами. Я тоже счастлив, что чудесный жребий выпал и на мою долю. Несколько раз в день пересчитываю коробки с пленкой. Можно снимать не экономя, пленки хватит.

Фашисты бомбят Мадрид по несколько раз в сутки — днем и ночью. Приходят по 18—27 «юнкеров», идут парадным строем, тройками, на небольшой высоте. Бросают бомбы и в полтонны.

Утром 6 ноября снимал в Карабанчель-Бахо бой на баррикадах. Это мадридское Дорогомиллово — рабочий пригород за рекой. Несколько дней тому назад я снимал мадридцев, строивших в Карабанчеле баррикады, — сегодня из этих амбразур бьют пулеметы по наступающей фашистской пехоте, кругом рвутся снаряды, санитары ползком уносят раненых.

Фашисты уже просочились в Каса де-Кампо, в Западный парк. Полукольцо все сжимается.

Неужели это, действительно, катастрофа?

Я живу в гостинице «Палас». Сейчас у нее необычный вид. Весь квартал около «Паласа» забит грузовиками, из которых солдаты выносят громоздкие предметы, сверкающие никелем, стеклом и белизной. На лифтах поднимаются операционные столы, шкафчики. Официанты в крахмальных белоснежных кителях поят мечущихся в бреду раненых минеральными водами из ресторана. В гостинице наспех разместился эвакуированный из Карабанчеля военный госпиталь.

Портье смотрит на меня, как на выходца с того света, когда вечером я прошу у него ключ от моей комнаты.

— Я полагал, что сеньор уехал. Все уехали.

— Кто — все?

— Все, все, — и взяв меня за плечо, он конфиденциально шепчет на ухо: — Правительство уехало, министры уехали, сеньор Ларго Кабальеро уехал. Они, кажется, решили отдать фашистам Мадрид. Где ваша машина, сеньор? Сейчас нельзя доверять шоферам. Держите ключ от машины у себя в кармане, сеньор.

— Я доверяю своему шоферу, — говорю я и поднимаюсь в свой номер. Смотрю на часы. Двенадцать.

7 ноября 1936 года наступило.

Не выдержал тишины, не могу отдыхать, иду в Военное министерство. Жуткое безмолвие темных пустых улиц нарушается резкими пулеметными очередями, одиночными выстрелами, звучащими где-то рядом. Пронеслась с бешеной скоростью по Гран-виа легковая машина с ярко-горящими фарами и, гудя сиреной, скрылась в направлении Валенсийского шоссе. В саду министерства нет часовых. Ни одной машины у подъезда. Ни живой души на лестнице. Иду, прислушиваясь к шуму собственных шагов, длинной анфиладой комнат, обитых темнокрасными штофными обоями, гобеленами. Никого. Приемная военного министра Ларго Кабальеро, которая всегда гудела, как улей, где толпились штабные офицеры, — пуста. Пуст и кабинет Кабальеро. Так это правда — Мадрид всеми покинут?

Иду на звук голосов. Вхожу в маленькую боковую комнату. Первым вижу Антонио Михе — члена ЦК компартии, — жизнерадостного, уверенного. Рядом с ним подполковник Висенте Рохо — один из талантливейших кадровых генштабистов. Антонио Михе только что начал докладывать обстановку, и я, глядя через его плечо на карту Мадрида, стараюсь не пропустить ни одного слова.

Положение весьма неопределенное. Небольшие отряды 5-го полка занимают оборону вдоль реки Мансанарес. Танки небольшими группами держат оборону в Каса де-Кампо. ЦК компартии вооружает рабочие отряды и отправляет их в Карабанчель и к мостам через Мансанарес.

Из разговоров я узнаю, что образована Хунта (совет) обороны Мадрида, что с часу на час ожидается прибытие 12-й интернациональной бригады, которой командует какой-то венгерский генерал Лукач, что несколько эскадрилий истребителей будут переброшены на аэродром Алкала де-Энарес, что если до утра не удастся централизовать управление разрозненными группами войск и если Франко утром пойдет на штурм, то дело может обернуться скверно.

Выхожу во двор, усаживаюсь на ступеньки мраморной лестницы. В ночном небе возникает мерное гудение. Вот самолеты гудят уже над головой, вот нарастает свист, и в соседнем квартале гремят разрывы. Через несколько минут небо окрашивается розовым заревом. В ворота въезжает машина. Хлопает дверца, выходят два человека. Кто идет? Мигнув фонариком, узнаю обоих. Как радостно встретить близкого человека в такую ночь!..

Я хочу прервать здесь свои мадридские записки и рассказать о том, где я через много лет вспомнил эту ночь.

В декабре 1942 года под Сычевкой я впервые после Мадрида встретил на НП полковника-танкиста Арманда. Он был одним из тех двоих, кого я осветил фонариком. Мы долго хлопали друг друга по плечу, как испанцы, ночь мы провели в его землянке, вспоминая Мадрид, а утром Арманд повел танковый корпус в атаку и погиб. Мы встретились, чтобы расстаться навсегда.

23 апреля 1945 года генерал-лейтенант танковых войск Семен Кривошеин, откинувшись от карты большого города, сказал мне:

— Пройдемся. Выйдем на воздух.

Мы вышли из подвала и медленно пошли по улице. На углу он осветил фонарем табличку: «Berliner Allee». Гвардейский танковый корпус генерала Кривошеина первым ворвался в Берлин. Генерал немногословен. Ночью, когда я его остановил у подъезда дома на Гран-виа, он изложил сложную обстановку одним словом: «держимся». И сейчас он сказал только:

— Ты помнишь?..

Молча шли мы вдоль улицы, медленно обходя немецкие трупы, обломки повозок, штабеля снарядов в соломенных корзинках...

Ты не был одинок тогда, родной, истекавший кровью Мадрид. Все отвернулись от тебя в те страшные дни. Джентльмены из Лондона хотели задушить Испанию кольцом блокады. Они придумали лицемерное издевательское слово «невмешательство», чтобы дать возможность Гитлеру убивать испанских детей. Но честные люди были с тобой, Испания. В Каса де-Кампо они начали штурм Берлина. Человечество этого не забудет.

\*\*  
\*

Утро 7 ноября 1936 года. Рассвет.

По совершенно пустым улицам, останавливаясь на каждом перекрестке, еду к Толедскому мосту. Вчера на этом мосту было форменное столпотворение, тысячи людей с пожитками, сбивая друг друга с ног, неслись в город. Здесь женщина, потерявшая ребенка, сквозь рыдания, выкрикивала:

— Чикита миа! (Девочка моя!).

Сейчас здесь мертвая тишина, которая нарушается ружейной трескотней, да гулким эхо выстрелов и редких орудийных разрывов.

Идем, прижимаясь к стенам домов. Выстрелы все громче, ближе. Вот и вчерашняя баррикада. До нее осталось метров сто. Рвется посреди улицы снаряд. Мы шарахаемся в подворотню, отлежавшись ползем дальше, добираемся до баррикады. Странно,—здесь спокойнее, чем там, в центре Мадрида. Здесь все ясно. Здесь знаешь, что фашисты — вот там, в сером трехэтажном доме, но между нами — каменная баррикада. Гляжу на солдат, которые не отрывают взгляда от амбразур, не выпускают из рук пулемета. Кажется, сеньор Франко сегодня не попадет на Гран-виа.

Со стороны Толедского моста к баррикаде подкатывает республиканский броневик и начинает прямой наводкой бить по трехэтажному дому, методически, как гвозди, вбивая снаряды во все окна, по очереди.

Через пролом в стене перебираюсь в соседний дом с палисадником. Там бойцы залегли у бетонного основания забора, поставили пулемет. Отсюда они прекрасно видят большой пустырь и группу домов, в которых засели марокканцы и стреляют разрывными пулями — пули хлопучками разрываются над нашими головами.

Гляжу на часы, рассчитываю разницу во времени... Вот сейчас над колоннами войск на Красной площади пронесится команда «смирно». Из Спасских ворот выезжает на коне нарком. На трибуне мавзолея, заложив руку за борт серой шинели — Сталин... Он улыбается солдатам, присевшим на корточки за нашей баррикадой. В руках у них праздничный номер «Мундо обреро», роскошно изданный, богато иллюстрированный. Номер почти полностью посвящен Советскому Союзу.

Солдаты долго не отрываются от страницы, с которой на них глядит Сталин.

Возвращаюсь к Толедскому мосту и направляюсь к центру города, чтобы проехать в парк Каса де-Кампо.

Сейчас, к полудню, центр города опять, как вчера, заполнен тысячами людей, повозок, машин. По бульвару Кастелльяно гонят стада скота. Раньше эти толпы были «транзитными» — люди шли из деревень через Мадрид на восток. Теперь тронулся сам Мадрид. Население узнало, что правительство оставило столицу, и люди ринулись из города. А навстречу этому потоку шли колонны мадридских рабочих и рабочих и несли плакаты и лозунги в честь Советского Союза, в честь годовщины Октябрьской революции.

Каса де-Кампо. Фашисты наступали здесь ночью и на рассвете. Все атаки были отбиты. Сейчас идет редкая перестрелка. Здесь оборона держится главным образом на танках. Танки все время ведут огонь, беспрестанно меняют позиции, создавая у врага впечатление чрезвычайной густоты республиканской артиллерии.

— Прошедшая ночь, — рассказывают танкисты, — была крошечным адом. Атаки следовали одна за другой. В темноте не понять было, где свои, где противник. Доходило до рукопашной.

Возвратившись в город, заехал в «Палас» за пленкой, и вдруг в комнате раздался телефонный звонок.

— Что?.. Кто говорит? Не может быть...

— Вас вызывает Москва — радиоцентр.

Это — первый звонок из Москвы. В спокойное время они не звонили, а вот сейчас...

— Расскажите, что сегодня происходит в Мадриде.

Рассказываю.

— Благодарим вас, — звучит далекий голос, — сейчас передадим в эфир в праздничной передаче. Демонстранты еще идут по Красной площади. Будем вызывать вас завтра...

Завтра... что-то еще будет завтра?..

Сколько же продержится Мадрид? День, неделю, месяц?..

Этого никто не может сказать. Нужны срочно резервы, подкрепления. Нужно использовать задержку фашистского наступления, создать прочную оборону на всех угрожаемых участках. Если Франко не удалось взять Мадрид с хода, если его задержали на двое суток — это не значит, что удастся отразить концентрированный удар всех его сил на одном из участков. Этого можно ожидать с минуты на минуту. Франко и его генералы не могут не знать обстановки в Мадриде и наших сил. Город переполнен вооруженными фашистами, которые связаны по радио с командованием фашистских войск. Сегодня ночью пятая колонна уже предприняла несколько вылазок — по городу носились машины, обстреливавшие патрули, из окон многих домов были брошены на улицу бомбы. Фашистское подполье ожидает приказа о выступлении. Что будет, если эти банды выйдут на улицы Мадрида?..

ЦК компартии формирует рабочие отряды для охраны города. Они вооружены пулеметами, винтовками, им даны грузовые машины, автобусы. Несколько таких отрядов уже выдержали бои с пытавшимися выступить группами пятой колонны. По сообщениям, которые поступают от командиров частей, войска дерутся прекрасно. Те самые солдаты, которые при первом появлении авиации бросали свои позиции, сейчас дерутся как львы. С каждым часом крепнет дисциплина и растет сознание, что дальше отступать некуда, нужно драться здесь, на этой баррикаде, в этом окопе, у этого моста.

\*\*

Утром мне сообщили, что 12-я интернациональная бригада прибыла в Мадрид. Ее с хода бросили на самый тяжелый участок Каса де-Кампо, к Французскому мосту.

Я пробираюсь к маленькому домику — сторожке лесника, скрытому густой листвой деревьев на берегу Мансанареса. Навстречу мне по дорожке идет человек. Мы внимательно оглядываем друг друга. На нем серая байжовая куртка, светлые спортивные бриджи, коричневые сапоги со шпорами. Он свежевыбрит. Над улыбающимися полными губами щетинка подстриженных усов. Потом я узнал, что таким он остается всегда, даже в самые тяжелые минуты.

Из-под козырька на меня вопросительно взглянули лукавые и самые добрые в мире глаза.

— Мне нужен штаб 12-й интербригады, — сказал я по-испански.

— Кто именно вам там нужен?

— Хочу видеть генерала Лукача — командира бригады.

— А вы кто такой?

Я назвал себя. Он подошел и крепко обнял меня. Мы не были знакомы в Москве, но на берегу Мансанареса расцеловались, как закадычные друзья. С этого момента штаб двенадцатой стал моим родным домом на испанской земле. Он часто кочевал, этот гостеприимный дом. Иногда он превращался в сырой блиндаж под Брунете, иногда — в роскошный загородный дворец в Эль-Пардо, где после тяжелого боевого дня, ночью, Лукач и штабные офицеры отдыхали за бутылкой старой малаги, греясь у камина, потому что холодный ветер вривался через пролом в стене. Адрес «родного дома» было легко узнать: там, где самые тяжелые бои, где решается судьба фронта, где ломится враг, там и была всегда 12-я интернациональная бригада, а следовательно и Матэ Залка — Лукач. Каса де-Кампо, Посуэло, Брунете, Университетский городок, Харама, Гвадалахара...

Добрый дорогой Матэ! Он любил людей. Сколько раз видели мы слезы на его глазах, когда погибали его люди. Но как ненавидел он врагов! Он ненавидел фашизм со всей страстью, которую способно гореть человеческое сердце. Он мечтал дожить до того дня, когда будет разгромлен фашизм.

— Красная Армия придет в Берлин, если только они посмеют напасть на нее. — говорил он, — береги пленку, Роман!..

Его нет. Но в горах Югославии, в партизанских отрядах Франции, в предсмертные часы в нацистских лагерях, в последних битвах с полчищами Гитлера ветераны Испании не раз вспоминали раскаленные земли Кастилии и Арагона и видели перед собой лучистый взгляд любимого генерала.

\*\*  
\*

Телефонная связь с Москвой стала регулярной. Ежедневно, к концу дня, меня вызывают «Известия».

Фашисты жестоко бомбят Мадрид. Я жду «юнкерсов» на Гран-виа, на вышке «Телефоника». С этого 14-этажного небоскреба почтового ведомства — столица как на ладони. Падают бомбы, я засекаю место, спускаюсь на скоростном лифте и через пять минут вижу картину, которая стала привычной, и к которой не привыкнуть никогда.

Пламя хлещет из разбитых окон, густым черным дымом окутаны целые кварталы. По улицам в клубах дыма движутся тысячи людей. Они только что покинули разрушенные горящие дома. Среди этих толп почти нет мужчин, сплошь женщины, дети. Они бегут полуодетые, прижимая к груди плачущих детей, поддерживая под руки стариков и старух. А самолеты снова идут, и совсем недалеко гремят разрывы новых и новых бомб. Женщины падают посреди мостовой, бьются в истерике, ломают руки. Молодая мать, распластавшись на траве сквера, вцепилась зубами в окровавленное платье убитой белокурой девчурки. Из пожарниц выносят тела, залитые кровью и покрытые густым слоем известковой пыли.

Наступает ночь. Но на улицах Мадрида светло как днем. Небо окутано розовым дымом, полыхают целые кварталы. Бомбардировка продолжается. Солдаты помогают пожарным. Они храбро бросаются в горящие дома, спасая людей, выносят вещи, отвозят раненых в госпитали, карабкаются с брандспойтами по карнизам домов.

А на окраинах идет бой. Глубокой ночью в городе, окутанном заревом пожаров, обезумевшие от горя матери, потерявшие детей, вслушиваются в беспорядочную канонаду и обескровленными губами шепчут мужьям, братьям, сыновьям, дерущимся в окопах и на баррикадах:

— Держитесь, любимые, держитесь крепко!

\*\*

Он наконец наступил — долгожданный день. В это утро, как и всегда, пришли «юнкерсы». Я насчитал в небе 49 самолетов: 27 бомбардировщиков, остальные — истребители прикрытия «хейнкели» и «фиаты». Город мгновенно замер, опустели улицы и площади. В гробовой тишине — только мерный гул моторов. Но что это? Почему дрогнул парадный строй фашистских машин?

В небе вдруг возник новый звук. Как вихрь, пронеслись над крышами Мадрида четыре стаи маленьких республиканских истребителей. Они взмыли свечами и ринулись на немцев. Один «Ю-52» сразу задымил черной струей, пламя охватило фюзеляж, и он, скользя на крыло, пошел к земле. Это произошло в один миг, но улицы, площади, крыши и балконы Мадрида сразу заполнились десятками тысяч людей. Два «хейнкеля», кувыркаясь, упали, объятые пламенем. Тысячеголосый вопль восторга пронесся над городом.

Люди кричат. Они бросаются друг другу в объятия, они рыдают. Две старушки упали на колени посреди мостовой и замерли, подняв руки к небу.

— Вива! Вива! — эти крики подхвачены тысячами. Летят в воздух берега, солдаты потрясают винтовками в вытянутых руках, девушки машут мантильями.

А бой в воздухе разгорается, там все смешалось. С треском пулеметных очередей, как стрекоты, кружатся несколько десятков самолетов. Пикируют, петляют, взмывают вверх. Из этой карусели вывалилось уже восемь гитлеровских самолетов. Каждого из них провожают неистовые крики счастливых людей.

\*\*

Летчик лежит на красном бархатном диване, изредка закрывая глаза от боли. Вокруг него толпятся офицеры и по очереди задают ему вопросы на всех языках. Он не отвечает, и лицо его все бледнеет и бледнеет. Широкоплечий красавец-гигант теряет силы.

— Вы немец? — спрашивают по-немецки.

— Вы итальянец? — спрашивают по-итальянски.

Даже один старый испанский генерал — ему целыми днями нечего делать, командуют за него молодые способные офицеры — подошел шлепая туфлями, старчески пожевал губами, посмотрел сквозь очки на раненого летчика, которого привезли в Военное министерство, еле отбив от бушующей толпы на бульваре Кастелльяно. Летчик свалился на землю из гущи яростного воздушного боя, в котором было сбито три «хейнкеля» и один республиканский истребитель. Когда он спускался с парашютом, его подстрелили. Две пули попали в живот. Очутившись среди толпы, он потерял сознание.

— Вы француз?

— Вы испанец? — кричат ему в ухо, но он молчит, закрыв глаза и стиснув от боли зубы. А может быть, может быть это наш? И он молчит, думая, что попал к противнику?

— Русский? — тихо спрашиваю я.

Он медленно открывает глаза.

— Где я?. — спрашивает он по-русски.

— Машину! — кричу я, расталкивая толпу офицеров.

В санитарной карете везу капитана Сергея Тархова в «Палас».

Его проносят в операционную.

Главный врач госпиталя профессор Гомесуйо, седой, с сухошавым аристократическим лицом, выйдя из операционной, неопределенно разводит руками:

— Одну пулю извлекли, другая осталась. Состояние тяжелое...

Здесь в «Паласе», навещая раненых друзей, я познакомился с испанской девушкой. Ей 22 года. Она окончила три курса медицинского факультета. Родители уехали в Валенсию. Она осталась в Мадриде. У нее огромные глаза, светлые, золотистые волосы выбиваются из-под белоснежной косынки. Ее жениха — летчика-лейтенанта, зверски убили фашисты под Кордовой. На подбитом самолете он, раненый, приземлил машину в расположении врага. Когда до невесты дошла весть о гибели друга, она уже была на фронте.

Зовут ее Люс — свет.

Весь коридор второго этажа, заполненный тяжелоранеными, — ее владения. Из всех дверей несется зов:

— Люс!..

Она спит не больше двух часов в сутки, и то, сидя на стуле и склонив голову на подушку, рядом с мечущимся в бреду раненым.

Я как-то спросил ее:

— Если фашисты войдут в Мадрид, ты уедешь в Валенсию?

Она с минуту смотрела на меня непонимающим взглядом, потом ответила:

— А мои раненые? — и, подумав, прибавила: — Враги не возьмут Мадрида.

Никому из раненых она никогда не отдавала предпочтения, но когда привезли русского летчика, Люс оставила всех для него. Она никого к нему не подпускала, перестала смеяться, сама проделывала все сложные медицинские процедуры, подолгу смотрела ему в глаза, угадывая каждое невысказанное желание, предупреждая каждый стон.

— Он будет жить, он должен жить, — шепчет она. — Он сражался за нас.

Все свободное время я провожу у постели Сергея Тархова.

— Не должен был я лезть на рожон, — говорит он. — Ну разве это серьезно: один против шести! Мальчишество. Надо было уйти в облака и все тут... Что говорят мои ребята?

— Твои ребята гордятся своим командиром. Ты героически дрался, сбил двух «хейнкелей». Товарищи привет тебе передают. Просили сказать, что вчера за день сбили восемь немцев.

Он вдруг сжимает мою руку и спрашивает, глядя в глаза:

— Жить буду? Скажи.

— Скоро летать будешь. Слушайся Люс, поменьше разговаривай.

\*\*  
\*

Все восхищаются Мадридом, героизмом его защитников, стойкостью его жителей. Засыпают восторженными телеграммами Хунту обороны Мадрида, но реальной помощи оружием, боеприпасами, людскими резервами пока не видать. Мадридцы сердятся на неповоротливость тылов и рассчитывают только на свои силы. Левореспубликанская газета

«Политика» напечатала на первой полосе жирным шрифтом по адресу правительства Ларго Кабальеро: «Некоторые любители мягкого морского климата слишком поспешно отправились на побережье. Пусть попробуют эти туристы сунуться обратно в Мадрид!»

Мадрид доказал, что разговоры о невозможности оборонять его, о необходимости оставить его, были глубокомысленным вздором, похожим на измену. Оставить Мадрид! Попробовал бы кто-нибудь теперь внести это предложение! Ларго Кабальеро, предприняв как военный министр инспекционную поездку по центральному фронту, не решился даже заехать в Мадрид, хотя был совсем рядом — на гвадаррамском секторе, который теперь стал самым тихим участком фронта.

Сегодня утром Тархову стало как будто лучше. Вернувшись поздно ночью в «Палас», я присидел у его изголовья до утра, пока он не задремал. Неужели выживет?

Вечером, уезжая в Валенсию, я снова заглянул к нему. Люс приложила палец к губам и замахала на меня рукой. Он спал.

Только попав в Валенсию, я ощутил, как изменился облик Мадрида. Здесь на улицах — нарядная толпа, масса цветов, кафе переполнены элегантными молодыми людьми и нарядными синьоритами, афиши извещают о том, что в кабаре «Эль Соль» выступает «знаменитая», «неподражаемая» Хуанита Серрано. Красочные плакаты зовут на бой быков.

Первое, что обрадовало меня в комнате Макасева — огромный ящик с прибывшей из Парижа пленкой. Мы крепко обнялись с Борисом. Он рассказал мне о своих съемках в Картахене, Валенсии, передал мне письма из Москвы. Мы спустились позавтракать в ресторан. За соседним столиком сидят двое «новеньких». У них растерянные лица — им подали странное блюдо, спрута в соусе из его же «чернил». Блюдо очень вкусное, но на неопытного человека оно производит отталкивающее впечатление.

— Камарада, попрошу на минутку! — обращается один из «новеньких» к официанту, и тот подбегает к столу. Тогда «новенький» проводит рукой от горла к желудку и отрицательно мотая головой говорит:

— Камарада, вот эта штука — но пасаран, не пройдет, понимаешь, никак не пройдет...

В Валенсии мне больше нечего делать. Возвращаюсь в Мадрид. Проезжаю городскую заставу, радостно вдыхаю родной воздух города. Заезжаю в «Палас». Тархов в тяжелом состоянии.

В Военном министерстве встретил Хаджи. Он собирается ехать в штаб Дуррути. Поехали вместе. Бригада Дуррути недавно пришла из Каталонии. Анархисты подняли по этому поводу невероятную шумиху. Они идут спасать Мадрид! Они требуют поставить бригаду на самый тяжелый участок обороны Мадрида! Они наконец разгромят полчища Франко!

На второй день на их участке марокканцы форсировали Мансанарес и просочились в Университетский городок. Это очень опасно. Теперь фашисты — в черте города. Анархисты дали Хунте торжественное обещание исправить положение. Никто в это не верит, а сегодня утром они еще потребовали вывести их на отдых. Чудовишно!

\*\*  
\*

Особняк на тихой улице, обсаженной большими развесистыми деревьями. Он принадлежал древнему аристократическому роду. По мраморной лестнице поднимаемся в бель-этаж, идем по большому залу, обтянутому темнозеленой шелковой материей. На стенах полотна ста-

рых мастеров. Из полумрака на нас смотрят глаза далеких предков удравшего хозяина дома. У дверей — рыцари в латах. Горят люстры. Нога утопает в мохнатых коврах. Проходим целой анфиладой роскошных комнат, никого не встретив. Издалека доносится стук пишущей машинки. Наконец попадаем в комнату, где разместились канцелярия штаба бригады. Массивная дверь из черного дуба охраняется четырьмя здоровенными парнями. У каждого по два маузера. Нас проводят в кабинет, где Дуррути диктует что-то машинистке. Он порывисто встает и, кинувшись навстречу Хаджи, долго жмет ему руку, словно боясь ее выпустить. Он очень нервен. В его черных глазах, всегда светящихся яркими вспышками, сейчас — еле уловимая грусть и растерянность. Всего лишь несколько дней назад Хаджи прикомандирован к бригаде в качестве советника, а Дуррути уже не может прожить без него и часа. Он полюбил Хаджи за отчаянную храбрость, за железную волю и жесткую прямолинейность — те качества, за которые все любят этого отважного молчаливого человека. Хаджи представил меня Дуррути, и я ему напомнил о нашей первой встрече. Это было три месяца назад. Мы с Эренбурггом с трудом отыскали ночью его штаб под Уэской. Почти всю ночь просидели в подвале разбитого дома. Дуррути пламенно излагал Эренбургу свое политическое мировоззрение. В одном нельзя было заподозрить этого горячего человека: в неискренности его желания драться с фашизмом. А в остальном его речь была беспорядочным наивным бредом о всеобщем равенстве, о торжестве анархии. Эренбург часто своими вопросами припирал его к стене, Дуррути вскакивал, горячился и даже, наконец, всердцах воскликнул, что он за такие слова может и расстрелять. На рассвете, усталый, грустный, он провожая нас к машине, дал конвой и крепко пожал на прощанье наши руки.

Он вспомнил сейчас эту встречу и, явно желая оттянуть неприятный разговор, который предстоял ему, повел нас за собой.

— Посмотрим дом. Здесь так красиво...

Мы пошли за ним. Он останавливался у каждой картины, статуи, любовался, вглядывался в детали тончайшей работы. Вдруг, обернувшись ко мне, он сказал:

— Все, что тебе понравится, можешь взять на память о Дуррути...

Я поблагодарил и сказал, что обязательно захвачу пару рыцарей в латах и даже не понимаю, как я жил без них до сих пор.

Хаджи молча взял его за руку, усадил на большой диван, обитый голубым атласом. Он покорно сел и опустил глаза.

— Это верно, Дуррути, что ты отводишь бригаду в тыл?.. — спросил Хаджи, — Ты знаешь, что резервов нет. Ты оголишь самый ответственный участок фронта.

— Да, я отвожу бригаду! — почти закричал Дуррути. — Люди устали! Устали от бомбежек и артиллерии! Люди не выдерживают! Я не могу!..

— Дуррути, бригада всего два дня на передовой. Ты знаешь, как хорошо расценил народ, что анархисты, наконец, из глубокого тыла пришли драться в Мадрид. И ты знаешь, какое нехорошее впечатление произведет уход бригады. Что тебя заставляет предпринять этот шаг?

Дуррути опустил голову и, стиснув виски, тихо сказал:

— Знаю, все, все знаю, но они требуют.

Он снова вскочил и зашагал по ковру. Стиснув кулаки, он остановился около рыцаря и, сверкая глазами, сказал:

— Поеду в бригаду. Сейчас же.

— Я с тобой, — предложил Хаджи.

— Нет, нет! — словно испугавшись, воскликнул Дуррути. — Нет, я один поеду, — и решительным шагом направился к себе в кабинет, кивнув на ходу охране: — Машину. В бригаду.

Он быстро затянул на байковой куртке пояс с пистолетом, мы вышли на улицу. К дому подъехала машина с охраной, из нее вышел начальник штаба Дуррути. Рука его на перевязи. Я попросил Дуррути взять меня с собой: хотел снять его в Университетском городке. Он резко сказал:

— Нет, нет, нет, только не сейчас.

Он бросился к раненому начальнику штаба.

— Ну, что там у нас?

Потом он кинулся в машину, и она в сопровождении четырех мотоциклистов рванула с места. Мы с Хаджи поехали в штаб обороны Мадрида.

Через час, проходя по коридору штаба, я увидел Хаджи. Он стоял спиной ко мне, глядя в окно. Я его окликнул. Он не ответил. Я тронул его за плечо. Он повернулся ко мне, и я увидел, что его глаза полны слез.

— Что случилось?

— Они убили Дуррути. Только что убили.

Предательский выстрел в спину оборвал жизнь Дуррути в момент самой напряженной борьбы его с самим собой и с «классическими» анархистами. Он мучительно хотел порвать с окружавшей его камарильей авантюристов и начать настоящую безоговорочную борьбу за свободу Испании. Он был честным человеком, он готов был уже сделать правильные выводы из всего, что происходило на его родине, — и его убили.

\*\*

Ночью меня разбудили. Я поднялся на третий этаж.

Сергей тяжело дышал. Он изредка шептал что-то белеющими губами. Потом взглянул на нас и затих.

Я долго смотрел на его высокий красивый лоб, на спокойные восковые черты усталого лица. Закрыв ему глаза, Люс проплакала у его изголовья до утра.

В ясный солнечный день мы хоронили Сергея. Его товарищи не пришли на похороны. Они сражались. Долго не могли найти Люс, она исчезла, и прибежала, когда уже закрывали крышку красного гроба. В осажденном врагами Мадриде она нашла две белых хризантемы и положила их у изголовья Сергея.

Черный автомобиль-катафалк лавировал между трамваями. Его обгоняли с бешеной скоростью военные машины. Встречные поднимали кулаки, снимали береты. Солдаты молча, торжественно поднимали над головой винтовки. Черному катафалку салютовали строители баррикад на перекрестках, женщины в черном, люди, стоявшие в длинных очередях. Все поднимали кулак, провожая в последний путь Героя Советского Союза Сергея Тархова.

А в небе кружили истребители, патрулирующие над городом.

На окраине маленькая девочка, подняв руку, остановила катафалк, что-то сказала шоферу и вбежала в дом. Через несколько минут она выбежала с букетом цветов и, поднявшись на цыпочки, положила цветы на гроб. Я обернулся. Девочка, подняв кулак, смотрела нам вслед.

На кладбище тихо. На гранитных памятниках надписи. Около часовни много трупов убитых во время последней воздушной бомбардировки. Женщина в окаменелых объятиях сжимает убитого вместе с ней

грудного ребенка. Маленькие дети беспомощно раскинули ручки на влажной траве среди осенних листьев. Холодную тишину на минуту пререзает женский надрывный крик. Из города доносятся разрывы тяжелых снарядов.

В Испании хоронят, замуровывая гробы в ниши колумбария. Мы сняли гроб с катафалка, поднесли его к нише и, поставив на землю, открыли крышку.

На горизонте появились силуэты «юнкерсов». Эскадрилья республиканских истребителей сделала крутой разворот и пошла навстречу врагу. Гроб установили в нише, закрыли нишу мраморной плитой и замуровали алебастром.

Воздушный бой кончился. Истребители сомкнутым строем, крыло к крылу, возвращались на небольшой высоте на свой аэродром. Они с могучим ревом пронеслись над нашими головами, и летчики не подозревали, что в боевом строю они салютуют своему товарищу, провожая его в последний путь.

Придет день — мы вернемся к этой могиле. Придет день — и народ свободной Испании воздвигнет не один памятник в честь героев, умерших на испанской земле за его счастье и свободу, за свободу всех народов мира.



---

---

# НИКОЛАС

Рассказ

О. САВИЧ

★

1

**Т**анк обрушил бруствер, уперся в заднюю стенку окопа, раздался взрыв мины, гусеница лопнула. Все трое ударились, кто обо что, и одновременно выругались. Мотор продолжал работать, и ни один не услышал голоса других.

Франсуа нажал рычаги, дал предельную скорость, мотор взревел, но танк не сдвинулся с места. Николас со своего поста толкнул Франсуа ногой. Это означало: выключи мотор. Сразу наступила тишина. Николас смахнул с лица муху. Привезли ее с собой, или она фашистская?

Он прильнул к смотровой щели. Окоп выгибался, в нем никого не было, — разбежались. Дальше лежало открытое выжженное поле, а за ним маячили темнорыжие горы с темносиней каемкой. Позади было то же неровное взрытое поле с короткой, редкой и сухой травой. Республиканские окопы находились, примерно, в километре отсюда.

Николас спрыгнул вниз. Несмотря на полутьму, он заметил, что лица Франсуа и Пако бледны. «Наверно, и я хорош», — подумал он.

Пако, стрелок, продолжал безостановочно ругаться, словно ему даже не требовалось набирать дыхание. Франсуа же быстро и коротко, как заклинание, повторял всё одно и то же ругательство.

— Тише! — сказал Николас по-русски и прибавил по-испански: — Внимание!

Те замолчали не сразу, и Николас заметил, что Пако дрожит, а Франсуа бессмысленно бьет кулаком по ладони другой руки. — Вот получай, — мелькнуло в голове, — говорили, учи испанский! Как мне им геперь объяснить?

— Внимание! — повторил он, поймал кулак Франсуа и разжал его пальцами, потом ткнул Пако в бок. Пако перестал дрожать и посмотрел на командира с внезапной надеждой. Успокоился и Франсуа, но он смотрел на Николаса критически. — Вот что, — сказал Николас, вкладывая в русскую речь столько повелительности и убеждения, чтобы они служили ему переводчиками, — первое: не валять дурака! — Он скорчил гримасу и начал комически трястись от страха. — Это — нет! — сказал он по-испански.

Пако кивнул, Франсуа молчал и не двигался.

— А за нами придут, — сказал Николас и спросил по-испански: — Ясно?

Ничего не было ясно. Николас показал жестами: оттуда, сзади, из республиканских окопов, придут другие танки с тягачом, придут — фр,

фр, фр, — станут вокруг, никого не подпустят, стреляя — тр, тр, тр, — тягач нас зацепит, вытянет, и все уйдем обратно. Ясно?

— Ясно, — закивал Пако.

— Ясно-то ясно, — пробурчал Франсуа. — Но посмотрим...

— А фашисты? — робко спросил Пако, и Франсуа иронически посмотрел на Николаса.

— Фашисты? — прищурился Николас. Этого вопроса он ждал и боялся, но оттягивать ответ было нельзя. — Что фашисты? Они думают, мы убиты.

Он ткнул пальцем в себя, в Пако и Франсуа и показал руками падение тел.

— Нет, — сказал Франсуа, — пожара не было, газولين (бензин все называли по-испански) не вспыхнул.

Пако закивал: да, да, газولين не вспыхнул, иначе они бы уже сгорели. Он даже рассмеялся от удовольствия, что не сгорел, но сейчас же нахмурился: во-первых, смеяться сейчас, вероятно, неприлично, во-вторых, фашисты не такие дураки, они поймут, что без пожара никто не мог сгореть.

— Не сгорели, это главное, — сказал Николас. — Ясно? — Чтобы перевести свои слова, он показал длинный нос в сторону фашистов и рассмеялся. Пако понравилось, что можно смеяться, и он расхохотался. Усмехнулся и Франсуа. — Теперь надо ждать, — с облегчением сказал Николас, думая, что разрядил атмосферу. — Ждать, — сказал он по-испански.

— Ждать нельзя, — сказал Франсуа, — они сейчас придут. И у них тоже найдутся тягачи. Они заставят нас выйти. Они возьмут нас в плен. Его (он показал на Пако), может быть, и не убьют, но ты знаешь, что они делают с нами, интернационалистами? И тебе, русскому, уж наверно будет не лучше.

Николас называл французов «мельницами», ему казалось, что они говорят с невероятной быстротой, и говор их напоминал ему торопливое, то веселое, то встревоженное чириканье. Он не понимал ни слова по-французски, но речь и жесты Франсуа были достаточно выразительными, а главное — Николас понимал, о чем думает водитель.

Броня зазвенела: несколько пуль ударились о нее. Николас вспрыгнул на свое место. Фашисты стреляли из укрытий, невидимые. Он спрыгнул вниз.

— Дураки! — сказал он. — Броне ничего не сделаешь! — Он шелкнул ногтем о металл и презрительно отмахнулся. — А выскочим, подстрелят. — Он изобразил это жестами.

— А если из пушки? — спросил Франсуа. — Бум? — Он показал, как снаряд разворотит танк.

— Они хотят взять танк целехоньким, — ответил Николас и сказал по-испански: — Нет, они хотят танк, Франсуа.

— Они хотят танк и нас вместе с танком, — сказал Франсуа.

— И что? — спросил его Николас.

Франсуа пожал плечами, потом сложил из пальцев револьвер и приставил его к виску.

— Ничего другого не остается, — сказал он. — Умрем, как герои и как... как дураки.

— Внимание! — крикнул Николас. Он считал, что это слово означает по-испански «смирно». — Я тебе покажу стреляться раньше времени! Танк оставлять только при крайней необходимости! С собой кончать только в безвыходном положении! За жизнь бороться до последнего! — Он выкрикнул это, не думая, что точно повторяет слова своего командира,

и не замечая, что кричит. — Все делать только по моему приказу! Я командир машины, — перевел он. — Приказ: ждать! Ясно? Внимание!

Пако облизал сухие губы и кивнул. Франсуа снова пожал плечами, но сказал, коверкая испанские слова:

— В вашем распоряжении...

Выстрелы давно затихли. Несколько минут прошло в полной тишине. Снаружи раздался стук, сначала осторожный, потом настойчивый. Они переглянулись, кинулись к щелям. Рядом с танком стоял фашист. Из-за поворотов в окопе выглядывали другие. Фашист постучал еще раз и сказал громко:

— Красные, сдавайтесь! Вы отсюда не выйдете. Капитан обещает вам жизнь.

Он старался говорить спокойно и уверенно, но голос его на последнем слове дрогнул.

Пако хотел ответить. Николас зажал ему рот. Он не понял ни слова из сказанного фашистом, но в смысле не сомневался. Он погрозил Пако кулаком и жестами изобразил: притвориться убитыми.

Пако показал на пулемет: можно обстрелять тех, кто выглядывает из-за поворота. (Парламентер стоял слишком близко, в мертвой зоне.) Николас отрицательно покачал головой и снова изобразил: мы убиты.

Не получая ответа, фашист еще раз постучал в броню и крикнул:

— Красные, отвечайте! Если среди вас есть раненые, мы отвеем их в госпиталь. Сдавайтесь! Ваше дело проиграно! Мы обещаем вам жизнь!

Пако и Франсуа смотрели на Николаса. Он держал палец на губах.

— Вам же будет хуже! — кричал фашист. — Мы вас достанем!

Он подождал ответа, и не получив его, выругался. Оскорбленный Пако хотел было блеснуть набором ругательств, но Николас снова закрыл его рот ладонью.

Фашист попятился, повернулся и осторожно, оглядываясь и стараясь не ускорять шагов, пошел к своим.

— Я его застрелю, — шепнул Пако и рванулся к пулемету, но Николас удержал его на месте.

## 2

Несколько пуль ударились о броню, и снова наступила тишина. Фашистский капитан, повидимому, запретил бессмысленную стрельбу.

Николас поднес к глазам руку с часами. С тех пор, как они выехали за республиканские окопы, прошло меньше часа.

Покраснев, он невольно коснулся внутреннего кармана комбинезона. — Командир... приказ... а сам... Каждый раз говорю себе: с собой ничего не брать, никаких документов, чтобы в случае чего нельзя было узнать, кто такой. А у меня наташкина карточка и письмо. Надо уничтожить. Только так, чтобы не заметили.

Ему ужасно хотелось посмотреть на карточку, перечитать письмо. Нельзя — решат, что командир недисциплинированный. Предупреждал себя, но всегда думал: это — так, для порядка, ничего не случится. И вот, на тебе!

Он присел и сидел в полутьме, а перед глазами стояло поле, по которому они добрались сюда. Не свое, не русское, не тульское. Еще хуже, чем чужое, — вражеское. Нет, положим, пока еще ничье. До Тулы, наверно, несколько тысяч километров. И это меньше, чем один километр до республиканского расположения.

— Николас, смотри!..

Темнорыжие горы, смуглые лица, шинели-одеяла, как будто рваные, струя вина, которая льется в рот из высоко занесенного в руке кувшина, — куда он попал?

— Николас, смотри!..

Несколько фашистских солдат осторожно подкрадывались к танку. Пако взял Николаса за руку и показал на пулемет.

— Ждать, — прошептал Николас.

Бросить гранату фашистам было трудно: танк осел в окоп, из-за выгнутого профиля сбоку к нему пришлось бы подойти вплотную и подорвать заодно себя, или — выскочить из окопа под обстрел республиканцев, а они, конечно, следят, видели, как танк остановился. А кроме того, зачем фашистам портить танк?

Снова раздался стук и последовало предложение сдаться. Затем один из солдат полез под танк. Другие передали ему штык, и он начал ковыряться вниз, пытаясь отодвинуть люк.

— Откроют, бросят гранату, — прошептал Франсуа. — Или просто вытащат.

Николас встал над люком и вынул револьвер.

Больше никто не сказал ни слова. Фашист то колотил по металлу, то пробовал просунуть штык в паз. Люк начал поддаваться. От ударов танк гудел. В крохотной щели мелькнуло желтое — песок, его закрыло зеленое — куртка фашиста. Кончик штыка просунулся в отверстие, оно стало расширяться. Николас присел на корточки, осторожно вытянул руку, выстрелил. Штык выскользнул из танка, Николас задвинул люк. Остальные фашисты убежали. Несколько пуль снова ударились о броню, и опять настала тишина.

— Наши видят, что мы застряли, — сказал Пако. — Должны помочь.

Франсуа понимал испанский благодаря его сходству с французским и сообразительности парижанина.

— В атаку из-за одного танка не ходят, — ответил он, мешая испанские и французские слова, — то есть из-за трех человек, потому что пехота все равно танка не вытащит. А другие наши танки знаешь где? Их надо вызвать. Пока запросятся, пока придут. И рисковать ими тоже нельзя. Сколько их у нас? А фашисты, наверно, уже всю артиллерию повернули сюда.

— Что же будет?

Франсуа слегка презирал Пако: за молодость, хотя испанец был моложе его всего года на два, за то, что Пако по сравнению с парижанином — «деревенщина», за то, что он, Франсуа, — настоящий интернационалист-доброволец, не без труда пробравшийся в Испанию, а Пако пришел в часть с испанским пополнением. Вместе с тем Франсуа симпатизировал «мальчишке» и жалел его. Поэтому он ответил туманно, с неопределенной надеждой:

— Посмотрим...

Его «посмотрим» могло выражать все что угодно — от крайней степени уверенности до такой же степени отчаяния. Сейчас оно выражало некоторое успокоение.

— А русский? — сказал Пако.

— Что русский? — переспросил Франсуа.

— Он не позволил тебе застрелиться. Он на что-то рассчитывает. Он хочет жить.

— Все хотят жить, — наставительно ответил Франсуа. — Я тоже приехал к вам драться, а не умирать. Но на войне умирают немножко чаще, чем в кино. Ты знаешь, что такое шанс?

Острот Франсуа Пако не понял. Но что такое шанс, он знал.

— Ну вот. В этой игре у смерти много шансов. А нам не повезло. Но в игре бывают всякие неожиданности. Я это знаю, я люблю скачки. На финише вдруг всех обгоняет лошадь, на которую никто не ставил. Понял?

— Ничего не понял, — ответил Пако. — При чем тут лошади? Мы — танкисты, а не кавалерия, — с гордостью сказал он. — А на смерть я плевал! Вот так. — Он плюнул и изобразил на лице величайшее презрение. — Я только говорю, что русский что-нибудь придумает.

— Ты всегда надеешься на других, — покровительственно сказал Франсуа. — Конечно, русский знает свое дело лучше нас.

— Он слов даром не тратит, — с уважением и почти с восторгом шепнул Пако.

Пако и Франсуа привыкли болтать о чем угодно в присутствии Николаса, зная, что он их не понимает.

— Ну да, — сказал Франсуа. — Но этому его вряд ли учили.

— Чему?

— Что делать с таким шансом, как у нас.

— Командир танка все знает и ко всему готов, — категорически заявил Пако.

Франсуа хотел было что-то возразить, но сказал только — не то с сомнением, не то с надеждой — свое обычное:

— Посмотрим...

Николас прекрасно знал слова «русский», «командир». — Вот черти, — подумал он, — наверно, говорят, что в Красной Армии этого бы не случилось и что я липовый командир. Но вел же танк Франсуа, и никто не мог знать, что тут мина.

Николас даже покраснел, но тотчас успокоился: они явно ни в чем его не осуждали. Но он сейчас же заволновался снова: он понял, что они всецело надеются на него. — Как на каменную гору, — подумал он и усмехнулся: месяц тому назад республиканцы еще держали вон те темнорыжие горы и надеялись на них.

— Смотри, как он спокоен, — шепнул Пако. — Русские всегда такие.

— Англичане тоже спокойные, — ответил Франсуа.

— Англичане — из гордости, — объяснил Пако, — они других не считают людьми. А русские — оттого, что они все знают, и еще оттого, что... — Он запнулся.

— Еще отчего? — спросил Франсуа.

— Оттого, что у них Советская власть.

— А-а, — ответил Франсуа. — Конечно. Если бы она была у вас, Франко давно висел бы на фонаре, а мы бы не попали в эту грязную историю.

«Спросили: действительно ли решил ехать? — думал Николас. — Решил ли! Когда все мечтали об одном: в Испанию! Наташке сказал: уезжаю в командировку. Она побледнела и спрашивает: туда? Я говорю: да нет же, глупая ты, в Сибирь, на Дальний Восток. А она не поверила. «Ладно, не говори, все равно знаю—туда. Счастливей!» А сама и дрожит и сияет. Я не дрожу, но, наверно, тоже сияю. Товарищ, который провожал, смотрел на меня сквозь очки и, улыбаясь, повторял: «Подумаешь, Николас, ты ко всему готов?» И начал сыпать: особые условия, острое положение, сложная обстановка, другие люди, гибкость, подход... Я и бухнул: ко всему готов. Все думал — я, я... Я готов, я выдержу, я буду храбрым, я, если понадобится, умру... А тут, пожалуйста, — они, отвечай за них. Одно дело учить их. Сообразительные, черти, все схватывают, только лентяи. Но другое дело сейчас. Ладно,

я могу в любую минуту пустить себе пулю в лоб. Решено: живым в руки фашистов не попадаться. А они? Француз уже предложил: стреляемся. Ишь какой быстрый! А там что скажут? Где выдержка? Разве я все сделал? Какое имел право губить других? Выходит, ни к чему я не был готов.

Николас сидел в той же неподвижной позе. Пако шепнул:

— Спит! Вот воля! Каждую минуту использует!

— Если нам осталось только спать, — ответил Франсуа, — то для этого у нас впереди целая вечность.

— А ты думаешь, вечность есть? — простодушно спросил Пако.

— Вот это по-испански! — расхохотался Франсуа. — Самое подходящее время для философии.

Теперь оба хохотали, и Николас в душе немножко позавидовал им, но строго подумал: дети какие-то...

## 3

— А, негодяи, козлы, дети скверной матери! — закричал вдруг Пако. Он и Франсуа разговаривали, все время поглядывая в щели.

Несколько фашистов вышли из-за поворота в окопе, неся в руках солому и сучья.

— Они хотят поджечь нас!

Ни Пако, ни Франсуа не успели как следует выругаться. Николас одним прыжком занял место Пако у пулемета. Он выждал, — фашисты шли медленно и неуверенно. Сердце его стучало так громко, что стук, казалось ему, был слышен и в окопе. Потом он дал короткую точную очередь. Фашисты упали, только один успел убежать. Солёма вспыхнула, желтый огонь на мгновение закрыл поворот. Потом пожар сразу погас.

Один из фашистов был только ранен. Он медленно пополз назад, прижимаясь к земле.

— Стреляй! — крикнул Пако.

— К чёрту! — ответил Николас. — Хватит с него! Будет ученый.

Он с трудом разжал пальцы, впившиеся в ручки пулемета, и вдруг расхохотался. Пако и Франсуа смотрели на него с удивлением, но он не мог остановиться. Они вопросительно переглянулись и тоже рассмеялись.

— Все-таки что-то сделали, — объяснил свой смех Франсуа.

— Он сделал, — подхватил Пако. — Но, конечно, не напрасно все-таки... — Он замолчал и перестал улыбаться.

— Ну, а теперь что? — спросил Франсуа. — Теперь они хорошо знают, что мы живы.

— Пусть они и ломают себе голову, — сказал Пако.

Короткий дождь пуль опять ударил в броню, и опять настала тишина.

— Злятся, — сказал Пако.

— А все-таки, — спросил Франсуа, — что нам делать, командир?

— Ждать, — ответил Николас.

Он знал, что Пако во всем послушается его, но несколько побаивался за француза: тот был строптив и недоверчив, все любил проверять, обсуждать, критиковать. Но Франсуа сказал просто:

— Будем ждать.

Николас понял, что завоевал доверие француза. — Чем? — с удивлением подумал он.

Франсуа и Пако не отходили от щелей. Но фашисты больше не показывались и молчали. — Решили взять измором, — подумал Николас. Он

был убежден, что фашисты хотят захватить танк целым.—Как перевести им «измором», чтобы они не волновались?

— Фашисты больше ничего, — сказал он по-испански. — Ничего делать. Они тоже жди. Они жди, нам нечего есть и пить. Ясно?

— Посмотрим, — сказал Франсуа, на этот раз весело.

— Командир, — спросил Пако, — ты из рабочих или из крестьян, или интеллигент?

— Рабочий, — ответил Николас. — Мой город — Тула. Ясно? — спросил он вместо «слыхал про такой?».

— Нет, — сказал Пако. — Там шахты, как в Астурии?

— Нет, это, — Николас показал на пулемет и на свой револьвер.

— Я слыхал про Тулу, — сказал Франсуа. Ему хотелось показать, что он знает больше Пако.

— Командир, — сказал Пако, — а в армии ты служил?

— Три года.

— И тебя всему научили?

Николас не понял и неопределенно пожал плечами.

— Я хочу сказать, что у нас рабочий должен был бы дольше учиться. Мы необразованные. Командир, а у тебя есть девушка? — Пако выпалил последний вопрос одним духом и густо покраснел.

— Не девушка, — ответил Николас. — Жена.

Он достал фотографию и протянул Пако. Пако схватил ее и поднес к щели.

— Ого! — сказал он с восторгом и по испанской привычке зацокал губами. — Какая хорошенькая!

— Покажи, — сказал Франсуа и в свою очередь поднес фотографию к щели, рассмотрел критическим взглядом знатока и тоже одобрительно прищелкнул языком. — Таких и в Париже немного, — изрек он свой наивысший комплимент.

— И ты оставил ее, чтобы приехать к нам? — спросил Пако.

— Она хотела, — с гордостью сказал Николас, и товарищи поняли, что Наташа сама посылала мужа в Испанию.

— Я тебе говорю, — закричал Пако, — русские — особенные люди и женщины у них особенные. Командир, она тебе пишет? Да? А что она пишет? Дома все в порядке? В твоём городе... как его? Тула!.. работают хорошо? А про нас она спрашивает? То есть про Испанию?

— Еще бы не спрашивала, если сама посылала, — сказал Франсуа.

— Она хочет, чтобы мы победили! — в восторге кричал Пако. — Чтобы ты был героем! Чтобы мы все были героями!

— Да, да, — кивал Николас, понимая через пятое на десятое то, что говорит Пако.

— А ты писал ей про нас? Про Франсуа и про меня?

— Да, да.

— А что ты писал?

Николас не знал, что ответить. Франсуа сказал за него:

— Он написал, что в его танк назначили стрелком совершенного дурака и молокососа Пако.

— Нет, правда?

Николас молчал и улыбался. — Вот, Наташка, и ты участвуешь в войне, — думал он, — помогаешь.

Франсуа, отвернувшись, сказал глухо, без выражения:

— А у меня никого нет. Была — и нет.

Пако повернулся к нему.

— Смотри в щель! — крикнул Франсуа. — Год тому назад я потерял работу. Выгнали, потому что в забастовку я намозолил глаза инженеру. И еще кое-кому. И девушка от меня ушла. Она любила танцевать, раз-

влекаться, понимаешь? — Он обращался к Пако, но говорил только для Николаса. — У русских так не бывает. А у нас так. Денег нет—и ты девушке не нужен. Если бы я ей тогда сказал, что еду в Испанию, она бы сказала, что я сумасшедший.

— Что она — фашистка? — возмущенно спросил Пако.

Франсуа не ответил ему, помолчал и обратился прямо к Николасу:

— Ты не думай, я не из-за этого сюда приехал. То есть немножко из-за этого. Понимаешь, не оттого, что огорчился, что она меня бросила, а оттого, что это вообще бывает. Это не годится, чтобы из-за денег любили, из-за денег бросали. И в забастовку я многому научился. Это тоже не годится, чтобы надо было голодать для того, чтобы не голодать. А все, что не годится, — фашизм. Верно?

Он говорил на особом языке интербригад: частью по-испански, частью на своем языке, и прибавлял слова из всех языков Европы. Он думал, что так Николас легче поймет его. И Николас, действительно, понял.

— Да, да, — сказал он. — Ясно. Все это — фашизм.

— И фашизм есть везде, — сказал Франсуа. — Только у вас его нет.

— Ясно, — подтвердил Николас.

— Я это понял здесь, — сказал Франсуа. — То есть окончательно понял. Мне их Франко так противен, как будто я из-за него бастовал, как будто это он у меня девушку отнял. А в общем, я начал воевать с фашизмом еще в Париже, в тридцать четвертом, когда наши фашисты пошли на Палату депутатов.

## 4

Республиканцы и фашисты лениво перестреливались. Отдельные выстрелы негромко хлопали, как кнут пастуха. Сотни солдат с обеих сторон, наверно, не сводили глаз с танка. Стало очень жарко, солнце вышло из-за гуч и сразу накалило металл. Есть не хотелось, но Николас заставил себя и остальных сжевать по плитке шоколада. Шоколад был французский.

— Наши все-таки помогают, — сказал Франсуа и тут же прибавил: — но мало.

Теперь, в жару, от шоколада еще больше хотелось пить. А вода была только у Пако, он никогда не расставался с флягой. Николас велел беречь воду.

— Наступит темнота, — думал он, — фашисты подкрадутся, и мы не услышим. Костер разложат так, чтобы не взорвать, а поджарить нас. Выскочить с темнотой? Услышат и сразу — пулеметом. Все равно, придется выскочить. Но они будут ждать. А револьвер только у меня. Успею прикрыть Франсуа и Пако? Чёрт знает, что тут делать!

Франсуа устал. Николас сменил его у щели, и он заснул. Фашисты явно выжидали прибытия тягача или наступления темноты. — Им что! — думал Николас. — Поймали! — Он наклонился над Франсуа. Француз спал, и на лбу его появилась мучительная морщинка. — Я думал, он веселый, даже пустой, а он грустный. Может быть, и во сне видит наш танк? Или девушку, которая его бросила?

Раньше Николас относился к Франсуа несколько настороженно. Он знал, что француз храбр, и все-таки не вполне доверял ему из-за его критических взглядов и словечек. Теперь Николасу было жаль Франсуа. — Хороший народ, — подумал он. — Вроде песни: никогда не поймешь, веселая или грустная...

Пако стоял у другой щели. Он все время косился на Николаса. Решив, что русский ничем не занят, он прошептал:

— Командир, можно, я тебе тоже расскажу про себя?

В его шёпоте была горячая просьба.

— Если я пойму — ответил Николас и подумал: — А следовало мне знать их раньше. И рассказывать про себя должен был раньше заставить. Ну да ладно теперь. Буду жив, запомню.

— Я из-под Валенсии, — зашептал Пако. — Сагунто, знаешь Сагунто? Который фашисты бомбят, потому что там заводы. У нас кругом апельсины и рис. Апельсины стоят, как солдаты, цветы белые-белые и так пахнут... А от риса, от орошения, плохо пахнет. Крестьяне у нас в общем богатые, но отцу не повезло. У него сосед отвел воду. Он послал меня в Сагунто. Он сказал: все равно, этого клочка на семью нехватит. В Сагунто есть камни со времен римлян, знаешь?

— Я был в Сагунто, — сказал Николас.

— Ну? — обрадовался Пако. — Твой город... как его? Тула!.. конечно, больше, и заводы у вас, конечно, лучше. Но Сагунто — ты не думай, что это уж такой маленький городок. Заводы старые, но зато люди работают из рода в род. Много стариков, которые помнят все забастовки этого века, когда нас еще на свете не было. И участвовали в них. Знаешь, там почти ни одного голоса не было против Народного фронта.

Пако торопился и не замечал, как перестал выбирать легкие слова, что он всегда делал в разговорах с Николасом и интернационалистами. Мало того, он невольно перешел на валенсийский выговор, и Николас не понимал уже ни звука. Но он видел, как взволнован и увлечен Пако, и поэтому время от времени кивал головой или говорил: да, да. И Пако казалось, что русский понимает все.

— Я хочу сказать, что я сам, когда пришел в Сагунто, ничего не понимал. Я думал, что счастье только в земле. Я мечтал: проработаю лет двадцать, накоплю денег, вернусь в деревню, куплю участок и буду заниматься только апельсинами. Чтобы не пахло орошением. Мне тогда было пятнадцать лет, это ужасно давно (теперь ему было девятнадцать). Если бы война началась тогда, хотя это было бы уже при Республике, а не при короле, я бы ничего не понял. Я бы тогда не пошел добровольцем. Я бы не понял, какие замечательные люди русские и интернационалисты. Я бы наверно спрашивал, кому охота проливать кровь за чужое дело даром? Я бы не понимал, что люди, то есть настоящие люди, должны помогать друг другу. И прежде всего — рабочие. Вообще — трудящиеся. Что фашизм — общий враг. Этому меня Сагунто научил. Я раньше ничего не знал про СССР. Я не догадывался, как это хорошо, когда власть у рабочих. Я даже не понимал, как это может быть. Отец говорил, что крестьянам до этого нет дела, потому что земля — это всегда, а городские глупости — это глупости. Он говорил, что апельсины и рис нужны всем, а слова — только тому, кто их говорит. И что без крестьян все подошло бы с голоду.

Пако вдруг схватил Николаса за руку.

— Командир!.. Нет, не хочу сейчас называть тебя так! Русский!.. Нет, и это мало! Товарищ! Товарищ Николас! Я хочу тебе сказать! Я рабочий! Понимаешь, я — рабочий! Не только руками. Сердцем! Я знаю, за что умру! Если ты выживешь, ты скажи своей жене: Пако был настоящий рабочий.

«Скажи», «жена», «рабочий» — эти слова Николас знал. И он вдруг понял все, что волновало Пако. Не думая, неожиданно для себя, он схватил Пако за плечи и неловко поцеловал.

— Почему вы прощаетесь? — спросил Франсуа. Он только что проснулся, и голос его был сонным.

— Глупо! — подумал Николас и покраснел.

Но Франсуа проснулся совсем не в насмешливом настроении.

— Ах, да, — сказал он и тяжело вздохнул. — Потому что скоро стемнеет, и тогда... — Он не ждал ничего хорошего от ночи. — И тогда тремя рабочими, тремя солдатами, тремя антифашистами будет меньше. А все-таки это хорошо — быть рабочим, солдатом, антифашистом и интернационалистом. Ты, Пако, интернационалист, потому что ты в нашей части. Русские вообще главные интернационалисты во всем мире. Я понимаю, почему вы прощались.

— Мы не прощались, — сказал Пако.

— Нет? А я думал... Хотя, конечно, три человека ничего не значат и ничего не решают. А умереть один раз нужно. Посмотрим...

Во время операций, стоя на своем месте, в башне танка, Николас, сам не замечая, обычно напевал. Сквозь грохот машины он себя и не слышал. Пение под сурдинку стало привычкой. Забывшись, он начинал мурлыкать.

Так и сейчас, задумавшись, он начал напевать без слов, — слов этой песенки он, кстати, и не знал. Пако и Франсуа с удивлением посмотрели на него. Потом Пако весело подхватил, — он был в чудном настроении после того, как русский его поцеловал:

«Мне говорят, что я для любви  
Еще маленькая.  
Зернышко -- перец, а посмотри,  
Как кусается!  
Ай-яй-яй-яй!..»

Он пел так заразительно, что подтянул и Франсуа, отчаянно фальшивя. Хор получился нескладный, а песня — и задорной, и печальной...

## 5

А солнце уходило, и в танке стало так темно, что они видели уже не друг друга, а только смутные тени.

Первым оборвал пение Франсуа.

— Герои запели последнюю песню, — сказал он. — Через час для них наступит испанская ночь.

Николас почувствовал, как сердце замерло и пошло затем неровными ускоряющимися толчками. — Чего я распеваю? Что же делать? Надо сжечь карточку. Нет, успею еще, а то они решат, что конец. Что придумать, чтобы их спасти?

Пако робко коснулся его руки.

— Николас, — сказал он, впервые называя командира только по имени, — ведь это не очень страшно — умирать? Правда?

— Только противно, — сказал без насмешки Франсуа.

— Мы — жить! — сказал Николас уверенно, хотя был почти убежден в обратном.

Они замолчали.

Молчание длилось долго. В щели еще видно было поле и солнце. Перестрелка затихла, чтобы возобновиться, как всегда, уже с наступлением темноты, когда солдаты начинали нервничать. Все трое стояли у шелей. Не говоря ничего друг другу, они прощались с солнцем.

Они не слышали свиста: то ли задумались, то ли звук не проник в танк. Где-то неподалеку разорвался снаряд.

— Это что? — крикнул Франсуа. — Фашисты или наши? Почему?..

Прошло несколько секунд. Теперь они напряженно прислушивались и потому услышали нарастающий свист и за ним — второй разрыв.

— Внимание! — крикнул Николас. — Ясно! — Он торопился, не говорил, а рождал слова, он снова командовал. — Это наши. Стреляют в нас. В танк.

— Зачем? — крикнул Франсуа.

— Они думают, мы уже... — Николас показал жестами: убиты или в плену, — забыв, что товарищи не видят его. — Чтобы танк не достался фашистам, — быстро сказал он по-русски. — Танк — нет фашистам, — перевел он на испанский. — Внимание! Ты (он схватил Пако и поташил к люку) — первый. Беги! Быстро-быстро! Но перебежками! Чёрт, как тебе объяснить? Смотри! — Он схватил ладонь Пако и показал на ней своими пальцами, как надо бежать и падать, бежать в разные стороны и падать.

— К своим? — радостно закричал Пако и полез в люк.

— Да, да!

Раздался третий разрыв. Республиканцы не торопились, в этом было спасение. И стреляли неточно. Пако стоял рядом с танком, но не двигался.

— Сигай! — крикнул Николас отчаянно, переиначивая знакомое ему «сиге» (продолжай, вперед) на русский лад.

Пако кинулся бежать. Он бежал стремглав, напрямик по полю. Фашисты открыли по нему стрельбу, но он не менял направления, не падал на землю. Он забыл или не понял, как Николас показал ему перебежки. Потом он скрылся из глаз Николаса и Франсуа.

— Добежит? — спросил Франсуа. Зубы его от волнения стучали.

— Теперь ты, — сказал Николас. — И перебежками, перебежками! — Он схватил руку Франсуа и поскакал по ней пальцами, как раньше по ладони Пако. — Марш!

— Сперва ты, — сказал Франсуа, так и не уняв стука зубов.

— Марш, я говорю! — крикнул Николас. — Я командир!

Франсуа вылез в люк и, лежа на земле, сказал:

— Давай вместе!

— Сигай! — не своим голосом крикнул Николас.

Франсуа вскочил и помчался по полю. Фашисты обстреляли его. Николас видел, как он упал, но через секунду вскочил и побежал дальше.

— Направление меняй! — закричал Николас, но Франсуа, конечно, услышать его не мог.

Николас скинул комбинезон, собрал несколько тряпок, сложил все в кучу около бака с бензином, достал письмо и фотографию, поцеловал их, зажег спичку, поднес к ней письмо, потом фотографию, сунул горящую бумагу в тряпку — тряпка вспыхнула, огонь лизнул комбинезон. Николас вылез в люк, вскочил на ноги, глубоко вздохнул, пошатнулся, — так свеж был воздух на воле, — оглянулся и побежал. Он услышал выстрелы, упал. Очередь пронеслась над головой. Он выждал минуту, отполз на несколько шагов в сторону, и приподнявшись, но пригибаясь к земле, побежал в другом направлении. Фашисты снова настигли его огнем, он снова упал и, не задерживаясь, отполз в другую сторону. Фашисты продолжали стрелять по тому месту, где он упал. Он вскочил, опять переменил направление, упал, не дожидаясь выстрелов, пополз. Позади раздался взрыв. — Танк! — мелькнуло в голове, но он даже не обрадовался, а помчался по прямой, пока ошеломленные фашисты не спохватились. Пуля задела руку. Упав, он снова отполз в сторону, царапая лицо и руки с

жесткую траву. — Наши давно не стреляют, — подумал он. — Ни артиллерия, ни пехота. Заметили нас. А может быть, Пако уже добежал?

Как раз в эту минуту началась страшная трескотня. Стреляли республиканцы, и стреляли из всех видов оружия. Пушки били по фашистским окопам, трещали пулеметы и винтовки. — Родные! — прошептал Николас, — прижимают фашистов, чтобы они не могли стрелять по нас. Он снова рванулся вперед и побежал зигзагами, не останавливаясь, пока не задохнулся и не закололо в боку. Упав, он подумал: а половину уже наверно отмахал. С танком в порядке, не оставил им. Узнать бы только, что с Пако и Франсуа.

Передохнув, он снова пополз. Руки дрожали, локти и колени болели. Они были стертые в кровь. Кровь сочилась и из руки, задетой пулей. Он полз долго, потом подумал, что республиканцы могут счесть его убитым и перестанут стрелять. Он вскочил и побежал. Он почти не смотрел вперед, только, чтобы не потерять направления, глаза его были прикованы к земле. Снова падая, он вдруг увидел республиканские окопы, полосу дыма над ними. Они были близко, совсем близко.

Он перестал чувствовать боль, забыл о локтях и коленях, полз, полз. Когда он вскочил, окопы были в нескольких десятках шагов. Он увидел головы, высунувшиеся над ними. Республиканцы что-то кричали, он не мог разобрать что, но он слышал голоса, видел взволнованные сияющие лица. Не помня себя, он кинулся бежать напрямик и одним прыжком оказался, наконец, в окопе.

Кто-то обнимал его, кто-то совал ему фляжку с вином, кто-то кричал, кто-то в восторге стрелял в воздух.

Николас ничего не видел, ничего не понимал, он переводил дыхание и не мог отдышаться.

— Где? Где? — повторял он. Он хотел узнать, что с Франсуа и Пако, и вдруг забыл их имена.

Его бережно взяли под руки и повели по окопу, как больного. Стрелки, сидевшие у бойниц, сторонились, но каждый пытался хотя бы дотронуться до него.

В ходе сообщения сидел бледный Франсуа. Санитар перевязывал его. Он был ранен в плечо. Рядом на животе лежал Пако. Ему досталось хуже: две пули попали в спину. Ни тот, ни другой не могли говорить. Но глаза их, несмотря на боль, были выразительнее слов.

Ноги Николаса задрожали, он не мог больше стоять. Он сел прямо на землю, не заметив, как бережно опустили его те, кто вел его, и сказал:

— Черти! Говорил вам русским языком: пе-ре-беж-ками! А вы!..

Он махнул рукой и, все еще не замечая, что говорит по-русски, спросил окружающих его:

— Не опасно их, а? Выживут?

Десятка два голосов с восторгом наперебой ответили ему:

— Ничего, ничего!..

\*\*  
\*

Пако убит в стычке партизан с фалангистами в горах Сиерра де Кредос через пять лет после официального конца испанской войны. Франсуа стал офицером французских сил внутреннего сопротивления. Герой Советского Союза Николай Борщов получил звание полковника под Сталинградом, командуя танковой бригадой.

## Страницы воспоминаний

### 1. Магэ Залка

— Я не писатель, я рассказчик. Я столько видел и передумал, что не могу молчать, а то бы и не писал. Писатели — это другие, это те, кто фантазирует, придумывает, философствует.

О собратях по перу он всегда говорил восторженно. Если же хвалить было не за что, он искал оправданий:

— А ты знаешь, какая у него жизнь?

Или:

— Подумаешь, одна неудачная вещь! Он еще такое напишет!..

Он внимательно прислушивался, когда рассказывали, что кто-то пишет об Испании. Никакой зависти при этом он не испытывал. Напротив, всегда говорил:

— Этот напишет хорошо. Было бы время, я бы послал ему письмо и кое-что рассказал бы. Чтобы помочь товарищу.

— Ты бы поберег это для себя.

— Я писать буду потом, когда все кончится. Забыть я все равно ничего не смогу. А видел и знаю больше всех. И напишу только правду, без всякой выдумки. Во-первых, ничего другого я никогда и не писал. Во-вторых, в Испании пережито столько, что врать нельзя. Написать об Испании по-настоящему, — для этого нужен Лев Толстой.

Его адъютант, юноша с склонностью к литературе, все подглядывал: где же генерал прячет записную книжку? Залка убеждал его:

— Мы с тобой сейчас не писатели, а солдаты. Два оружия сразу. — это значит, что ни одно не стреляет.

В Испанию он приехал под именем Пауля Лукача (Лукач — девичья фамилия его матери), никогда не позволял называть себя Залкой и не проговаривался сам. Но как-то он сказал мимоходом:

— Скоро выходит книга, которая меня очень интересуется.

— Как она называется?

Он помолчал, словно припоминая:

— «Добердо».

— Кто автор?

Он лукаво сощурился.

— Очень близкий мне человек. А фамилию я позабыл.

— Не Залка ли, случайно?

Он расхохотался, но сейчас же серьезно сказал:

— Я теперь не писатель. Пусть пока пишут другие, я воюю. Ты говорил о поляках (в его бригаду входил польский батальон имени Домбровского). Напиши о них для твоей газеты, сделаешь доброе дело. Об итальянцах (другой батальон, имени Гарибальди) писали, о немцах и французах писали, а о поляках — нет. Хочешь, я расскажу тебе о них поподробнее? Людям нужно, чтобы о них писали, рассказывали, вообще — знали.

— Хорошо, только я и о тебе напишу.

Он вскричал с неподдельным ужасом:

— Ни за что! Ни одного слова! Есть бригада, есть батальоны, есть люди, но Лукача нет.

Вместе со своим адъютантом он шел однажды на передовую. За ними следовал испанский батальон, впервые вступавший в бой. На дороге лежала оторванная снарядом голова в каске. Залка быстро наклонился, отнес голову в кусты и сказал адъютанту, как тому показалось, совершенно спокойно:

— Мы с тобой старые вояки, а на новичков это может произвести плохое впечатление.

Даже производство в «старые вояки» не утешило юношу, — так удивило его спокойствие генерала. Но в тот же вечер адъютант зашел к генералу без предупреждения и увидел, что генерал плачет. Залка не стыдился этих слез и сказал, что хорошо знал убитого солдата, но, думая о необстрелянных новичках, «отложил чувства на отдых».

Когда он проходил открытым местом, солдаты под любым предлогом и без предложения шли рядом с ним, чтобы закрыть его собой. В Каса де Кампо к нему как-то подошел боец и грубо сказал:

— Убирайся отсюда!

Генерал прежде всего изумился: в интернациональных бригадах такое обращение с начальниками было не принято. Боец покраснел и застенчиво объяснил:

— Мы не хотим остаться без нашего комбрига.

Писатель Залка любил рассказывать случаи и анекдоты из своей жизни. Генерал Лукач никогда не говорил о том, как любили его те, для кого он был «нашим комбригом».

Когда речь шла о фашистах, даже об их успехах, на губах его появлялась легкая брезгливая усмешка превосходства. С такой усмешкой укротитель смотрит на взбесившихся зверей: он помнит, что сам он и в беде — человек. Он умел ненавидеть, не забывать и не прощать. Но он умел и понимать.

Пленный солдат, неграмотный крестьянин, долго рассказывал о своей жизни, о том, как его всегда обманывали, как он голодал, как его мобилизовали и заставили воевать из-под палки, и вдруг заплакал:

— А теперь вы меня расстреляете...

Изящный, эlegantный генерал (он был большим щеголем) сорвался со своего места, подбежал к пленному и начал целовать его, небритого, грязного, восклицая:

— Как ты мог подумать такое? Рабочий человек! Бедняк! Да ведь мы же воюем ради тебя!..

Не успел он приехать в городок Альбасете, где формировались интернациональные бригады, как его назначили командиром второй из них. На другой же день она уходила на фронт, под Мадрид. Солдаты бригады принадлежали к двадцати национальностям. Они не подозревали, кто такой Лукач, откуда приехал, какой имеет опыт. Орден Красного Знамени, которым Залка был награжден в гражданскую войну, внушил бы им доверие сразу, но он, конечно, остался в Москве. На каком языке заговорить с ними, чтобы никому не было обидно и чтобы контакт установился немедленно? И хотя почти никто из них не понимал русского языка, Залка сказал по-русски:

— Товарищи, сколько бы ни было представлено национальностей среди нас, у нас есть один общий язык: язык Великого Октября.

Друзья знали, что его нельзя не любить, а он обладал великим талантом делать всех своими друзьями. Он любил солдат, потому что любил людей. Кто-то спросил его, откуда у него этот дар — привлекать людские сердца. Он удивился:

— Но я же коммунист. Сердца привлекаю не я, а партия.

Он не любил говорить о себе в единственном числе. «Мы решили», «мы выступили», «мы разбили противника». Казалось, в своей бригаде он готов быть последним, при одном условии: чтобы она была первой. Бригада, как и все интернациональные бригады, была ударной, хотя и не называлась так. Ее все время перебрасывали с одного участка на другой, всегда — трудный. «Прислуга за все», — шутили офицеры. Залка

бушеввал в штабе армии, защищая интересы солдат, и его не останавливали ни расстояние, ни время, ни иерархия службы. Он заслужил себе прозвище «беспокойного генерала». В душе он был этим доволен и даже признавался:

— Ну да, прислуга за все, — на ней-то и держится дом.

С людьми он обращался с удивительной благожелательностью. Ему ничего не стоило раздать все, что у него было. «На, бери, только радуйся». Он был жизнерадостным и веселым человеком и хотел, чтобы все вокруг тоже были веселы. Гости никогда не уезжали от него без подарка. Он не забывал, что один любит американские сигареты, другой курит трубку, третий всему предпочитает коньяк. А сам он не пил и не курил.

Иногда он показывал номер: ударяя двумя пальцами по карандашу, поднесенному к ослепительным зубам, он выстукивал разные мелодии.

Штаб его бригады казался единой семьей. Однако после его смерти у штабных обнаружили расхождения. Не было ни измен, ни даже ссор. Но не стало цемента, который держал людей вместе, семья распалась.

Он безошибочно определял способности и возможности каждого из подчиненных. Ему платили бесконечной любовью и бесконечным доверием. Сколько раз говорилось после его смерти:

— Здесь послушались бы только Лукача!

На гвадалахарский фронт бригада прибыла 10 марта 1937 года и, разворачиваясь, вступила в бой. Замысел врага был еще не известен. Бой продолжался весь день и всю ночь. Ночью итальянский батальон бригады был вынужден отойти. Когда генералу сообщили об этом, он сказал:

— Не верю.

Ответ его был передан гарибальдийцам. Они кинулись в контратаку и взяли сорок пленных. Опросом было установлено, что фашисты бросили в наступление две дивизии и подтягивают две другие. Стало ясно, что предпринимается новое большое наступление на Мадрид.

На утро бригада была атакована силами целой дивизии. Если бы фронт был прорван, фашисты легко прошли бы сорок километров, отделявших их от единственной «дороги жизни» Мадрида — от проселка, который соединял валенсийское и гвадалахарское шоссе. Но к концу дня фашистам удалось захватить только Паласио Ибарра.

Штаб мадридской армии спешно подбрасывал на фронт подкрепления, но на своем участке бригада осталась одна. На следующее утро враг бросил на нее две дивизии. Положение стало угрожающим: резервов не оставалось, материальная часть таяла, грозило полное окружение.

Залка не спал несколько ночей. Но он был свеж, подтянут, чисто выбрит и весел, как всегда. Его спросили, что сделает штаб, если враг окружит бригаду. Он рассмеялся и сказал тоном, каким говорят о прогулке:

— Возьмем винтовки и пойдем в первую линию. Будем пробиваться или умрем. Только и всего.

Бригаду спасла республиканская авиация. Она разгромила обе вражеские дивизии.

13-го потрепанный противник производил вынужденную перегруппировку. Это дало Залке возможность привести в порядок и свою бригаду. Трудно назвать этот день днем отдыха: шел дождь, то и дело переходивший в снег, люди лежали в грязи на открытом поле, под резким ветром. Ежеминутно ожидалось новое наступление врага. Было известно, что Муссолини требует от своих командиров немедленного захвата Мадрида, — на Мадрид на сей раз шли итальянцы, и шли, как на пикник.

День, однако, прошел спокойно. Высшее командование выжидало, пока инициативу проявит неприятель. Но Залка воспитывался в иной военной школе, нежели испанские генштабисты. Его мысль неутомимо работала над тем, где и как самому поразить врага, и если не отнять у него инициативу, то хотя бы перебить ее. Возможность самостоятельных решений была очень ограниченной, но Залка нашел такую операцию, которая стала ключом будущей победы.

Он решил, пользуясь затишьем, вернуть Паласио Ибарра, замок, окруженный лесом и кустарником, господствующий над целым районом.

Враг не ожидал контратаки: он полагал, что республиканцы умеют только отступать или, в лучшем случае, обороняться. Он оставил в замке сравнительно небольшой гарнизон. 14-го два батальона бригады были брошены в тщательно обдуманную и подготовленную атаку. Едва ли не впервые при этом полностью осуществилось взаимодействие танков и пехоты. Итальянский и французский батальоны ворвались в замок. Гарнизон, несмотря на яростное сопротивление офицеров, был захвачен в плен. Продвинулись вперед в указанном направлении и два других батальона.

Небольшая операция местного значения нарушила планы противника. Ему пришлось бросить в бой резервы, готовившиеся для нового наступления. Бригада в течение трех дней продвигалась вперед. Благодаря этому, наступление противника прекратилось по всему фронту. Тогда, 18-го, республиканское командование в свою очередь предприняло большую и широкую операцию. Бригада двигалась в направлении главного удара — вдоль арагонского шоссе (продолжение гвадалахарского). По обе стороны лежали открытые поля. Мерзлая земля не поддавалась лопатам. Наскоро отрытые окопы едва прикрывали лежащих. У фашистов было огромное численное и материальное преимущество. Тем не менее, республиканское наступление превратилось в исторический разгром фашистов.

На плечах неприятеля, одновременно с бойцами Листера, бригада ворвалась в деревню Бриуэга. На ее улицах интернационалисты, плача от радости, обнимались с испанцами. Залка требовал перевозочных средств: врага нужно было и можно было гнать дальше. Ни грузовиков, ни резервов не оказалось... Штаб армии даже не понимал размеров собственной победы.

Через несколько дней по просьбе одного журналиста Залка начертил план сражения. Кто-то заметил, что победа у Паласио Ибарра была поворотным пунктом всей операции. Залка с живостью подхватил:

— Да, да! И не забудьте: Паласио брали итальянцы и французы вместе!

— А у кого родилась идея?

Он быстро ответил:

— У штаба бригады...

Интернациональные бригады несли немалые потери, а добровольцам пробираться в Испанию становилось все труднее. Было решено влить в бригады испанское пополнение. Кстати, вся армия унифицировалась, чтобы стать действительно регулярной и народной. Испанцы шли в интернациональные бригады и с радостью и со страхом: они считали за честь сражаться в рядах «добровольцев свободы», но боялись взаимного непонимания.

— Какая удивительная вещь, — сказал в Каса де-Кампо майор Пардо, первый командир испанского батальона бригады. — Я никогда не любил Испанию так, как в нашей бригаде.

— Я тоже никогда так не любил Венгрию, — ответил Залка. — А скажи, все твои солдаты, когда говорят о бригаде, прибавляют «наша»?

— Да.

— А про нас, не-испанцев, говорят когда-нибудь «они»?

— Нет. Раньше говорили, но после первого боя перестали.

— А как ты думаешь, ты один любишь теперь Испанию больше, чем раньше?

— Мне кажется, все так.

— Только твои солдаты или весь народ?

— Весь народ.

— Почему?

— Я думаю, потому, что Испания в первый раз стала нашей, и ее хотят у нас отнять.

Майор отошел, а Залка с сияющим лицом повернулся к присутствовавшим:

— Я не знаю, когда мы победим, но я знаю, чем мы победим: вот этим. «В первый раз стала нашей, и ее хотят у нас отнять». А ведь он не писатель, он — просто испанец.

И рассмеялся:

— Адъютант, запиши, дарю!

Труднее всего было с крестьянами. Отсталые\* (даже среди новобранцев было свыше трети неграмотных), они не понимали, ради какой ко-рысти иностранцы участвуют в борьбе испанского народа. Залка не уставал повторять подчиненным:

— Даже если вы имеете дело с врагом, но с несознательным, с врагом от темноты, помните, что это — представитель народа, и, значит, вы здесь и ради него. Ваше дело — завоевать его для Республики, присоединить к народу.

Стоило интернационалистам пробыть неделю хотя бы и во враждебной деревне, чтобы крестьяне провожали их, как друзей: эти «иностранцы» принимали участие в полевых работах, на свои средства и из своих рационов делали подарки детям, устраивали концерты и лекции.

— Мы в долгу у Испании, — говорил Залка, — а не она у нас. Мы — антифашисты, а она первая восстала против фашизма, да еще дала нам возможность участвовать в ее борьбе.

Он любил, когда крестьяне провожали его взглядом и шептались: «генерал»... Он подходил к ним, жал руки, хлопал по плечам:

— Да, генерал. Но — ваш генерал, понимаете?

— Признайся — пошутил однажды кто-то из его друзей, — любишь ты свое генеральство?

— А как же, — ответил он. — Как будто ты мне не завидуешь! Но... генералом я могу быть, а могу и не быть. А вот есть одно звание, в котором я останусь на всю жизнь и в котором умру.

— Писатель?

— Нет.

— Антифашист?

— Само собой. Но это только часть.

— Какое же?

— Сталинский ученик.

В апреле, в один из самых счастливых испанских дней, когда бригада стояла на полуотдыхе под Саседоном, офицеры штаба и гости из Мадрида отправились на прогулку. В лесу купили барашка у старого пастуха. Старик помогал жарить мясо на углях и прислушивался к непонятной для него речи. Его угостили и мясом и вином. Он услышал, как несколько раз были произнесены слова «полковник» и «генеральный штаб». —

эти слова все говорили по-испански. Пастух робко спросил одного из штатских:

— Кажется, среди вас есть полковник генерального штаба. Покажи мне его. Я никогда не видал полковника вблизи.

— Среди нас есть даже генерал.

Пастух пристально посмотрел на собеседника и махнул рукой:

— Человек, ты выпил и смеешься надо мной!

— И не какой-нибудь генерал, а генерал Лукач.

Залка протянул старику руку и сказал, смеясь:

— Да, да, это я — Лукач.

Пастух растерянно оглядел всех, не выпуская руки генерала. Потом он сразу поверил Залке и, крепко пожимая его руку, сказал:

— Я слышал про тебя. Ты хороший генерал. Спасибо тебе за Гвадалахару.

В начале июня бригада была переброшена на Арагонский фронт. Предполагалось взять, наконец, Уэску — городок, в котором фашисты с начала войны находились почти в окружении. Залка объезжал фронт на машине. Уэска лежит в долине, вокруг — горы. Из осторожности следовало ехать поверху, но Залка хотел увидеть город и вражеские укрепления. Никто не знал, что фашисты поставили перед нижней дорогой скорострельную батарею. Зато фашисты через своих агентов хорошо знали, кто прибыл под Уэску. Огромный осколок немецкого снаряда, выпущенного немецким орудием, посланного руками немецких артиллеристов, попал Залке в голову.

Высокий погребальный автомобиль медленно двигался по темным, неосвещенным улицам Валенсии. Прохожих было мало. За гробом шло человек двадцать: делегация бригады и несколько друзей. Ближайшие соратники покойного в делегацию не вошли: бригада сражалась. Гроб был установлен в зале провинциального комитета коммунистической партии. На лице под стеклом впервые не было улыбки. Тихо плакали испанские женщины...

На другой день за гробом шли министры, генералы, солдаты и народ. Остановилось все движение, во всех окнах виднелись люди, на тротуарах стояли толпы. На огромной площади перед вокзалом были произнесены прощальные речи. Потом гроб повезли на окраину, на кладбище и там замуровали в стене.

## 2. Последнее заседание кортесов

Заседание было назначено на 10 часов вечера. Журналисты ждали весь день: им из предосторожности не сообщили, когда начало. В огромном замке Фигераса были погашены все огни: на тот случай, если бы фашисты оказались осведомленнее журналистов.

У самого дальнего корпуса перед дверью стоял часовой в длинных белых перчатках с раструбами, в форме президентской гвардии. Узнавая министров и офицеров, он брал винтовку на караул.

Длинная узкая каменная лестница, тускло освещенная слабой лампочкой, вела в подвал. Ступеньки были покрыты ковровой дорожкой. Но ее не хватало, первые и последние ступеньки были оголены и грязны.

Подвал походил на катакомбы. Там тоже было полутемно. Колонны делили помещение пополам. Первая половина была пуста. Во второй стояли ряды стульев, небольшой стол для президиума, длинный стол под сукном для правительства. Здесь люди теснились, и некоторым пришлось простоять все заседание. Из-за столбов и арок нельзя было расставить мебель иначе.

За столом правительства сидели министры в полном составе. С краю Негрин, рядом с ним Альварес дель Вайо, затем Урибе. Один из министров просидел все заседание, закрыв лицо руками. Некоторые были небриты, все смертельно устали. Негрин сильно горбился.

Депутатов оказалось шестьдесят четыре. Коммунистов было особенно мало, но они не нуждались в оправданиях: все отсутствовавшие коммунисты находились либо на фронте, либо в центральной зоне, в Мадриде, ни один из них не отсиживался за границей.

Кроме депутатов и министров в зале присутствовали несколько высших офицеров и чиновников, десятков иностранных и десятков испанских журналистов и караульные.

Заседание открылось с большим опозданием. Председатель Мартинес дель Баррио сказал обычным голосом:

— Пусть никого не удивит, что Кортесы собрались в Фигерасе, в этом замке. Пока свободная Испания владеет хотя бы одной скалой, обрывающейся в море, — и на скале соберутся Кортесы.

Затем слово было предоставлено Негрину.

Перед ним лежала бумажка. Он начал читать ее глухим слабым голосом. Он стоял, сгорбившись, и ни на кого не смотрел. В середине чтения он отшвырнул бумажку, и она медленно упала на пол. Отшвырнул с презрением и нетерпением, вышел из-за стола — шага на два, больше некуда было, отделившись от остальных министров. Глаза его были опущены, он их так ни разу и не поднял. Он стал говорить медленнее, раздельнее — не громче, но явственнее. Он старался сделать свой голос бесстрастным. Это ему почти удавалось. Сперва он говорил о том же, о чем говорили и прежде. Это не конец. Есть еще Мадрид. Есть армия. Армия героична. Правительство продолжает борьбу. У врага вооружение. Нужны сверхчеловеческие усилия.

Затем, говоря о том, как державы, создавшие комитет по невмешательству, душали Испанию, он сказал:

— Законное правительство Республики было поставлено в положение пиратов, которым приходится доставать оружие тайком, доставать его где только можно, переплачивать, везти контрабандой. Сегодня я не вижу больше оснований, сеньоры депутаты, по которым я должен был бы умолчать перед вами, что правительство так и поступало. Да, мы были контрабандистами, да, мы нарушали международные правила, придуманные против нас и скрывавшие нас по рукам и ногам, на радость фашистам, да, мы приобретали оружие, где только могли.

Он заговорил об истории и философии истории:

— Народам, как и отдельным людям, нужны испытания. Одни удачи расслабляют. Дух народа в несчастье иногда просыпается и горит ярче, чем в счастье. Народ переживает не только победы, но и поражения. Не он виноват в том, что его несчастье длится веками. С нами тоже случилось несчастье. Все равно, будут ли винить нас или оправдают, история не вычеркнет нас, народ нас не забудет. У счастливых и у несчастных разная судьба, но она для каждого своя. Народ не умирает, только путь его к прогрессу бывает порой слишком длинным, слишком трудным. Это наш путь.

Слово «победа» он произнес только раз — последним:

— Когда испанский народ, великолепный и героический, создавший изумительную армию, которая отступает только потому, что у нее нет оружия, когда наш народ осознает свой путь — тогда и придет победа.

(Никто не стенографировал заседания. Не знаю, сохранился ли протокол его, и цитирую по своим заметкам).

Один из депутатов от имени всех представленных на заседании фракций предложил обратиться с воззванием к армии и народу. Депутат говорил о высокой чести, выпавшей ему на долю, о священных традициях демократии. С искренним волнением заявил он, что каждый солдат заслужил вечную благодарность родины, что Кортесы должны низко поклониться перед небывалым героизмом первой испанской народной армии. Потом он прочел воззвание. Многие плакали.

Председатель сказал:

— Голосую предложение принять воззвание. Для упрощения процедуры, а также для того, чтобы секретарь мог проверить список присутствующих депутатов, предлагаю следующий порядок: каждый депутат сам называет свое имя и прибавляет к нему только одно слово — да или нет.

Первым встал председатель совета министров:

— Негрин. Да.

Вторым был министр иностранных дел:

— Альварес дель Вайо. Да.

Третьим — министр земледелия:

— Урибе. Да.

И так шестьдесят четыре человека, шестьдесят четыре имени, шестьдесят четыре «да».

По окончании голосования председатель все так же спокойно произнес традиционную формулу:

— Объявляю заседание закрытым. О дне следующего заседания сеньяорам депутатам будет сообщено своевременно.

Было 1 февраля 1939 года. Кортесы заседали в двадцати пяти километрах от французской границы и в стольких же примерно от фронта. Фронта, собственно говоря, уже не было. На окрестных горах горели огни беженцев, по всем дорогам днем и ночью шли люди, а в Фигерасе беженцы спали на площади под открытым небом и в окопах, наскоро вырытых у заставы для спасения от вражеских бомб.

Во втором часу ночи все разошлись. Я дописывал отчет о заседании. Пришли сменившиеся караульные с усталыми лицами. Я мешал им лечь спать. В ответ на мои извинения молодой солдат с испанским уважением к чужой работе, с неистребимой испанской верой в человеческое слово сказал:

— Ничего, мы подождем. Пиши, товарищ, это важнее, чтобы мир всё узнал...

### 3. Французская граница

До французской границы — несколько километров. На горах вдоль дорог горят по ночам костры. У костров плачут дети и сушатся пеленки. Горят семейные кровати, картины и валежник. В черное небо задраны оглобли допотопной повозки, а рядом издыхает обессиленный мул. В рощице — автомобильный парк: владельцы и шоферы ушли, так как бензина нет. В брошенных машинах ночуют беженцы.

Низко идет самолет, и вся гора перекликается, а с дороги люди бегут наверх, крича:

— Гасите огни! Гасите огни!

Самолет приближается. Все врассыпную бросаются в поле, в каналы, под машины. Только глубокий старик спокойно стоит посередине шоссе и даже не смотрит на самолет.

— Почему вы уходите от фашистов, если не боитесь их бомб?

Подслеповатый взгляд туманных выцветших глаз и равнодушный небрежный ответ:

— Лучше умереть от бомбы, чем от палки.

Осел или мул тащит двухколесную повозку. На ней чемоданы, сундуки, тюфяки, одеяла, зеркало, клетка с птицей. Все завязано наскоро, расплзается, падает. Осла ведет отец. Мальчик, еле поспевая, бежит рядом. В руках у него самодельный лук. За повозкой идут женщины, как провожающие за гробом. Они на ходу кормят грудных детей. Сзади ковыляют старики и тоже тащат узлы. Старики отдыхают чаще всех. Иногда их поджидают, иногда повозка уходит вперед.

Большинство идет без повозок, неся вещи на плече или на голове. Интеллигент тащит связку книг. Рубашка на нем вся в дырах, и другой поклажи у него нет.

Автомобили мчат к границе прадедовские перины. У границы стоит очередь в несколько тысяч человек. Французы пропускают поодиночке.

У границы стоит батарея со всеми орудиями, с большим запасом снарядов. Солдаты объясняют:

— Мы решили: будет фронт — вернемся. Нет — перейдем во Францию. Пусть лучше орудия достанутся французам, чем фашистам.

В море стоят фашистские суда. Они бомбардируют берег. Фашистские самолеты бомбят и расстреливают дороги и города. У въезда в Херону — гигантская пробка. Очередь у бензинной колонки на 12—14 часов. Фашисты бомбят именно въезд в город.

В Фигерасе они бомбят площадь. Она превратилась в огромную ночлежку, а днем по ней невозможно пройти. За городской чертой, в поле, вырыты узкие окопы. По тревоге тысячи людей днем и ночью устремляются туда.

Внезапно на площадь выходят человек сорок солдат с офицером и трубачом. Они продельвают несколько строевых эволюций среди толпы, среди бесконечного потока машин. Труба звучит, как сирена гибнущего корабля. В толпе кричат: «Да здравствует армия народа! Да здравствует Испания!»

Это последний резерв республиканской армии.

Когда жители Кастельона покидали город перед приходом фашистов, они писали на стенах своих домов: «Мы не хотим жить с фашизмом». Но тогда уходили в Валенсию или в Барселону. Теперь уходят в изгнание. И все-таки на всех дорогах, по всем горам, через все долины люди идут, идут, идут...

На границе перед Андрэ Марти (он ранен, у него повязка на голове) проходят последние бойцы интернациональных бригад. Это те, кого не хотела принимать ни одна страна. Комитет по невмешательству добился вывода интернационалистов из республиканской Испании и оставил немцев и итальянцев у Франко. Но небольшой части интернационалистов некуда было уехать. Полгода их мучило сознание того, что они, не воюя, отягощают республиканский бюджет. 23 января, за три дня до падения Барселоны, к ним снова обратились. Снова вызывали добровольцев, снова все они как один пошли в бой, в безнадежный и неравный бой, чтобы задержать врага и дать беженцам возможность перейти границу.

Это их последний парад. Из боя — не домой и не в плен, а в лагерь. Они проходят церемониальным маршем, стройными рядами, с развернутыми знаменами. При этом присутствует комиссия Лиги Наций — та, что должна была проверить их вывод из Испании — во главе с английским генералом Мольвертсом. Солдаты проходят, знаменосцы поворачиваются и отдают знамена Марти. Военные из комиссии молча, как на похоронах, прикладывают руки к козырькам и невольно принимают почтительную позу.

Негрин останавливается в Пертюсе, еще на испанской, вернее — на ничьей земле: половина улицы — испанская, половина — французская. Он стоит у окна и смотрит, как по мосту проходят последние беженцы, как проходят солдаты и покорно сдают французским жандармам оружие, которое Республика добывала с таким трудом.

И вот на мосту — фашисты. Навстречу им идет французский пограничный офицер, пожимает руку фашистского офицера и приносит ему поздравления. Это видят беженцы и республиканские солдаты, которых гонят в лагеря.

Через Порт-Бю-Сербер по туннелю еще идут солдаты армии Модесто. Модесто пропускает их перед собой. Фашисты задержались, они идут извилистым берегом. Прошли солдаты, прошли офицеры. Модесто отсылает адъютанта и остается один. Он долго смотрит назад. Кругом никого: республиканцев уже нет, фашистов еще нет. Модесто оборачивается, делает несколько шагов, отдает револьвер французскому жандарму...

#### 4. Только не Франко!..

Шофера Пепе я не могу назвать иначе, как дорогим другом. Все почему-то звали его Пепе, хотя это уменьшительное имя от Хосе, а его крестили Даниэлем. Он так привык к Пепе, что не отозвался, когда на призывном участке его вызвали как Даниэля.

Это был тихий, скромный человек. Он никогда не отказывался ни от какой работы и с глубоким уважением относился к работе другого. Любый час, любое направление, любое расстояние — он спокойно шел к машине по первому слову. Если он о чем-нибудь беспокоился, то только о машине.

Мадридец, он вывез в Барселону семью: мать, жену, невестку и двоих детей. Все они жестоко голодали. Он никогда не жаловался. Когда я спрашивал, что заказать во Франции, он виновато улыбался: его мучили головные боли, помогал ему только аспирин, аспирина нигде не было, но о себе он не думал и тихо говорил:

— Если можно... муки для детей...

Когда же мы поехали однажды во Францию и я предложил ему купить самому все, что он захочет, он по возвращении вернул мне половину денег:

— Это слишком много для меня...

Семья его перешла границу на несколько дней раньше, чем он сам, и пропала. Полиция арестовывала испанцев. Пепе скрывался, надеясь получить сведения о семье. Французы отбирали испанские машины, и другие шоферы продавали их поэтому тайком за гроши. Пепе ужасался:

— Но ведь машина не моя... государственная...

В конце концов, машину у него отобрали, а его самого посадили в лагерь. Там, для очистки совести, он справился, нет ли писем на его имя, и неожиданно получил письмо от жены. Жена написала во все лагеря. Письмо было очень старое. Пепе испугался, как бы жена не подумала, что он остался в Испании, и, поддавшись на уговоры французской полиции и фашистских агентов, не подписала бы заявления о желании вернуться на родину. Он решил дать жене телеграмму. Денег у него не было, и он продал жандармам пальто. А в лагере был ледяной холод, и заключенные спали на земле, зарываясь в песок.

Через несколько дней он получил длинное письмо от жены. При переходе границы, под дождем и резким ветром, любимец отца и всей семьи четырехлетний Пепито простудился. Потом ночевали под откры-

тым небом, и у Пепито начался сильный жар. Потом всех отправили на север, в Эльзас, в горы. Там лежал снег. У Пепито оказалось воспаление легких. Все, что было на матери, бабушке, тетке и старшей дочери, было продано, чтобы поддержать угасавшую жизнь. Но Пепито умер.

Сообщая мне об этом, Пепе писал:

«Я попрежнему разлучен с семьей, но по крайней мере знаю, где они, и уверен, что они не поедут к Франко. Здесь нас почти не кормят. Очень холодно. Вы знаете, как я любил моего маленького Пепито. Это был чудесный ребенок. Теперь он умер. Французы обращаются с нами плохо, но я не считаю, что они виноваты в смерти Пепито. Нет, его убил Франко. Если бы мне пришлось выбирать: пережить все снова или поехать к Франко — я бы, не задумываясь, выбрал любые муки. Только не Франко! Все лучше, чем Франко».



---

---

# С ПАРТИЗАНАМИ ГАЛИСИИ

СЕРЖ ГРУССАР

★

1

**М**не сказали: «Вы встретитесь с командиром герильерос Галисии, Астурии и Леона<sup>1</sup>. Его имя уже легендарно в Испании: его зовут Марселино Фернандес, по прозвищу Гафас. Он примет вас во главе подразделения, которым он лично командует».

Я встретил человека, загнанного как зверь, забившегося вместе с четырнадцатью товарищами в глубину пещеры, вырытой в камне. Это было в северной части безводного плоскогорья Луго, в Галисии. Занималась заря. В ожидании меня никто из них не спал. И хотя трое стояли на часах снаружи, я догадывался об их беспокойстве при малейшем шорохе терновника.

Как только мы вступили на каменное плато, на западной окраине которого они обосновались на несколько дней, часовые взяли моего проводника и меня под прицел, хотя они были предупреждены о нашем визите. Последовало долгое ожидание, в течение которого два ручных пулемета были направлены на наши груди. И наконец мы смогли направиться к человеку, которого я страстно хотел узнать.

Когда я думаю о них, я еще чувствую, как дождь падает мне на голову, такой частый и непрерывный, словно бы он собирался затопить этот уголок земли, еще более печальный, чем Эскуриал<sup>2</sup>. Я снова вижу парня, сложенного как бык, с тяжелой головой и замкнутым выражением лица, который не спеша подходит к нам и коротко бросает «Adelante!» (Вперед!). Мы следуем за ним. Если бы мы не проходили сейчас здесь, никто в мире не мог бы обнаружить присутствие человека на этом голлом пространстве. Часовые наблюдают за местностью, лежа на животе, недвижимые. Короткая трава, камни, там и сям терновник, а в глубине возникают скалы, и это всё.

Нас ведут к скале с округлой вершиной; у ее подножья вырыто полукруглое отверстие. Спустившись на две каменных ступеньки, мы оказываемся в помещении, похожем на подвал, плохо освещенном коптящей сальной свечой, прикрепленной к кремневому выступу. Внутри пахнет человеком, прогорклым маслом, холодными окурками. Земля покрыта соломой, герильерос лежат на ней. Увидев меня, никто не сказал ни слова. Я долго буду помнить это тяжелое молчание.

Тот, кто встал мне навстречу, был внушительного роста и внушительного сложения. Очки в черепаховой оправе, левое стекло закрашено черным. «Он всегда носит один и тот же костюм из коричневого бархата в полоску...» Да, он был в этом костюме; поверх куртки широкий пояс с

<sup>1</sup> Провинции Испании.

<sup>2</sup> Дворец Филиппа II, где находятся гробницы испанских королей.

патронташами и револьверной кобурой. Он протянул мне руку, не называясь, потому что он уже понял, что я его узнал. Это был Гафас.

До той ночи (она была уже на исходе), когда молодой рабочий в синем комбинезоне и в полотняных туфлях на веревочной подошве прибежал, задыхаясь, чтобы предупредить нас, что африканские войска начинают грандиозную облаву по всей провинции и что одна из их колонн уже всего лишь в нескольких сотнях метров отсюда, партизанский командир и я часто разговаривали друг с другом. Но как бы значительны ни были слова, они куда менее важны, чем то, о чем нет нужды говорить. Ожидание, всегда обнаженные нервы, засады, гражданские гвардейцы, верхом проезжающие по долине, пустеющий мешок с горохом, холод ветра днем и холод воздуха ночью... Эта жизнь изгнанников в горах должна быть порой страшна, в особенности зимой, когда снег глубоок, за провиантом надо идти десятки километров, а патрули гражданской гвардии, которым тепло в их специальной одежде, заставляют вас поспешно удирать...

— Гафас, — сказал я, — твои люди в конце концов отчаиваются при такой жизни, не правда ли?

Маркес, бывший студент-фармаколог, присоединившийся к партизанам три года тому назад, потому что франкисты расстреляли его брата, решил заметить:

— Знаешь, не обманись внешним видом: мы не печальны... В нас арабская кровь, и большинство привыкает к опасной кочевой жизни...

Гафас рассердился. Ах, эти интеллигенты! Своими глупыми наблюдениями и оттенками студент может обмануть меня в значении этой драмы.

— У меня была жена и двое детей, — крикнул он. — Моя жена — в рабочем лагере. Мои дети воспитываются в доме испанской фаланги, где на всех стенах портреты Франко и распятия; из них пытаются сделать примерных фашистов, и ты смеешь сказать, что я привыкаю? Я не знаю, течет ли в моих жилах арабская кровь или кровь индейца, но я не видал своих детей одиннадцать лет и с меня этого хватит!

В другой раз мы обсуждали условия их борьбы.

— Ты спрашиваешь, существует ли генеральный штаб, который руководит герильерос всей Испании, — сказал он с горькой улыбкой. — Ты смеешься...

Он свернул самокрутку. («На прошлой неделе, — рассказал мне маленький Хулио, — мы нанесли визит табачному складу гражданской гвардии в Фонсаграда. Это была удачная идея: нам уже четыре дня нечего было курить»). Он прикурил от свечи и продолжал:

— Слушай, я команду герильерос трех провинций. Хорошо. Мы разделены на маленькие изолированные группы по 10—15 человек в каждой. Мы живем в горах, в чаще, там, куда трудно проникнуть. Мы всегда в движении. Нас преследуют злее, чем кабанов и волков, которых здесь очень много. Есть группы, о которых я не получаю никаких вестей неделями. В таких условиях, сам понимаешь, мне довольно трудно добираться до всех моих людей... А генеральному штабу всей Испании?..

В последний вечер в пещере мы ждали Риоса, помощника командира. Он ушел накануне с четырьмя другими на поиски лекарств и денег. Он опаздывал. Мы волновались. Наконец мы услышали шум шагов, шёпот часовых, и Риос вошел в пещеру. На его обветренном лице с морщинами усталости было такое трагическое выражение, что мы сразу всё поняли. Вслед за ним вошли трое его товарищей. Мы с минуту смотрели на наружное отверстие. Никого. Четвертый, Мигель Баса, не пришел.

— Мигель? — просто спросил Гафас.

Риос стиснул зубы. Трое остальных, не говоря ни слова, легли на солому. Минута молчания. Командир не повторяет вопроса. Он знает, что ему ответят. Знает.

— Это случилось в Бегонте,—сказал наконец глухим голосом Риос.— Гражданские гвардейцы, конечно... Их было восемь. Они потребовали наши документы. Мы подошли, потому что у нас было все, что требуется. Но я понял, что дело плохо, когда сержант велел остальным взять на изготовку, а сам полез в свой список. Я дал знак бежать. По обе стороны дороги—сплошные дома. Пришлось пробежать метров тридцать по открытому месту, пока добежали до перекрестка и достали револьверы. У них было время выстрелить первыми. Мигель был ранен в ногу. Он упал на спину. Он поднял руки и разжал ладони. Они подбежали к нему и все восемь вогнали ему по пуле в голову. Мы тоже выстрелили. Один из мерзавцев упал. Но я счел более благоразумным не вступать в бой — в деревне слишком много войск.

— Ты принес деньги? — прервал его Гафас.

Я полагал, что в эту ночь он не станет разговаривать со мной. Он сменил одного из часовых и с ручным пулеметом подмышкой шагал, как хищник, кружащийся по своей клетке. Я долго следил за ним глазами. Он ходил быстро, не чувствуя ледяного ветра, лихорадка была в его сердце. Он вернулся незадолго до зари. Многие не спали. Мигель был хорошим товарищем. Он сражался в маки, в От-Савуа<sup>1</sup>, в течение двух лет, а десять месяцев тому назад перешел границу.

Гафас подошел ко мне. Я дремал, закутавшись в военную шинель. Мне было холодно.

— Расскажи им, во Франции! — прошептал он тоном более резким, чем иной крик.

Я открыл глаза. Он присел справа от меня.

— Это гнусно, — сказал он еще тише.

— Я знаю, Гафас.

Он положил руку на мое плечо. Он сжал его до боли.

— Ты видишь... — сказал он. — Моторизованные пулеметы, которые кольцом сжимают нас, идут на бензине, который продает правительство лейбориста Бевина, а моторы — из Детройта... Негодяи, которые нас истребляют, оплачиваются в счет стерлингов и долларов и жрут консервы из Чикаго... Конечно, мы, антифранкисты, не продавали бы аэродромы и свинцовые копи англо-саксам. Мы, конечно, не стали бы их поддерживать против русских. Ну вот, в результате мы им мешаем. А чтобы сделать вид, будто нам помогают, нам сбрасывают листовки, осуждающие диктатуру!.. Пусть они вытирают этими листовками свою...

Он почти кричит. Он внезапно встал. В колеблющемся свете свечи — ее никогда не гасят — Гафас показался мне вдруг страшным: он высоко стоял над лежавшими товарищами, черное стекло на одном глазу, сложение Геркулеса и чеканный голос. Помолчав, он закричал:

— Мы первые в мире боролись против фашизма, и мы последние в мире живем под тиранией гитлеровского сообщника! Союзники помогают этому сообщнику! Союзники предали своих мертвецов 39—45 годов!

## 2

Он задыхался. Проснувшиеся товарищи напряженно слушали. Он снова сел. Усталым жестом он провел рукой по своим черным волосам. Он растянулся на соломе.

— Ты им скажешь! — пробормотал он еще раз.

— Я им сказал, Гафас...

<sup>1</sup> Маки — партизанский район во Франции. От-Савуа — департамент Франции.

С оружием на плечах, с мешками и узлами на согнутых спинах четырнадцать человек в резиновых плащах идут на юго-восток по горам Галисии. Я иду с ними. Ночь. Холодно. Мы идем уже двадцать часов без остановки, и однако Гафас и его герильерос все углубляются в Сиерра дель Фаро, и никто не просит передышки.

Они шатаются. У них нет сил поднимать ноги, и они натываются на большие камни, валяющиеся на узкой дороге. Но они идут вперед. Я никогда так не чувствовал, до какой степени человек может побеждать усталость, когда он знает, что если будет пойман — это верная смерть.

— Понимаешь, — сказал мне только что командир, — франкисты организуют грандиозную облаву по всей провинции Луго, и значит надо уйти из Луго во что бы то ни стало, потому что они все перероют, и их много. Нас предупредили как раз во-время. На час позже — и они захватили бы нас в пещере...

Мы круто поднимаемся в гору, по предательской головокружительной дороге. Она извивается среди больших прямых буков и белесых или черных искривленных берез. За любым из этих деревьев может подстеречь нас враг, чтобы уложить на ходу. Точно так же три недели тому назад они уничтожили Альфонсо Баса и десятерых его товарищей, которые спокойно шли вперед на заре, разговаривая друг с другом. Внезапно затакали два пулемета, и все было кончено: одиннадцать трупов лежали на сланцевой почве плоскогорья Луго. На другой день местные газеты сообщили, что «бандиты, застигнутые врасплох гражданскими гвардейцами, в ту минуту, когда они грабили деревню», потеряли убитыми в бою одиннадцать человек. А еще через две недели лейтенант Луис Фигера, командир патруля, одержавшего эту победу, получил орден в награду...

Война без пощады...

Я иду с пустыми руками без всякого груза, и мне стыдно. Сколько я ни умолял Гафаса позволить мне нести что-нибудь, ничего не вышло.

— У каждого своя профессия, — говорит он.

Я вздрагиваю: неужели, не замечая этого, я шепотом произнес вслух эти слова? Мне кажется, что чей-то голос раздался в усталом молчании беглецов. Да, он раздается снова: это Хулио брюзжит под нос. Я гляжу на паренька, словно сломанного пополам тяжестью мешка и винтовки, — он идет кое-как, и это стоит ему невероятных усилий. Я прислушиваюсь:

— По-моему, Гафас зря не повернул на север. По-моему, мы попадем в лапы мавров...

«Мавры» — испанцы называют так марокканских солдат; Хулио намекает на два батальона, явившиеся из Андалузии, чтобы лишний раз попытаться уничтожить партизан Галисии. Такие попытки часты. На сей раз, однако, мадридские власти прибегли к средствам особой мощности: африканским частям приданы четыре грузовика с пулеметами, группа мотоциклистов, два взвода велосипедистов, а главное — собаки, прекрасно выдрессированные для охоты на человека... Я видел в Монфорте, как солдаты прогуливали этих зверей... Огромные псы, на высоких лапах, с телом из одних мускулов, с коротко остриженной рыжей или серой шерстью, с большими мордами, напомнили мне недавнее... Такие же звери в лагерях готовы были каждую минуту вонзить клыки в наши ноги по первому знаку любого эсэсовца, которому нехватало развлечений...

— По-моему надо было идти к северу, — разговаривает сам с собою несчастный Хулио. Но пойдём ли мы вдруг на север или просто к чёрту, он все равно скоро не в силах будет сделать еще хоть шаг.

— А по-моему ты... Молчи! — приказывает Гафас, чей голос возникает вдруг впереди колонны. Чувствуется, что единственный глаз командира на секунду загорелся гневом. Хулио еще больше сгибается и уже не произносит ни звука. Но вот он скользит, падает и поднимается только с моей помощью. Я понимаю, что силы его истощены. Я отбираю у него мешок.

— Отдай мне его перед остановкой, — вот все, что он говорит и, как в бреду, снова передвигает свои короткие дрожащие ноги.

Подумать, что для некоторых (для Гафаса, Гарсона, например) такое существование длится около десяти лет, с того момента, когда астурийские республиканцы вынуждены были прекратить битву... Десять лет! У франкистской полиции есть фишка и фотография каждого из этих людей: одни из них тайно перешли в Испанию в Пиренеях, другие однажды исчезли из своего дома, и кто-то попавший в плен, под пытками, прежде чем быть повешенным, выдал, что они ушли к партизанам...

У них два выхода: бороться, как они борются, или умереть. Несколько дней тому назад Риос, помощник Гафаса, повторил мне это. Мы сидели под черным низкорослым тополем — такие там зовутся «чопос». Сильная гроза разразилась над холмом и так же внезапно прекратилась. Перед нами маленький щуплый Хулио с винтовкой за плечом — он был часовым — ходил взад и вперед. Как и все герильерос, кроме Гафаса, эти двое одеты в блузы цвета хаки — это была во время испанской войны наиболее распространенная форма республиканцев. Справа время от времени мы видели другого часового: с большим трудом в надвигавшихся сумерках этот часовой наблюдал за тропинкой, извивавшейся среди дубков, буков, елей и елей и спускавшейся к тесно сжатому берегамы ложу реки Тамога.

— Но у вас есть еще один выход, — сказал я Риосу, — уехать за границу...

— Jamas! Никогда! Пока мы физически еще пригодны для этой жизни! Надо остаться на месте, потому что надо, чтобы в Испании были герильерос! Мы представляем... ты не знаешь, что мы собой представляем для наших соотечественников... В их глазах мы — последнее убежище... утверждение надежды...

Он говорил торопливо, хмуря низкий выпуклый лоб в веснушках. Риос когда-то был кузнецом. Он был арестован в 1941 году, при обыске на нем нашли коммунистические листовки. Освобожденный два года спустя, он ушел в маки. При этом он все потерял: дом был разграблен, жена ушла с каким-то капралом в Эстремадуру и увела двух детей. Но Риос ни о чем не жалеет. Та сила, что заставила его пойти сражаться и бросить позади без иной причины все, что до тех пор составляло его жизнь, — эту силу он сохранит в крови навеки. Он из народа мореплавателей, партизан, восставших против Наполеона. Он гражданин страны революций и восстаний.

Мы идем. Чем выше, тем реже деревья. Сухой ледяной северо-восточный ветер дует сбоку, мешает ходьбе, пощечинами бьет по щекам. Больше ни о чем не думается. Мы от усталости пьяны. Все болит. Но выбора нет. Мы идем вперед.

— Francés! (француз), — кричит командир, — подойди!

— Отдай мешок, — шепчет Хулио.

— Нет.

— Отдай, я тебе говорю. Он будет ругаться.

Но я уже обгоняю других. Издалека я вижу Гафаса. В темноте, бледной от звезд, его высокая огромная фигура кажется еще более мощной. Он слышит мои шаги и поворачивает ко мне тяжелую темную голову, на

которой теряются тонкие очки в черепаховой оправе, — отсюда его кличка: «гафас» значит очки. Он не близорук, но в 1937 году немецкая пуля вырвала ему глаз, и так как веко тоже оторвано, то он носит очки с одним черным стеклом.

— Кто тебе дал этот мешок? — сухо спрашивает он.

— Я отобрал его у Хулио. Иначе он бы упал.

— Pero, que te había dicho? (Но что я тебе сказал?)

Я не отвечаю на вопрос, заданный замогильным голосом с оттенком упрека. Он пожимает плечами.

— Ладно. Я хотел сказать тебе, что мы сейчас вступим в провинцию Леон.

Я иду за ним. Как длинны эти последние минуты! Даже я, нагруженный меньше всех, уже без сил. Вдруг, впервые за долгие часы, несколько человек в колонне позади нас заговорили разом, заволновались. Я спрашиваю:

— Что случилось?

— Мы пришли. Во-время, мне кажется.

В черном небе какой-то уголок освещается — это предвестник зари. Через минуту в еловой хижине или в хлеву крестьянина-сообщника или просто закутавшись в старую коричневую полотняную палатку, сложенную пока что вокруг узла Гарсона, одиннадцать из нас провалятся в тяжелый сон. А четверо, которым не повезет, будут назначены часовыми и должны будут снова бороться с усталостью, осматривать горизонт, не выпуская оружия из рук, перекликаться каждые четверть часа, чтобы не заснуть...

### 3

В стране, которую якобы хотят уберечь от гражданской войны, есть тем не менее люди, которых травят, как волков в их убежищах, и которые с оружием в руках сопротивляются в сто раз более сильному врагу. Они имеют дело с полицейскими и солдатами, выбранными из числа самых жестоких, самых отвратительных. Они знают: плен — это смерть. Они вынуждены бежать из городов.

И тем не менее, в течение одиннадцати лет — с тех пор как продвижение мятежных армий отрезало их от товарищей по борьбе — они сражаются. Это — один из тех эпизодов антифранкистского сопротивления, который несомненно станет легендой и которым Испания может быть горда.

Сколько же их, партизан?

Когда знаменитый одноглазый Гафас описал мне условия борьбы своих рассеянных войск, он сказал, что невозможно назвать точную цифру герильерос.

— Каждый день солдаты дезертируют, республиканцы переходят Пиренеи в том или другом направлении, происходят стычки между нами и франкистскими наемниками, — сказал он. — А мы иногда месяцами живем без сведений друг о друге, ничего не знаем о друзьях и не можем сообщить им, что мы еще живы...

Это было в еловой хижине, в глубине леса, около реки Навиа, в провинции Луго. После долгих часов ходьбы, причем Гафас и его люди, как всегда, несли сами все свое имущество, мы ускользнули от батальона «мавров». Северо-восточный ветер гнал над нами тяжелые черные облака, которые вскоре разразились дождем. Одноглазый командир в десятый раз, наверно, описал мне страдания бойцов Испании и рассказал мне, как они обманулись в День Победы в 1945 году.

— 8 мая 1945 года мы обезумели от радости... А потом были слова, обещания англо-саксов, а потом ничего...

Все, кому угрожает арест, находят у партизан приют и возможность остаться в Испании, продолжая борьбу. А кроме того — и больше всего, — партизаны в глазах народа — символ свободной Испании, которая не хочет умирать. И этот символ воспламеняет.

Франко не заблуждается на этот счет. Он без перерыва посылает против партизан подразделения своей печально-известной гражданской гвардии или африканцев. Он называет партизан «бандитами» и «грабителями». Он заставляет губернаторов провинций создавать региональные милиции из добровольцев, готовых преследовать партизан, как зверей.

Рядом с еловой хижинкой горит костер из мокрых дров, в котелках варятся бобы и куски зайца. Люди лежат или сидят под деревьями. Большинство молчит. Может показаться, что это бесконечно далеко от мира, если бы не длинные гудки локомотива, идущего по долине, на юге. Это, вероятно, уходит поезд Луго — Ла Корунья<sup>1</sup>. Мне кажется, что я помолодел на четыре с половиной года... В холоде, с обнаженными нервами, в маленьком лесу департамента Жюра, который прочесывался почти каждую неделю немецкими войсками, 30 французских партизан поспешно работают. Они строят убежище из промерзших сосновых ветвей. С трубкой в зубах, руки в карманах канадки, с поднятым меховым воротником — тот, кто вскоре станет знаменит, разговаривает с начальником работающих. Он стряхивает снег со своих ботинок с железными гвоздями — крепкий коренастый горец. Вдруг часовой свистит. Все замолкают, прислушиваются. Не немецкий ли патруль приближается к нам?..

Партизан-испанец тяжело поднимает плечи и шепчет:

— У вас это длилось всего четыре года... И ваш враг не был французом...

Когда-нибудь поэт высокого дарования сложит эпопею республиканских партизан Испании. И может быть первым он назовет имя Кристино Гарсиа?..

Твое имя останется в истории как символ, Кристино Гарсиа. Ты мог остаться во Франции. Ты имел право на отдых; ты столько сражался с тех пор, как еще ребенком ты поднял в 1936 году оружие против фашистов, наводнивших твою страну... С открытыми глазами ты шел навстречу смерти; ты знал, что тебя ожидает; ты знал, что в конце концов тебя схватят; и до конца ты участвовал во всех операциях, когда твоя голова была уже оценена, и гражданские гвардейцы носили твою фотографию в кармане. У тебя не было ни минуты колебаний; когда наступил неизбежный эпилог, когда ты был в их руках, в течение месяцев, и из тебя пытками и страданиями хотели вытянуть ответы, — и тогда ты не знал ни сожалений, ни слабости. И в ту минуту, когда тебе оставались считанные последние шаги на этой земле, последние шаги к виселице, которую ты видел за железными решетками окна в камере, ты написал замечательные строки. Ты останешься навеки высоким пламенем, герильеро Кристино Гарсиа!

<sup>1</sup> Луго — главный город провинции с тем же названием. Ла Корунья — большой порт.



---

---

# ТАМ, ГДЕ КОСТЕР ЕЩЕ ПЫЛАЕТ

ЭУСЕБИО СИМОРРА



**П**ервого апреля 1939 года Франко объявил в своей военной сводке: «Война в Испании кончилась». Но напрасно он полагал, что перевернулась последняя страница народного сопротивления. Нет, окончилась только одна глава. На некоторое время пепел закрыл собой огонь. Под пеплом тлели угли. Одно дуновение превратило бы головни в костер. И оно донеслось с Востока. Оно пронеслось над синими горами Гранады, над землей, на которой Лорка умер, лицом к винтовкам и звездам; над степью у Фуентевехуны, где крестьяне уже поднялись однажды на вершины истории; над равнинами Ла-Манчи — там под тенью дубовых лесов Дон-Кихот говорил с пастухами о справедливости и свободе; над холмами Каталонии, где живут извечные бунтовщики во имя справедливости; над рощами Басконии, раненной в древнее сердце свое, Гернику. Это был высокий воздух, он нес страстный призыв Сталинграда и восторг майской победы, и он проник в цехи, в поля и в книги гордой Испании, которая не хочет жить, стоя на коленях. В течение десяти лет, поднявшись во весь рост, умирают за народ лучшие дети Испании.

## Ненависть раздувает костер

*«Проблема так называемых партизан—вопрос трех недель».*  
(«Арриба» («Вперед»), орган фаланги, в марте 1939.)

Прошло три года. От горы до горы, от моря до моря, под серым небом Басконии и под яркосиним небом Андалузии раздается одно слово: герильеро (партизан). Вначале оно звучало только в разговорах пастухов на горных тропинках:

- Слушай, парень! Я видел наверху двух человек.
- Наверно, партизаны.

А сегодня это слово повторяют крестьяне просторных деревень Кастилии, веселых андалузских хуторов, увитых розами каталонских домиков, белых домов Басконии.

- В этом году фалангисты не отнимут нашего урожая.
- Еще бы! Партизаны близко!

Партизаны! Это слово без конца повторяется в сводках франкистской гражданской гвардии, развешиваемых по селениям: «Наши местные силы вступили в перестрелку с партизанским отрядом».

Это слово владеет мыслями всего франкистского совета министров: «Правительство постановило объявить «военной зоной» горный район Антекерра в провинции Малага».

Вначале маленькие группы уходили в горы, чтобы спастись от Франко. Сегодня — это партизанские соединения, от которых не спасется Франко.

Пылают огни борьбы на испанской земле. Франко хочет погасить это пламя кровью. Но кровь оживляет огонь. Ненависть раздувает костер, охвативший всю Испанию.

\*\*  
\* \*

*«Наивно говорить о партизанах в Испании. Как могут они удержаться, не обладая дружественными границами, базами, надеждами извне?»*

(Хосе Антонио Хирон, франкистский министр, в речи, произнесенной в Астурии в 1946.)

Говорить об испанских партизанах — совсем не наивно. Зато не говорить о них — это тактика. Как хотели бы многие, опустив над Испанией свинцовый занавес зверских репрессий, укрыть молчанием сообщников франкистских преступлений. Однако перечислением трудностей, с которыми сталкиваются партизаны в Испании, нельзя закрыть глаза на факт их существования. Это значит только подчеркнуть их мужество. Испанские партизаны вынуждены сражаться в таких условиях, каких не знали вооруженные патриоты Западной Европы.

Вся Испания пригвождена к земле штыками, и это штыки Франко. Для испанских патриотов Пиренеи не открывали путей, по которым могла бы притти помощь. Пиренеи были для них барьером. Американский журналист писал в эпоху французского внутреннего сопротивления: «Французы не сводят глаз с неба, они знают, что оттуда упадет оружие, сброшенное союзными самолетами». На испанских партизан с неба падают бомбы, сброшенные самолетами, которые, действительно, недавно принадлежали союзникам...

Испанские партизаны одиноки — один-на-один против огромной армии, которую Франко может в любую минуту бросить на них, против гражданской гвардии, чью численность Франко довел до 100 000 человек, против вооруженной полиции, обученной гестаповцами, чтобы самой стать гестапо, один-на-один против военизированных фалангистских банд. А борьба не затихла. Напротив, она приняла гигантские размеры, потому что ее резервы — в народных массах, потому что ее база — уже не только в горах, а в деревнях и городах, потому что оружие, которое, увы, не падает с неба, партизаны отнимают у врага. Немножко динамита — его тайком передал партизанам шахтер. — и взлетает на воздух пороховой склад. С двенадцатью охотничьими ружьями партизаны захватывают арсенал.

Так росло партизанское движение. Нет, партизаны не были одиноки! Конечно, со всех сторон к ним протягивала щупальцы кровавая ненависть франкистов. Но горячая любовь народа окружала партизан. Сегодня можно сказать: если все испанские партизаны — патриоты, то и почти все испанские патриоты — партизаны.

Взрывы в туннеле Понферрада в Галисии (уничтожен поезд с солдатами и вооружением) совпадают с взрывами в помещениях фаланги в Мадриде и в Барселоне. Партизанские винтовки, обстрелявшие из засады отряд гражданской гвардии, перекликаются с револьверами патриотов, убивших на улице франкистского полковника Милана дель Бош. Ветви деревьев, которые склоняются в горах, чтобы спрятать партизана, словно сказочные городские ворота, открывающиеся, чтобы дать убежище патриоту. Партизан носит овчину пастуха, синий комбинезон баскских стачечников, пиджак студента. Заговор молчания, созданный франкистами вокруг них, недостаточно силен, чтобы заглушить эхо

этой борьбы. Она раздается по всему миру. И как ни цинична англо-саксонская помощь Франко, она не помешает народам мира помочь испанским партизанам.

### Как сталь

*«Наши люди похожи на сталь. Можно сломить их, нельзя их согнуть».*

(Долорес Ибаррури, на пленуме испанской компартии в Париже в марте 1947.)

Из той стали, сломать которую может только смерть, а согнуть не может никакая пытка, сделаны испанские партизаны. Из этой стали был Кристино Гарсиа, скошенный пулями на февральском рассвете 1946. В Испании Кристино сражался за свободу всего мира. В войне всего мира за свободу Кристино сражался за Испанию. Французские патриоты, заключенные в тюрьме города Ним, в июньский день 1944 услышали, как заскрипели затворы. Выстрелы, звонкий голос с плохим французским произношением: «На улицу! Вы свободны!» Кто-то спросил: «Англичане пришли?» Нет, это были не англичане. Это был Кристино Гарсиа, испанский партизан. Чтобы вернуться в Испанию, чтобы освободить свой народ из франкистской тюрьмы, Кристино расстался с мундиром подполковника сил французского сопротивления. Человек, сломавший дверь фашистской тюрьмы в Ниме, сам попал в страшную испанскую фашистскую тюрьму. Все знают сегодня, что такое лагеря смерти, газовые камеры, печи-крематории, которыми Гитлер покрыл Европу. Пусть же никто не забывает, что сегодня эти лагеря еще существуют и называются испанскими тюрьмами, что камеры пыток зовутся сегодня подземельями генерального управления безопасности в Мадриде, и только вместо расшитой фуражки гестапо фашистские палачи носят треуголку гражданской гвардии.

Много испанских антифашистов погибло в борьбе. Но еще больше патриотов пришло им на смену. Лавр победы растет только на земле, политой кровью.

\*\*

*«Хуан Мартин, прозванный Эмпесинадо, знаменитый партизан войны за освобождение 1808 г., трижды бежал из тюрьмы и в конце концов был ранен конвойными при четвертой попытке бегства».*

(Испанская энциклопедия.)

Рамон Виа родился через столетие после Эмпесинадо. Оба были испанцами и партизанами, оба были бесстрашны, оба окружены народной легендой. Как Эмпесинадо, Рамон Виа дважды бежал из тюрьмы. Если Эмпесинадо был ранен на дороге, Рамон Виа был убит на улице.

Эмпесинадо (вымазанный) был прозван так потому, что в его время инквизиторы вымазывали свою жертву рыбьим жиром и вываливали в перьях. Франкистская инквизиция знает пытки потоньше. Рамон Виа прошел через все эти пытки. Через прогулку по бритвенным ножам, через электрическую «жену», через «самолет» — специальный аппарат, к которому жертва подвешивается вниз головой, пока кровь не хлынет изо рта и из ушей.

Однажды, сами устав от пыток, франкистские палачи сказали Рамону Виа:

— Если ты заговоришь, мы отпустим тебя на свободу.

— Не вы дадите мне свободу, а мои товарищи. И тогда я заговорю.

И он заговорил. Партизаны Малаги организовали его бегство. Патриот, осужденный фашистами на смерть, превратился в их обвинителя.

Он опубликовал знаменитую брошюру «Я обвиняю», страшный документ, раскрывающий всю жестокость франкистских преступлений.

Рамон Виа, участник французского сопротивления в Оране и Алжире, был трижды приговорен к смерти правительством Виши. Но он не избежал франкистской смерти. Его поджидали на углу. Со всех сторон протянулись к нему револьверы. Когда-то с кучкой партизан он сражался против целых отрядов эсэсовцев. Теперь, один, он бросился на дюжину фалангистов. И упал, изрешеченный пулями.

Таковы испанские партизаны. Санчес Виедма, которого французские партизаны знали под кличкой «Торрес», умер в подвале генерального управления безопасности в Мадриде, пройдя через все пытки и через длительную агонию. Касто Гарсиа Росас умер под палками в тюрьме Овьедо. Сотни мертвых героев зовут Испанию к борьбе и мести. Они напоминают: здесь, в Испании, началась война, распространившаяся затем на всю Европу. Здесь она еще длится. Отсюда она может снова распространиться на весь мир.

### Стачка

*«В Испании мы покончили с красным праздником первого мая».*

(Национальное радио Мадрида, 30 апреля 1947.)

Франко вычеркнул из календаря праздник Первого мая. Но не смог вычеркнуть его из сердца испанских рабочих. Первое мая 1947 стало красным днем для рабочих Басконии.

Бильбао — центр металлургической промышленности Басконии, земля железной руды и железных людей. Здесь протекает речка Нервион, искрящаяся минеральными пузырьками. В баскском гимне говорится: «Воды Нервиона красны от крови». Это кровь, пролитая в борьбе рабочих и всего народа. 80 дней и 80 ночей Бильбао сопротивлялся самолетам и пушкам Гитлера и Франко. Лучшую сталь Испании выплавляют домы Бильбао. Из этой стали сделаны и его люди. В день первого мая 1947 они не уклонились от участия в празднике трудящихся всего мира. В этот день не били молоты по наковальням, не скрипели лебедки, не лился в огне металл. Больше 90 процентов рабочих не явилось в цехи. Франко применил к рабочим два средства: интриги фалангистских синдикатов и угрозы властей. Все это не имело успеха. Баскские рабочие последовали указаниям подпольных демократических синдикатов. Баскские рабочие признают одну лишь власть — Совет сопротивления. Это не было простой экономической стачкой. Это была большая политическая стачка за демократические права трудящихся. Десять дней длилось сражение, в него вступили рабочие других отраслей, оно вызвало энтузиазм во всем испанском народе, оно подчеркнуло солидарность рабочих всего мира. И рабочие победили, достигнув поставленных целей, стачечники приступили к работе. Сегодня мы знаем, что Франко хотел бы отомстить стачечникам. Но он не знает тех, кто вел их в бой. Мы знаем также, что стачка в Бильбао была не концом, а началом большого сражения. Она показала зрелость ее участников. Она показала, что рабочая армия едина и идет вперед, что авангард демократии в Испании умеет наступать и что люди труда — первые в борьбе.

А крестьяне? Юноши с охотничьими ружьями, которые десять лет тому назад приходили к мадридским заставам, чтобы остановить фашистов, сегодня с вилами и серпами препятствуют фашистам грабить урожай Фуентевехуны и Лериды, деревень Кастилии и Леона?

### Подпольная печать.

*«Полиция обнаружила типографию, в которой издавалась коммунистическая газета «Мундо обреро».*

(Сообщение, опубликованное испанскими газетами в декабре 1946.)

А на следующей неделе «Мундо обреро» вышел снова, и в передовой значилось: «Мундо обреро» возвращается к борьбе. Нет такой силы на свете, которая могла бы заставить замолкнуть наше слово». И «Мундо обреро» продолжает бросать слова борьбы, зажигающие испанский народ. «Мундо обреро» («Рабочий мир») — заголовок центрального органа испанской компартии. Во время испанской войны эти два слова обошли весь мир. Тогда газета говорила о великолепии и суровости сражений. Тогда она издавалась в большой современной типографии. Сегодня она печатается в глубоких тайных подвалах на старых машинах. Но никогда, пожалуй, она не казалась такой большой. «Мундо обреро» выходит не только в Мадриде. Ее голос повторяется и размножается в Леванте, Андалузии, Астурии, Леоне, Сантандере и Галисии. Я видел коллекцию, воспроизводящую подпольную печать Испании. В одном из ноябрьских номеров 1946, в мадридском издании «Мундо обреро» помещены два портрета: Ленин и Сталин. И заголовок во всю страницу: «Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!» В передовой говорится: «Для испанских антифашистов 7 ноября памятно дважды: это годовщина Великой Октябрьской социалистической революции и это годовщина героической незабываемой защиты Мадрида в 1936». Эти даты, соединенные исторической случайностью, объединены благодарностью в сердце испанского народа. В мадридском ноябре мадридскому народу протянули руки те, кто выковал советский Октябрь. Тогда портреты Ленина и Сталина появлялись не только на страницах подпольных газет. Мадридцы несли их в руках, вывешивали на улицах, солдаты смотрели на них в землянках, боевые знамена склонялись перед ними.

«Мундо обреро» — не единственная подпольная газета Испании. Объединенная социалистическая молодежь издает газету «Молодежь». Организация «Сражающаяся молодежь» издает «Борьбу». Центральный орган партизан называется «Атака». Вооруженные патриоты Галисии издают газету «Партизан». «Объединение вооруженных сил Испанской республики» говорит о верности родине и народу в своем еженедельнике «Республика» и в журнале «Родина и армия». Газета трудящихся Басконии называется «Эускади роха» («Красная Баскония»). Союз свободной интеллигенции издает в Валенсии журнал «Наше время».

Есть газета на каталонском языке, есть газеты для крестьян, для студентов, даже для заключенных в тюрьме. Иногда это — маленькие листочки бумаги, исписанные на машинке или просто от руки, воспроизведенные на ротаторе, а порой — переписанные рукой терпеливого и мужественного патриота, выполняющего свою героическую работу и в тюрьме. Для свободной мысли, для свободного слова нет стен — их слышит и тюремный сиделец. Сколько труда, сколько терпения, сколько типографских ухищрений, сколько мужества и страсти нужно, чтобы подпольная печать могла поведать народу и миру правду об Испании! Правду о мученичестве и борьбе, о жажде и вере. Никто не знает, кто пишет в этих газетах и кто набирает их. Но хорошо известно, что вдохновляет всех этих неизвестных людей: любовь к свободе. Меняются типографские чернила. Но эти газеты пишутся не только чернилами, они пишутся кровью.

### Культура на баррикадах

*«Интеллигент! Свобода народа — твоя свобода! Борись за нее!»*

(Подпольный журнал «Наше время», февраль 1946.)

Скоро исполнится 11 лет с того дня, когда фашизм убил Гарсиа Лорку. Ночь Гранады стала ночью для всей Испании. Винтовки, отнявшие жизнь Лорки, расстреливают испанскую культуру. Лорка обогрил своей кровью испанскую землю, сегодня в ней покоятся останки 45 других писателей и публицистов, убитых франкистами. Испанская интеллигенция выполнила свой долг во время испанской войны. На Международном конгрессе в защиту культуры, который проходил под бомбами, испанские поэты явились в солдатских фуражках. Мятеж Франко начался во время нового рассвета для испанской культуры. Ее лучшие голоса были молоды и требовали обновления. Франко удалось убить или изгнать из страны людей, которые представляли новую культуру, помешать тому, чтобы она пришла к народу, слилась с ним. Но он не смог задушить живое слово этой культуры, которое — именно как живое — стало словом борьбы. Альберто Касона, молодой драматург, чью пьесу фашисты хотели поставить в Мадриде, чтобы симулировать «демократичность» своего режима, опубликовал в Мексике открытое письмо: «Мы, испанские интеллигенты, всеми силами души противопоставляем Франко иную этику, иной способ видеть и понимать жизнь; все это наше и все это народное. Дело не только в разнице двух идеологий. Франко хуже: он — измена нашему историческому пути, он — грубое отрицание всякого гражданского достоинства, он — непримиримый враг всякой подлинной свободы, он проливал кровь вчера и хочет отравить ее завтра. С таким человеком, с таким режимом не может быть для нас сотрудничества».

Но прогрессивная интеллигенция Испании не ограничивается отказом от сотрудничества с Франко, она делает куда больше, она борется с ним. В самой Испании честные представители культуры находятся на баррикадах, как во времена защиты Мадрида и перехода Эбро. Они — в партизанских отрядах. Среди материальных и моральных развалин Испании нет, кажется, ничего более страшного, чем пустыня культуры. Во франкистской пустыне ничего не посеешь. Но в подполье преследуемые, прогрессивные интеллигенты возделывают сад испанской культуры. 300 лет тому назад судилища инквизиции жгли испанских поэтов как еретиков, посадили в тюрьму Сервантеса. В 1947 году франкистская инквизиция запрещает книги Анатоля Франса и Стендаля, калечит «Овечий источник» Лопе де Вега, преследует писателей. Но нельзя заглушить голос культуры, когда она воодушевлена любовью к свободе. «Наше время» и «Демокрит» — два журнала, издающиеся Союзом свободной интеллигенции, поднимают свой голос все громче, зовут к борьбе. Всемирная победа над гитлеризмом была победой культуры над варварством. Победа демократической Испании будет победой ее культуры над остатками фашистского варварства, которые зовутся франкизмом.

### Террор

*«В совете министров изучается проект закона, предложенного министром юстиции для подавления атак, жертвой которых является полиция».*

(Франкистское радио, франкистские газеты 1946.)

Террор в Испании уже принял новые формы, согласно этому новому специальному закону, так как старых, при всей их жестокости, оказа-

лось недостаточно. Недавно стал известным страшный баланс франкистского режима за первые месяцы 1947 года: 93 убийства.

Среди погибших—расстрелянные в результате судебных фарсов военных трибуналов, замученные в темницах, убитые на улице или на дороге гражданскими гвардейцами или полицейскими. Среди них астурийские рабочие и андалузские крестьяне, пожилые люди, начавшие борьбу, чтобы не позволить фашизму захватить Испанию, и юноши, вступившие в борьбу, чтобы изгнать фашизм с испанской земли.

Расстреливают обычно на рассвете. В одно из утр этого года жертвами были 13 девушек. Предыдущую ночь они провели вместе, среди других заключенных женщин. В старой испанской песне говорится:

«Мать, ты должна мне шить  
К свадьбе новый наряд,  
Свадьбы не будет — к похоронам».

13 девушек решили встретить смерть в таком же наряде. Они тщательно причесались, надели на себя лучшее, что у них было. Одна из заключенных сказала про них: «13 роз»...

Эти розы срезаны пулями. Так и зовет их сегодня народ: 13 роз. 13 красных роз, красных от крови — они еще расцветут в весну победы.

Недавно вместе с восемью юношами осуждена на смерть Исабель Торральба. Ей 16 лет. Фашисты полагали, что ее легко будет сломить: она не только молода, она бледна и хрупка. Да, во время пытки ее губы раскрылись. Но только для стонов, не для слов. Позвольте нам думать, что ее окровавленного лба коснулись в эту минуту губы Зои Космодемьянской.

О, мученичество и мужество испанского народа! На твоей земле, Испания, начался пролог великой трагедии. На испанской земле разыгрывается и эпилог ее. Трагедия не закончится до тех пор, пока занавес победы не опустится там же, где поднялся занавес войны.



---

---

## ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

**КРИСТИНО ГАРСИА**



*Кристино Гарсиа родился в Астурии, в семье горняков. Ему было 16 лет, когда Франко поднял мятеж. Кристино Гарсиа вступил добровольцем в народную армию и сражался в ее рядах, пока фашисты не заняли всю Астурию. Тогда он стал партизаном. Республика присвоила ему звание майора. После победы фашистов он перешел французскую границу и был заключен в концентрационный лагерь. Он бежал оттуда и стал шахтером в департаменте Гар. Через две недели после вторжения гитлеровцев во Францию Кристино Гарсиа организовал из горняков первые диверсионные группы. Затем он ушел из шахт, чтобы организовать партизанское движение в Гаре и соседних департаментах. Он стал командиром третьей партизанской дивизии, им самим организованной, охватившей три департамента. Участвовал в крупных боях под Гран-Комб, Нимом и Мадлен. Освобожденная Франция дала ему звание майора и орден. Он рвался в Испанию. Он отправился туда и стал снова «герильеро», командиром партизан. Франкисты поймали его. Незадолго до смерти ему удалось отправить это письмо испанской коммунистической партии, членом которой он был.*

### *Дорогие товарищи!*

Вы наверно удивлены, не получая от меня известий. Я не был уверен в надежности связи и боялся, чтобы мое письмо не попало в руки полиции.

Что сказать вам о том, как обращаются с нами в тюрьме? Попад в лапы врага, я ждал всего и был готов ко всему. Только один день со мной обращались хорошо: когда меня поймали. Дорогие сигареты, сладкие слова, предложения организовать мое бегство, — при условии, конечно, что я пойду к ним на службу. Вы сами можете представить себе мой ответ. И тогда начались «сессии». На третий день кровь хлынула из моих ушей. На теле не осталось ни одного местечка, которого не коснулись бы побои. После каждой «сессии» меня с трудом тащили четверо полицейских. Когда я терял сознание, меня окатывали водой и снова принимались бить. Так, без перерыва, 12 дней. Потом меня оставили в покое на три дня и потом снова пытали в течение целой недели.

Я убедился в том, что у меня очень толстая шкура и что тот из нас, кто на это решился, тот, кто в такие минуты думает над тем, что происходит, в особенности, если это коммунист, — не заговорит, сколько бы его ни истязали. Полагаю, что я всего-навсего вел себя так, как должен был. Говорю вам это не для хвастовства. Я говорю об этом только потому, что знаю, какой конец меня ждет, и хочу, чтобы это письмо, если к несчастью, оно будет последним, послужило не только объяснением происшедшего, но чтобы вы с его помощью разоблачили

перед миром методы этих зверей и показали, каким должно быть поведение антифашистов всегда, когда несчастный жребий приводит их в руки врага.

Как я сказал вам, положение мое и моих товарищей оставляет мало надежды. Нас хотят запутать в общий судебный процесс, но мы на это не идем. Я понимаю, что убить нас за политическую деятельность было бы трудно ввиду международного положения, и поэтому нам приписывают грабежи и прочие преступления. Я забыл сказать вам, что на первых трех допросах присутствовал «бош», который сказал мне, что он сохранил «добрые воспоминания» обо мне и о Медине по Франции. На третий день он простился со мной, когда я истекал кровью, дунув мне в лицо дымом и сказав: «Ну что, пришел час, когда мы тебя поймали?»

Простите, если это письмо придет с небольшим опозданием: я пишу его с перерывами и под постоянным наблюдением. Меня держат в клетке, как обезьяну; нехватает только детей, которые бросали бы мне орехи. Я хочу воспользоваться случаем, чтобы обратиться, вероятно в последний раз, к моему народу и к моей любимой партии. Мой дух, товарищи, так же крепок, как был всегда. Когда я перешел границу, чтобы занять свой боевой пост в войне с фашистской кликой, я знал, что не розы меня ожидают. Но я горжусь тем, что сделал это. Для меня это было не заданием, полным жертв, а честью, которую мне оказали, разрешив мне сражаться за мой народ и за мою родину. Я помню, как я страдал во Франции, когда другие товарищи раньше меня отправлялись на родину. Здесь был и есть наш пост! Если одни из нас падут в борьбе, что ж делать! Другие продолжают наше дело. Но вы не можете представить себе мое удовлетворение от того, что я вел себя, как этого требовал мой долг. И так я буду вести себя до последней минуты. Я знаю, что подлая фаланга пытается забросать нас грязью, обвиняя нас в грабежах и прочем. На суде против меня свидетельствовал какой-то тип, которого я видел впервые в жизни. Он утверждал, будто я был его командиром; он говорил, что узнал меня в Мадриде — за два месяца до того, как я покинул Францию.

В таком же стиле — все остальные обвинения. А правда в том, что меня осудили и убьют за то, что немцы не прощают мне тяжелых минут, которые мы заставили их пережить. Они хотят убить меня потому, что я антифашист, до самой смерти верный делу антифашизма и партии.

Прежде чем кончить, со всей скромностью хочу дать вам несколько советов — надеюсь, что они будут полезными. Положение таково, что может быть через несколько месяцев наша родина будет освобождена. Мой опыт показал мне, что ничто не сводит этих псов с ума так, как партизанское движение. Надо очень внимательно заботиться о его росте. Думаю, что надо с большой тщательностью отбирать командиров: пусть это будут способные люди, и если однажды они попадут в плен, пусть врагу не удастся обмануть или запугать их. Я извлек и другой опыт: нужно непоколебимо держаться правила, что никто не должен зная больше того, что его касается. Надо воспитывать товарищей, чтобы они были мужественными перед врагом, чтобы они поняли: возможность спастись гораздо больше для того, кто не издает ни звука, чем для того, кто заговорит. И главное: есть или нет возможности спасения — молчание долг коммуниста.

У меня столько всего накопилось, что я писал бы, вероятно, целую неделю, но я понимаю, что у вас есть более важные дела, и не хочу отвлекать вас. Хочу попросить у вас большого одолжения: доставьте это письмо нашему Политбюро, и пусть его прочтут также мои старые товарищи по борьбе во Франции. Я — не большой человек, но я знаю, что за четыре года, в течение которых мы вместе боролись за освобождение

Франции, возникли связи, которых и смерть не может разорвать. Если я горд тем, что я — сын Испании, я не менее горд тем, что приложил руку к освобождению Франции. Но в двух шагах от Франции — враг, нацисты и фалангисты, которые ограбили и убили тысячи французов. Скажите им, пусть не складывают оружия, пока не исчезнет фалангистский зверь. И вот я прощаюсь с вами и с Политбюро.

Вас, товарищи из Делегации, я прошу: не жалейте усилий и жертв для того, чтобы наша любимая партия оставалась тем, чем была всегда: партией антифашистского авангарда.

Хотя путь, который мы должны пройти, чтобы увидеть родину свободной от фашистов, долог, но остается уже немного. Когда видишь, как они дрожат, зная, что их ожидает, то надо отдать гораздо больше — жизнь и тысячу жизней, если бы они были у каждого из нас, — все, все отдать за свободу и победу народа и демократии. Передайте мой привет герильерос, моим товарищам и братьям, — я уверен, что они будут продолжать борьбу, как мы поклялись, что бы ни случилось. Скажите партийному руководству, что мы сдержали обещание, которое мы ему дали, — быть верными партии до самой смерти; что мы не забываем его указаний и советов, и что если нам придется умереть, наши палачи узнают, как умирают коммунисты, точно так же, как они узнали, как эти коммунисты боролись.

Скажите Долорес: твоё имя — наше знамя.

Товарищу Долорес, нашему руководителю, нашему учителю и примеру всех борцов, только два слова: мы, несколько коммунистов, словно уже одеты в саван, и когда ты получишь это письмо, нас несомненно уже не будет на свете. И мы хотим сказать тебе, что никто не смог вырвать из наших уст ни одной жалобы, никто не смог в нашем присутствии безнаказанно бросить грязью в имя славной Коммунистической Партии, которою ты руководишь. Нашей главной заботой, с тех пор как мы попали в лапы испанского гестапо, было высоко поднять имя Партии, и ни к чему не привели все их пытки, потому что если кто-нибудь пробовал оклеветать Партию, твои ученики-коммунисты вставали на ее защиту, как львы.

Мы пали в борьбе, это судьба! Но мы знаем, что тысячи испанцев, коммунистов и не коммунистов, доведут нашу борьбу до конца. Твое имя — его уважают и любят тысячи испанцев — наше знамя, и мы довольны нашей судьбой, потому что гордость от сознания, что мы жили честно и были достойными звания коммунистов, нам дороже собственной жизни. Мне все равно, что скажут обо мне фашисты, мне важно лишь то, что скажет обо мне мой народ, которому я обязан всем, которому все мы обязаны всем. За него, за его свободу я боролся и буду бороться до последней минуты. И когда эта минута наступит, будьте уверены, товарищи, что скромный член славной Коммунистической Партии сумеет умереть, как подобает коммунисту.

Да здравствует испанский антифашизм! Да здравствует герой Сопротивления — наша великая Коммунистическая Партия! Да здравствует самая храбрая из женщин, наш вождь — Пасионария!

В тюрьме Карабанчеля, 15 февраля 1946 г.



---

---

# ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО АНГЛИЙСКОМУ ПОСЛУ В ИСПАНИИ

**МАНУЭЛЬ ПОНТЭ**

★

*Мануэль Понтэ был командиром Четвертого партизанского соединения Галисии. Погиб в бою с франкистами в 1946 году. Это письмо появилось за три месяца до его гибели в партизанской газете «Эль герильеро». Английским послом в Испании был тогда Виктор Маллет.*

*Господин посол!*

Узнав о вашей поездке по Галисии, я не смог противиться искушению и не обратиться к вам. Я с удовольствием сделал бы это лично, но я отдаю себе отчет в той социальной пропасти, которая разделяет скромного борца Сопротивления и блистательного посла его величества короля Британии. С другой стороны, в лице губернаторов и фалангистских властей, которые рассматривают вас как почетного гостя, вы встречаете идеальных амфитрионов. Как меняются времена, господин посол!

В самом деле, вы прибыли сюда в любопытный момент. Не знаю, значатся ли в числе ваших посещений тюрьмы Галисии, присутствовали ли вы на военных советах, где смертные приговоры выносятся, как в лучшие времена Гитлера. Не знаю, было ли среди оказанных вам знаков внимания приглашение присутствовать при том, как 3 сентября в Понтеведре были повешены Луис Бланко и Диего Валеро, 20-го в Луго Мануэль Альварес, 21-го в Луго же — Хулио Ниего и Рамон Виверо. Быть может вы пришли в такой восторг от галисийских пейзажей и от сердечного приема, оказанного вам организаторами этих преступлений, что у вас не было времени задуматься над этими фактами, столь тривиальными для вас. В конце концов, что такое — жизнь пяти испанских патриотов для правительства его величества? Ах, если бы это был гитлеровец — архиепископ Загреба!.. Но для джентльмена, каковым вы являетесь, эти пятеро мертвых лишены интереса. Первые трое из них были герильерос, — Гитлер называл их «бандитами», и Франко, Черчилль и мистер Бевин дают им то же прозвище. Двое других были коммунисты, руководители Сопротивления, члены той партии, которую все вы поклялись «держат в узде», потому что коммунисты с удивительной настойчивостью мешают Франко закончить уничтожение Испании, а Британской империи — принести нашей родине свои «цивилизаторские» дары, как она это делает в Индии, Индонезии и Палестине.

Для нас же, господин посол, это пять жизней детей нашего народа, который никогда не склонял головы перед тиранами и иностранцами. Это были пять галисийских антифашистов, пятеро из тех, кто, рискуя жизнью, помешал тому, чтобы много тонн вольфрама было отправлено гитле-

ровским военным заводам. Пятеро из тех галисийцев, которые послужили пищей акулам для того, чтобы английские и американские корабли могли привезти солдат и вооружение из всех пяти стран света. И эти пять мучеников были повешены сообщником Гитлера, в то время как вы, мистер Маллет, пожимали окровавленные руки фалангистских палачей. Английское правительство, которое так озабочено судьбой «бедненьких» поляков, югославов, болгар и албанцев, впервые узнавших, что значит владеть родиной и пользоваться подлинной демократией, ваше правительство, господин посол, не нашло ни одного слова, ни одного жеста, хотя бы из простой человечности, чтобы заявить протест против фалангистских преступлений.

Мы, партизаны, мало разбираемся в дипломатических тонкостях. Зато мы хорошо разбираемся в фактах. Десять лет лишений и борьбы дали нам, людям может быть ограниченной культуры, но честным, с сердцем, открытым всем страданиям и всей боли нашего народа,—ясное понимание политической скромности и чести. Мы научились у наших земледельцев отличать плевелы от зерна и судить людей по поступкам, а не по словам. А факты говорят о том, что трагедия испанского народа не затрагивает чувствительности английских правителей. И это не удивляет нас. Тот факт, что Франко прибавил еще несколько десятков трупов к миллиону жертв его измены, ничем не влияет на котировки в Сити. Миссия посла его величества куда возвышенней. Испания в целом, с ее богатствами, с ее стратегической позицией, — это нечто гораздо более фундаментальное. И это, конечно, предмет ваших забот, потому что полукOLONиальная Испания или свободная и суверенная Испания могут повысить или понизить количество нулей на дивидендах высокопочтенных столпов английской империи. Это, а не буколический пейзаж Галисии, побудило вас предпринять поездку вдоль португальской границы.

Со всей почтительностью разрешите спросить: помните ли вы налеты на английские консульства и камни, летевшие в них из рук фалангистов? Помните ли вы «голубую дивизию» и ругательства Франко по адресу «гнилых демократий»? Разве сегодняшние английские правители не провозглашали лозунгом предвыборной борьбы: «Голосовать за Черчилля— это голосовать за Франко»? Сможете ли вы отрицать это, мистер Маллет? Народная песня говорит: «Самый безнадежный глухой — это тот, кто не желает слышать». А все вы не хотите слышать ничего, кроме звона золота, не хотите ничего видеть, кроме «священных интересов империи».

Мы не просим невозможного, господин посол. Мы не просим, чтобы английская армия явилась в Испанию и установила там «демократию» греческого типа. Мы не хотим иностранного вмешательства в наши дела, потому что мы хотим, чтобы Испания была нашей, испанской. Бедной или богатой, но нашей, только нашей. Мы просим только честности и порядочности. Политика вашего правительства в отношении Испании вызывает у одних негодование, у других — отвращение. В мире, требующем последовательности, справедливости, суда над последним оплотом фашизма в Европе, английское правительство выступает, как полицейская бригада франкизма-фалангизма. Его делегаты в ООН надевают тогу адвокатов гитлеровского стремянного. В обмен на наши продукты вы посылаете испанскому палачу оружие, чтобы он убивал земледельцев и кровью гасил наше страстное желание воспользоваться четырьмя свободами Атлантической хартии. Но как хорошие шулеры, вы играете не одной колодой. Стараясь поддержать подточенное фалангистское здание, вы в то же время вытаскиваете другую карту из-за обшлага. Эта карта зовется монархией: временное решение, переходное правительство—мост и компромисс с Франко. Вы всячески заботитесь о том, чтобы оболгать

законное правительство Республики, возглавляемое настоящим патриотом Хиралем. Вы дергаете за ниточки, вы вдохновляете кукол из театра ужасов, которые, пользуясь лишь тем, что родились в Испании, трудятся над «почетным миром» с Франко.

Господин посол, простите мне недостатки литературного стиля. Я — только герильеро, человек, который десять лет тому назад ушел в горы, потому что понятия «сдача» и «капитуляция перед фашизмом» не вмещались в его голове. Может быть, для вас мы тоже «бандиты». Так римляне называли Вириато<sup>1</sup>. Так Наполеон называл тех, кто патриотически защищал независимость Испании. С какой бы оценкой вы ни подходили к нам, позвольте мне дать вам один совет: изучите нашу историю и убедитесь, что у нас, испанцев, не рабская душа. Мы похожи на столетние галисийские дубы, — разбитые молнией, со сломанными ветвями, они рано или поздно дают новые побеги, мощные и цветущие, потому что корни их гнездятся в нашей мужественной земле. Таков и дуб нашего Сопротивления. Незыблема наша вера в демократические судьбы нашей родины. Несгибаема наша воля бороться до тех пор, пока Испания не станет снова свободной и республиканской; до тех пор, пока знамя, которое держит в своих достойных руках правительство Хирала, не будет развеиваться по ветру в Ассамблее Объединенных наций.

С этим дубом не справиться ни палачу Франко со всеми его преступлениями, ни правительству его величества со всеми его подозрительными маневрами. Убедитесь в этом, господин посол И уезжайте. Уезжайте туда, где для вас пахнет жареным. Нас оставьте в покое!

5 октября 1946 г.

---

<sup>1</sup> Герой осады Нумансии.



---

# КОМЕДИЯ УБИЙСТВ

(Господин Верду)

*Киносценарий*

**ЧАРЛИ ЧАПЛИН**

*Перевод с английского М. Абкиной*



## ВХОД В ВИННУЮ ЛАВКУ КУВЭ

Сквозь стекло в витрине смутно видны бутылки разных размеров и форм.

Через экран проходит надпись:

*„Семейство Кувэ... Городок где-то на севере Франции.“*

## СТОЛОВАЯ В ДОМЕ КУВЭ

Высоко на окне висит клетка с птицей. Хозяин дома, Пьер, храпит на диване. Жан, брат его жены, юноша с неприятной физиономией, сидит за столом и читает. Обернувшись, он толкает Пьера, чтобы тот не храпел, затем нетерпеливо вскакивает и, взяв свой стул, переходит в глубину комнаты. Лина и Карлотта сидят в креслах у камина и вяжут. Карлотта, жена Пьера, — довольно полная и рыхлая женщина лет 35-ти. Ее сестре, Лине, 40 лет, она худая, высокая, с землисто-бледным лицом и медленными движениями. Другая сестра, Феба, задорная толстушка, убирает со стола. Лина подходит к столу, чтобы ей помочь. Жан садится возле буфета. В эту минуту слышен звонок с улицы. Собака, свернувшаяся калачиком на полу у камина, лает. Короткая пауза.

**Карлотта.** Жан!

**Жан** (сердито). Ну, чего тебе?

**Карлотта.** Это почтальон... (Пауза). Может быть, письмо от сестры.

**Жан** (саркастически, не поднимая глаз от книги). Возможно.

**Карлотта.** Неужели ты не можешь на минуту отложить книгу и посмотреть, кто пришел?

**Жан.** Нет, не могу.

**Лина.** И не стыдно тебе так отвечать сестре!

**Жан.** Закрой свою пасть, не устраивай в комнате сквозняк!

**Феба.** Почему ты не делаешь того, что тебе сказали?

**Жан.** Да ну, замолчи!

**Карлотта.** С ним говорить бесполезно, Феба... Он ничего не желает делать.

**Феба.** Так нужно его заставить!

**Жан** (не отрываясь от книги). Интересно, кто это меня заставит?

**Лина.** Был бы жив отец, он бы тебя прибрал к рукам!

Берет со стола поднос с посудой. Проходя мимо Жана, споткнулась об его вытянутые ноги.

**Лина.** Убери свои ножищи!.. Весь пол загородил!..

**Жан.** Уж кто бы говорил... У самой (смотрит на ноги Лины) не ноги, а настоящие танки!

**Карлотта** (повысив голос). Встань и делай что велено! Ну!..

**Жан** (кивком головы указывая на Пьера). Мужа своего пошли... А я занят: видишь, читаю.

**Феба.** Оставь его, Карлотта... Я схожу. (Жану) Эх, ты, лодырь!

Феба, повернувшись к Лине, роняет со стола ложку. В то время, как она наклоняется, чтобы ее поднять, Лина берет со стола большой поднос с посудой. Феба, поднимаясь, толкает его снизу головой так, что поднос летит на пол, и две тарелки и суповая миска разбиваются на куски.

**Феба.** Вот! Видите, что он наделал!

**Жан.** Ладно, валите всё на меня!

**Феба** (подняв поднос и передавая его Лине). На, держи крепче..

**Карлотта.** Если бы ты пошел за письмом, ничего бы этого не случилось.

**Лина.** Все-таки, Феба, надо быть осторожнее...

**Феба** (собирает с пола тарелки и ставит их на поднос). Это вышло нечаянно... Я не виновата.

**Лина.** Надо смотреть, куда идешь...

**Феба.** Да я-то тут при чем? Ты сама встала на дороге...

**Лина.** Ладно, не ори.

**Феба.** А ты ко мне не придирайся.

С подноса в руках Лины каплет на Пьера жирная подливка. Он просыпается.

**Пьер.** Какого чёрта... Осторожнее ты, старая дура!

**Лина.** Нельзя ли повежливее? Я тебе не жена.

**Пьер.** Еще бы!.. Хватит с меня одной!

Карлотта хватается со стола тарелку и швыряет ее на пол.

**Карлотта.** Довольно! Замолчите! Замолчите сию минуту!

Все молча смотрят на нее. Карлотта кричит во весь голос.

**Карлотта.** Жан! Сейчас же принеси письмо, негодный мальчишка!

**Жан.** Ох, скорее бы выбраться из этого бедлама, где меня вечно пилят!

Выходит. Остальные возвращаются к прежним занятиям.

Пьера ололевает икота.

**Пьер.** Где мои пилюли?

**Карлотта.** На буфете.

**Пьер** (приняв лекарство). Из-за чего у вас весь этот шум?

Входит Жан и бросает на стол письмо.

**Жан.** От парижского Государственного банка.

Карлотта, вскрыв конверт, вынимает из него нераспечатанное письмо и уведомление банка. Читает. Лина и Феба тоже читают через ее плечо.

**Лина** (после паузы). Я так и знала!

**Пьер.** А что такое?

**Карлотта.** Банк возвращает наше письмо.

**Пьер.** Какое письмо?

**Карлотта.** Письмо Сельме. Банк сообщает, что она забрала все свои деньги, закрыла счет. И адреса своего не оставила.

Передает бумажку Пьеру. Пьер внимательно читает.

**Феба.** Надо сообщить полиции!

**Пьер** (продолжая читать). Зачем?

**Феба.** Ах, боже мой, это так не похоже на Сельму — скрыться от родных. Тут что-то неладно.

**Пьер** (кладя письмо на стол). Не беспокойся о ней. Она в опеке не нуждается.

**Лина.** Ну, не сказала бы... В пятьдесят лет женщина мчится в Париж и выходит замуж за человека, с которым знакома какие-нибудь две недели!

**Пьер.** Не бежать же из-за этого в полицию!

**Карлотта.** Но ведь о ней вот уж три месяца ни слуху, ни духу!

**Пьер.** Что же из этого? Она переживает медовый месяц.

**Лина.** Медовый месяц!

**Жан.** Кто это способен целых три месяца возиться с Сельмой!

**Лина.** Не нравится мне, что она взяла из банка все деньги. Это на нее не похоже!

**Жан.** Денежки уже, конечно, все у него!

**Пьер.** Ну, нет, не так-то легко выкачать из Сельмы деньги!

**Феба.** А смотри, чего он уже добился: ради него она бросила родной дом, всех нас, продала лавку и вышла за него... И все это в какие-нибудь две недели!

**Жан.** Хотел бы я знать, как он это делает.

**Пьер.** Вы обвиняете человека, а ведь вы его и не видели ни разу.

**Лина.** Вот это-то и подозрительно! Честный человек не стал бы от нас прятаться.

**Феба.** Я чувствую, случилось что-то страшное!

**Пьер.** Ох и надоели же вы мне! Если Сельма не пишет, значит, по-вашему, ее уже ограбили или убили!

**Карлотта.** Никто не говорил, что ее убили!

**Лина.** Будем надеяться, что она жива.

**Феба.** Нет, надо сейчас же сообщить полиции!

**Пьер.** Да подождите вы еще несколько дней. Что за истерика!

**Карлотта.** Пожалуй, Пьер прав. Подождем день-два. Но если за это время от нее не будет вестей, заявим полиции.

**Пьер.** У нас ведь была фотография этого нового мужа. Куда вы ее дели?

**Карлотта.** Жан, поищи в нижнем ящике буфета.

Жан уже снова уткнулся в книгу. Он сидит совсем близко от буфета. Несмотря на это, он хотел было запротестовать, но передумал. Не вставая, он нагибается и выдвигает нижний ящик.

**Жан.** Вот она!

Бросает карточку Пьеру. Пьер внимательно ее изучает, женщины смотрят через его плечо.

**Жан.** Странная птица!

**Пьер.** Нужно быть очень ловким торговцем, чтобы при такой наружности суметь всучить что-нибудь покупателю.

#### На экране портрет

*Музыка*

#### НЕБОЛЬШАЯ ВИЛЛА. ДЕНЬ

Надпись:

*„Небольшая вилла на юге Франции“.*

#### САД ВИЛЛЫ

Верду подстригает кусты роз со вкусом настоящего художника. Он переходит от куста к кусту. В глубине сада видна небольшая мусоросжигательная печь.

### МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА В СОСЕДНЕМ САДУ

**Мужчина.** До каких пор у него будет топиться эта печь? Она дымит вот уж три дня, кажется?

**Женщина.** Да. Я не могу из-за этого развесить белье для просушки.

### СНОВА САД

Верду, нарезав роз, направляется к дому. Останавливается, заметив ползущую на дорожке гусеницу.

**Верду.** Если ты не поостережешься, крошка, на тебя кто-нибудь наступит.

Он кладет гусеницу на забор соседа и входит в дом.

### В ПРИХОЖЕЙ

На комод у стены — ваза, над комодом — зеркало. Верду поставил розы в вазу. Одну розу он держит в руке и время от времени нюхает. Смотрит на себя в зеркало, но в это время раздается стук в дверь. Раньше чем открыть Верду заглядывает в замочную скважину. Это пришел почтальон. Успокоенный Верду отпирает дверь.

**Почтальон.** Мадам Сельма Варнэ здесь живет?

**Верду.** Здесь.

**Почтальон.** Ей заказное.

**Верду** (берет письмо и хочет расписаться). Хорошо, спасибо.

**Почтальон.** Извините, сударь, расписаться должна госпожа Варнэ.

**Верду.** А... тогда подождите одну минуту. (Идет наверх).

### ВАННАЯ КОМНАТА

Входит Верду.

**Верду** (громко). Сельма, милочка... тебе заказное письмо, мой ангел. Надо расписаться... Нет, нет, оставайся в ванне.. Только руки вытри, дорогая, и распишись... вот тебе перо... Смотри как бы ты не простудилась!..

Расписывается на квитанции и выходит.

### ПРИХОЖАЯ

**Верду.** Вот, пожалуйста...

Отдает почтальону расписку и принимает от него письмо. Затем достает из кармана брюк кошелек и дает почтальону два су на чай.

**Почтальон** (почтительно кланяясь). Спасибо... До свиданья.

**Верду.** До свиданья.

Почтальон уходит. Верду идет в столовую.

### СТОЛОВАЯ

Верду входит и садится к письменному столу. Распечатав конверт, вынимает пачку ассигнаций — шесть тысяч франков. Затем читает письмо.

Текст письма:

*„Многоуважаемая г-жа Варнэ, согласно Вашей просьбе, при сем препровождаем шесть тысяч франков, каковой суммой исчерпывается Ваш текущий счет в нашем банке.*

**Марсельский Банк».**

Прочитав письмо, Верду принимается считать деньги, быстро листая ассигнации тонкими пальцами с профессиональной ловкостью банковского чиновника. Пересчитав их дважды, выходит в переднюю.

### ПЕРЕДНЯЯ

Верду входит и идет к телефону.

**Верду.** Междугородную, пожалуйста.. Алло! Дайте Париж, контору Балонга и К° на фондовой бирже... заказывает Тулон, номер 8460.. Отлично.

Вешает трубку и уходит в столовую.

### СТОЛОВАЯ

Верду входит, с довольным видом потирая руки. Садится за рояль и начинает играть аллегро из Венгерской рапсодии Листа. Но сыграв несколько тактов, резко обрывает и вслушивается. Слышно какое-то странное постукивание—словно эхо внутри рояля. Верду снова начинает играть, но постукивание продолжается. Теперь ясно, что оно доносится откуда-то из глубины дома.

Верду бесшумно встает из-за рояля и, прислушиваясь, медленно идет из комнаты.

### КУХНЯ

Верду входит и видит за окном старуху, которая стучит в стекло. Он открывает дверь.

**Луиза.** Доброе утро, сударь.

**Верду.** Здравствуйте.

**Луиза** (протягивая письмо). Меня прислали из бюро по найму.

**Верду.** Ага... (Читая) А это ваша аттестация?

**Луиза.** Да, сударь.

**Верду.** Вас предупредили, что мне нужна прислуга только на день-два?

**Луиза.** Да, сударь, я знаю.

**Верду.** Отлично... Как вас зовут?

**Луиза.** Луиза.

**Верду.** Так вот, Луиза, первым делом выньте все из ящиков и перетрите... Нет, раньше всего вы, пожалуй, снимите занавеси и уложите их вот сюда (указывая на сундук). Все вещи оставьте на буфете — я потом составлю опись.

Звонит телефон.

**Верду.** Принимайтесь за работу. К телефону я сам подойду...

Выходит в переднюю.

### ПЕРЕДНЯЯ

Верду входит, предусмотрительно закрыв за собой дверь и тихонько повернув ключ в замке. Снимает трубку.

**Верду.** Алло! Это Балонг и К°? (Оглядывается на дверь в кухню и понижает голос) Говорит Верду... Я хочу купить завтра утром пятьсот акций Общества «Континенталь газ», пятьсот «Консолидейтед эйр» и сто акций «Сентрал Карбин»... Да, тот же... двадцать пунктов. Деньги переведу немедленно по телеграфу. Вы их получите завтра рано утром.

Вешает трубку.

## ДОМ ГЛАВНОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ. ВХОД В КОНТОРУ

На двери надпись:  
*„Бюро розыска пропавших“.*

## БЮРО РОЗЫСКА

За большим письменным столом префект полиции слушает заявление семьи Куваэ. Сыщик Морро сидит сбоку и что-то пишет. Он без пиджака, в нарукавниках до локтя. Это грузный мужчина весом в 90 килограммов, с подстриженными усиками, с наружностью борца. Он ходит в котелке и всегда с зонтиком. Перед Морро на столе несколько раскрытых конторских книг. Время от времени он перелистывает их, ища нужные ему сведения.

**Карлотта.** Тотчас после свадьбы она словно исчезла с лица земли.  
**Префект.** А вы сможете нам помочь установить личность этого человека?

**Карлотта.** У нас был его моментальный снимок, но Лина по ошибке бросила его в камин.

Долгая пауза. Все укоризненно смотрят на Лину

**Префект.** Это скверно.

**Лина.** Но я бы его сразу узнала, если бы встретила.

**Жан.** И я тоже.

Во время последующего диалога Морро подходит к полке, достает еще две книги и сверяет записи в них.

**Префект.** Хорошо, сударыня. Теперь мы как будто знаем всё. Если поступят какие-нибудь новые сведения, мы вам сообщим.

**Карлотта.** Спасибо, господин префект.

**Префект** (провожая их до дверей). Всего хорошего. До свиданья, господа.

**Карлотта.** До свиданья, господин префект.

Все кланяются и выходят.

## ПРЕФЕКТ И МОРРО

**Префект** (возвращаясь к столу). Чем это вы заняты, Морро?

**Морро.** Странная история... за последние три года исчезло двенадцать женщин в разных городах... (показывает свои выписки). И обстоятельства, при которых они исчезли, очень похожи на те, которые вам только что сообщили.

**Префект.** Что же именно?

**Морро.** Все эти женщины были уже немолоды, имели небольшое состояние или какую-нибудь недвижимость и, повидимому, почти все незадолго до исчезновения вышли замуж за человека одного и того же типа.

**Префект.** Вы хотите сказать, что все они были замужем за одним и тем же человеком?

**Морро.** Да, мне так кажется.

**Префект** (просматривая выписки Морро). Судя по этим датам, у него было одновременно полдюжины жен?

**Морро.** Вот именно. Он — вроде того матроса, у которого было по жене в каждом порту.

**Префект.** А каким способом он их обирает?

**Морро.** Этого я еще не выяснил.

**Префект.** Страховка?

**Морро.** Ну, нет, он хитрее, чем вы думаете. Но ни одна из этих женщин не нашлась... и вряд ли найдется.

**Префект.** По-вашему, он их убил? Так, что ли?

**Морро.** Вот именно. Это «Синяя Борода»... Профессиональный убийца... И работает он во всех городах Франции.

**Префект.** Ну, ну, легче на поворотах! Раньше, чем ошеломить публику таким сообщением, вы бы все-таки собрали хоть парочку фактов. Пока у вас нечего предъявить.

*Музыка, модная и экзотическая.*

## ВИЛЛА СЕЛЬМЫ

Висит объявление:

„Продается“.

Главный вход. По дорожке к дому идут мужчина и женщина. Подойдя, мужчина дергает звонок у двери и отступает на шаг. Когда дверь открывается, виден Верду, который стоит на пороге и нюхает розу.

Пришедшие — г-жа Гроней, нарядно одетая, несколько грузная, цветущая блондинка лет сорока пяти, и Нюталь, агент по продаже недвижимости, молодой человек, à la лорд Галифакс.

**Нюталь.** Господин Варнэ?

**Верду.** К вашим услугам.

**Нюталь.** Я — Нюталь, агент по продаже недвижимости. А это — госпожа Гроней.

**Верду** (глядя прямо в глаза г-же Гроней). Здравствуйте.

Г-жа Гроней отвечает ему таким же пристальным взглядом.

**Нюталь.** Госпожа Гроней хотела бы осмотреть дом — если вас это не стеснит.

**Верду.** Ничуть. Войдите, пожалуйста.

## ПЕРЕДНЯЯ

Г-жа Гроней и Нюталь входят. За ними Верду.

**Верду.** Вы извините... у меня бог знает какой вид... я был так занят, что не успел привести себя в порядок.

**Г-жа Гроней** (заметив на столе цветы). Какие дивные розы!

**Верду.** Они вам нравятся?.. Это из собственного сада.

**Г-жа Гроней** (нюхая розы). Какая прелесть!

**Верду** (кричит за дверь). Луиза!

**Голос.** Я здесь, сударь.

**Верду.** Выньте из вазы розы и заверните их для госпожи Гроней. Бумагу возьмите в левом ящике кухонного стола.

**Голос Луизы.** Хорошо, сударь.

Луиза входит и, взяв цветы, идет с ними на кухню.

**Г-жа Гроней.** Ах, нег... Зачем же... Я не хочу вас лишать...

**Верду** (опять заглядывает ей в глаза). Вы их оценили, и поэтому я дарю их вам. Сюда пожалуйста...

Верду ведет посетителей в гостиную. Остановившись у двери и пропуская вперед г-жу Гроней, он успевает окинуть ее беглым, но внимательным взглядом. Затем показывает ей комнаты с видом заведующего универсальным магазином, который водит покупателя по своему магазину. Чувствуется, что он уже много раз продавал дома.

## ГОСТИНАЯ

**Верду.** Это гостиная... все двери и паркет у нас цельного дуба, и во всех комнатах — панели красного дерева (отходит к окну).

Г-жа Гроне́й смотрит на Ньюталя, а тот с одобрительным выражением поднимает брови.

**Нюта́ль** (г-же Гроне́й). С архитектурной стороны этот дом — просто совершенство.

Нюта́ль и г-жа Гроне́й вслед за Верду подходят к окну.

**Верду.** Отсюда очень красивый вид на горы и море внизу.

Г-жа Гроне́й смотрит в окно. Верду украдкой разглядывает ее, время от времени нюхая розу.

**Г-жа Гроне́й** (ни к кому не обращаясь). Как красивы эти холмы!

**Верду.** Да. Их создал великий архитектор. Где нам с ним тягаться! (Указывает на открытую стеклянную дверь) А вон там наш сад... Участок в сто двадцать пять на восемьдесят пять футов... Семь плодовых деревьев: три яблони, две груши, одна шелковица и одно сливовое... Ну, и мои розы, конечно.

**Нюта́ль.** Здесь очень мило.

**Верду** (весело). Да. Жена моя всю душу вкладывала в устройство этого уголка. Мы были здесь безмерно счастливы. Мне кажется, это во всем заметно.

**Нюта́ль** (серьезно). Да, конечно. Позвольте выразить вам сочувствие..

**Верду** (неосторожно). Простите... Я не понял...

**Нюта́ль.** Соболезнование по поводу тяжелой утраты... смерти вашей жены.

**Верду** (спохватившись). Да, да... это было так внезапно... паралич сердца в то время, как она гостила у своих родных. Вот поэтому-то я и хочу продать нашу виллу. Здесь меня одолевают воспоминания...

В передней звонит телефон.

**Верду.** Простите... Одну минуту.

Нюта́ль кивает головой, и Верду выходит.

**Нюта́ль** (шёпотом). Я думаю, мы сможем купить этот дом за бесценок.

## ПЕРЕДНЯЯ

Верду входит и видит Луизу.

**Верду.** Луиза, подойдите, пожалуйста, к телефону. Он под лестницей.

**Луиза.** Иду, сударь.

Верду возвращается в гостиную.

## ГОСТИНАЯ

**Верду.** Простите, что задержал. Сюда, пожалуйста.

## ПЕРЕДНЯЯ

Г-жа Гроне́й впереди, за нею — Ньюта́ль, последним — Верду. Луиза у телефона.

**Луиза.** Алло! Алло!.. Никто не отвечает. Наверное, повесили грубку.

**Верду.** Хорошо, спасибо.

Они идут в библиотеку.

## БИБЛИОТЕКА

Г-жа Грсней, Нюталь и Верду входят.

**Верду.** Это — библиотека, а налево — столовая. (Г-же Грсней) Здесь уютно, неправда ли?

Они направляются к выходу и поднимаются по лестнице в спальню.

**Верду.** Домик небольшой, и содержать его в порядке будет очень легко. У нас даже не было прислуги... (Стараясь выпытать побольше сведений о г-же Грсней) Но комната для прислуги есть... если она вам нужна.

**Г-жа Грсней.** Да. У меня кухарка и горничная.

**Верду.** Тогда в комнату для прислуги можно поставить вторую кровать, — благо, у вас не повар, а кухарка... ха-ха-ха! А то можно использовать и одну из спален наверху... (пытливо) если только они не понадобятся все для вашей семьи.

**Г-жа Грсней.** У меня нет семьи.

**Верду.** Вот как?.. Значит, вас только двое — вы да муж?

**Г-жа Грсней.** Муж мой умер давно.

**Верду.** Неужели? Гм... Сюда, пожалуйста.

Снова звонит телефон. Глухо доносится голос Луизы.

**Голос Луизы.** Алло!.. Кого? Подождите минутку... Господин Варнэ!

**Верду** (останавливаясь у дверей спальни). Что там, Луиза?

**Голос Луизы.** Вызывают господина Нюталья из конторы.

**Нюталь.** Вы позволите?

**Верду.** Луиза! Проводите господина Нюталья к телефону.

Верду и г-жа Грсней уходят в спальню.

## СПАЛЬНЯ

**Верду.** Тут была спальня моей жены.

Г-жа Грсней осматривается вокруг.

**Верду.** Мы называли ее нашим Сан-Суси. Она любила эту комнату. И проводила здесь много времени... О, какие воспоминания... Какие воспоминания!

**Г-жа Грсней.** Здесь много солнца.

**Верду.** Да, мы оба любили солнце. А некоторые не выносят солнечного света в спальне.

**Г-жа Грсней.** Нет, а я люблю.

**Верду.** Да? Вы, наверное, родились под знаком Скорпиона.

**Г-жа Грсней.** Как вы сказали?

**Верду.** Я говорю о вашем астрологическом знаке.

**Г-жа Грсней.** А... астрология!

**Верду.** Вас это интересует?

**Г-жа Грсней** (с жаром). Очень!

**Верду.** В каком месяце вы родились?

**Г-жа Грсней.** В апреле.

**Верду.** Я так и думал... Созвездие Овна... Небо и солнце... Мечтательница. Да, я вижу это по глазам... Ваши глаза — глубокие озера желаний, неосуществимых и непонятных другим.

**Г-жа Грсней** (забавляясь). Очень любопытно!

**Верду** (глядя на нее в упор). У вас очень интересная душа. Я тоже рожден под знаком Овна, и поэтому хорошо понимаю людей этого ти-

па. У нас — древние души. Как странно, что вы пришли именно сегодня! Я чувствую, что это судьба.

**Г-жа Гроней.** В самом деле?

**Верду.** Если бы я узнал вас ближе, я мог бы объяснить вам...

**Г-жа Гроней** (уже не на шутку заинтересованная). Пожалуйста, объясните!

**Верду** (с безнадежным выражением пожимает плечами). И вы так больше и не вышли замуж?

**Г-жа Гроней.** Нет.

**Верду.** Удивительно! Женщина вашего склада...

**Г-жа Гроней.** Почему же...

**Верду.** Людям, родившимся под знаком Овна, одиночество нестерпимо.

**Г-жа Гроней.** Боюсь, что мне уже поздно думать об этом.

**Верду.** Какие глупости! Вы только вступаете в жизнь. Жизнь настоящему начинается для нас после... гм... (Серьезно) Ах, боже мой, какое значение вообще имеет возраст?

**Г-жа Гроней** (грустно). Для женщины — большое.

**Верду.** Разрешите вам сказать, что для мужчин вы сейчас привлекательнее, чем были когда-либо.

**Г-жа Гроней.** Благодарю за комплимент.

**Верду.** Нет, это не комплимент, я говорю с вами вполне откровенно. Видно, что в юности вы были очаровательны, но никакая юность не выдержит сравнения с вашим нынешним возрастом... с этой пышной зрелостью... Притом, в вас теперь чувствуется больше характера, больше опытности, женской мудрости... больше... (меряя ее взглядом) больше всего того, что пленяет в женщинах!

**Г-жа Гроней.** О, вы мне льстите!

**Верду.** А почему бы и нет? Почему мне нельзя восторгаться красотой, как вы только что восторгались моими розами там внизу? «Какие дивные розы!» — воскликнули вы и невольно прижали их к губам... Счастливые цветы! Мне следовало бы быть смелее и так же, как вы, дать волю своим чувствам. (Неожиданно обнимает ее) Вы — чудная... слова бессильны выразить... У меня такое чувство, словно я знал вас всю жизнь.

**Г-жа Гроней.** Пустите! (Вырывается).

**Верду.** Это так прекрасно...

**Г-жа Гроней.** Это нелепо!

Они вернутся на месте — он пытается снова обнять ее. Она хватается за руки, чтобы помешать.

**Верду.** Нет... нет... это прекрасно... неизбежно... Это сильнее нас... Все сделала ваша красота... вините ее...

Во время борьбы Верду видит в зеркале Нюталью, который стоит на пороге и наблюдает эту сцену.

**Верду.** Подождите, не двигайтесь!.. Это пчела! Я ее сейчас прогоню... Ну, вот, улетела!..

Г-жа Гроней оборачивается, вскрикивает и нечаянно отталкивает Верду с такой силой, что он вылетает в раскрытое французское окно и оказывается на наружном его выступе. Нюталья подбегает к окну как раз в тот момент, когда Верду влезает обратно в комнату.

**Нюталь.** Вы не ушиблись?

**Верду.** Ничуть. Я, должно быть, поскользнулся.

**Нюталь.** Наверное.

**Г-жа Гроней** (с досадой). Нам пора итти.

**Нюталь.** Да, пожалуй.

**Верду.** А остальные спальни вы не хотите посмотреть?

**Нюталь.** Благодарю, я видел достаточно... Впрочем, виноват, быть может, вы, сударыня, хотите продолжать осмотр?

**Г-жа Гроней.** Нет, спасибо.

**Нюталь.** Что ж, тогда... Мы известим вас через нашу контору о решении госпожи Гроней.

Верду отступает в сторону, давая дорогу г-же Гроней. Нюталь идет за ней, последним — Верду. Выходят и спускаются по лестнице.

**Верду.** Очень хорошо... (Обращаясь к г-же Гроней) Но вы разрешите все-таки послать вам книгу по астрологии?.. Конечно, если вам это интересно...

**Г-жа Гроней** (очень сухо). Нет, спасибо, не утруждайте себя.

**Верду.** Помилуйте, какой же это труд. Это меня ничуть не затруднит... вы только скажите, как мне снестись с вами.

**Нюталь.** Через нашу контору.

**Верду.** Как вам будет угодно.

Они сошли с лестницы в прихожую.

**Верду.** Ах, да, ваши розы! Не забудьте их взять.

Г-жа Гроней и Нюталь оборачиваются. Нюталь делает жест нетерпения. Верду берет с комода завернутые в бумагу розы и подает их г-же Гроней.

**Г-жа Гроней** (отказываясь). Благодарю вас... Право, не нужно...

**Верду** (успевает сунуть ей цветы в руки). Сударыня, вы меня очень огорчите, если не примете их.

Г-жа Гроней взглядом ищет поддержки у Нюталя, но тот молчит.

**Г-жа Гроней** (беспомощно). Спасибо.

Верду почтительно целует у нее руку, глядя ей прямо в глаза.

**Верду.** До свиданья, сударыня.

Повернувшись, небрежно кланяется Нюталю, который отвечает ему так же небрежно и выходит с г-жей Гроней. Верду запирает за ними дверь и, насвистывая, торпливо идет наверх.

На экране колеса мчащегося поезда

#### КУПЕ ПОЕЗДА

Верду сидит и читает.

#### ПАРИЖ С ВИДОМ НА ЭЙФЕЛЕВУ БАШНЮ

#### ВХОД В КАФЕ НА ИТАЛЬЯНСКОМ БУЛЬВАРЕ

Верду сидит за столиком на открытой веранде и, прихлебывая кофе, внимательно оглядывает проходящих мимо женщин.

Хорошо одетая дама средних лет с весьма пышными формами подходит и садится за соседний столик. Она расстегивает длинную перчатку так, что видны на руке бриллиантовые браслеты. Затем оглядев соседние столы, она замечает Верду, который смотрит на нее.

Верду смотрит на даму.

Дама улыбается.

Верду улыбается и кивает даме.

Дама смотрит через голову Верду на кого-то, кто в эту минуту подходит. Вновь пришедший невежливо протискивается мимо Верду и садится за ее столик. Верду смущен, но его выручает цветочница.

Вопросительно улыбаясь, она показывает Верду свой товар.

Он кивком головы подзывает ее и указывает на выбранный цветок.

**Верду.** Вот этот.

**Девушка.** Спасибо.

В тот момент, когда она вытаскивает из отворота своей блузки булавку, чтобы приколоть Верду цветок, Милле и его приятель Лавинь подходят к столику Верду.

**Милле.** Верду!

**Верду** (приветливо, но несколько церемонно). Здравствуйте, Милле.

**Милле.** Давненько не встречал вас! Расскажите, что слышно.

**Верду** (шутливым тоном). Я не только ничего не слышал, я даже ничего не подозреваю (оба хохочут).

**Милле** (указывая на стол). Кончаете? Мы не помешаем?

**Верду.** Ничуть... Я уже ухожу. Присаживайтесь.

**Милле.** Спасибо... (знакомя их). Это м-сье Лавинь... А это — м-сье Верду, мой старый знакомый.

Верду и Лавинь обмениваются поклоном. Затем все трое садятся.

**Милле.** Верду — мой бывший сослуживец. Он служил помощником кассира у нас в банке.

**Лавинь.** Вот как!

**Верду** (с меланхолической улыбкой). Это было в добрые старые времена.

**Милле.** Ну, не так уж давно!

Официант приносит Верду счет.

**Милле.** А чем вы теперь занимаетесь?

**Верду** (расплачиваясь, вынимает из кармана пачку ассигнаций). Да так, всем понемногу... Продажа недвижимости... биржа...

**Милле** (увидев толстую пачку ассигнаций, говорит со смехом). Ого! Вы, наверное, кого-нибудь убили!

**Верду** (смеясь). Вы угадали... Ха, ха, ха!

**Милле.** А на бирже — сильное понижение, а?

**Верду** (пожимая плечами). Вот теперь-то самое время покупать... когда все продают. Большого понижения уже не будет. По крайней мере, я на это надеюсь.

**Официант** (обращаясь к Верду). Вот сдача, сударь.

**Верду** (Милле и Лавиню). Позвольте чем-нибудь угостить вас?

**Милле** (отрицательно качая головой). Нет, спасибо. Мы не хотим вас задерживать.

Верду берет со стола сдачу и дает официанту на чай.

**Официант.** Спасибо.

**Верду.** В таком случае, я с вами прощусь.

**Милле.** Всего хорошего.

Верду встает и, простившись с собеседниками, уже собирается уйти, когда официант подает ему какой-то пакетик.

**Официант.** Вы забыли это, сударь...

**Верду** (сконфуженно смеется). Да, да, спасибо. До свиданья, господа.

**Милле и Лавинь.** До свиданья.

Верду уходит, взяв пакетик.

Лавинь и Милле смотрят вслед Верду.

**Милле.** Славный малый... Не повезло ему. Он работал у нас лет двадцать пять, а то и больше.

**Лавинь.** А что же случилось потом?

**Милле.** В двадцать девятом году банк лопнул. И Верду был уволен одним из первых.

**Лавинь.** Какое свинство — после двадцати пяти лет службы!

**Милле.** Что ж делать! В этом был виноват кризис.

#### ВХОД В СКЛАД

Верду с пакетиком в руке подходит к двери, его встречает мяукающим кот. Верду разворачивает пакет (в нем какие-то объедки) и бросает его содержимое коту.

Затем отпирает дверь.

В складе в глубине видна дверь.

Верду входит. Слышит телефонный звонок и бежит к лестнице, подходит к телефону, снимает трубку.

**Верду (важно).** Мебельный склад «Верду и сын».

#### КОНТОРА БИРЖЕВОГО МАКЛЕРА

Маклер у телефона.

**Маклер.** Это говорят из конторы Балонга. Я звоню вам все утро... На бирже сильное понижение. Нам нужно пятьдесят тысяч франков.

#### СКЛАД ВЕРДУ

Верду у телефона.

**Верду.** Когда они вам понадобятся?

#### КОНТОРА БИРЖЕВОГО МАКЛЕРА

Маклер у телефона.

**Маклер.** Не позднее завтрашнего утра... К открытию биржи.

**Верду.** Но где же я вам возьму пятьдесят тысяч франков к завтрашнему утру?

**Маклер.** Если не достанете, будете разорены.

**Верду (расстроенный).** Ладно, попробую.

Вешает трубку, с минуту стоит, размышляя, потом достает из кармана черную записную книжку, перелистывает ее и, посмотрев на часы, говорит про себя:

**Верду.** Сообразим... Банк закрывается в четыре. Если ехать сейчас, я поспею на поезд два пятнадцать и буду там в половине четвертого.

На экране колеса мчащегося поезда

#### РУКА ВЕРДУ, НАЖИМАЮЩАЯ КНОПКУ ЗВОНКА У ДВЕРИ

Дверь открывается, и мы видим Лидию—угрюмую, худощавую женщину лет пятидесяти, с резкими чертами лица. Чувствуется, что она себялюбива и подозрительна.

**Верду (улыбаясь, торжественно).** Лидия!

**Лидия (холодно).** Я думала, ты в Индокитае.

Верду входит в переднюю, и Лидия закрывает входную дверь.

**Верду.** Я был там, дорогая.

**Лидия.** Пожалуйста, без нежностей. Три месяца в отъезде — и ни единой строчки!

Они идут из передней в столовую.

### СТОЛОВАЯ.

**Верду** входит за Лидией. Комната обставлена с буржуазным комфортом. На камине часы, которые бьют каждые четверть часа.

**Верду.** Неужели ты не получала моих писем?

**Лидия.** Как их писем?

**Верду.** Я писал тебе чуть не ежедневно.

**Лидия.** Я за все время получала только одну телеграмму три месяца тому назад. (Говорит сама с собой) Умчался неизвестно куда и оставил меня одну. Я могла бы с голоду умереть — ему и горя мало.

**Верду.** Ну, ну, Лидия.. Это неправда. У тебя есть состояние. Ты в моей помощи не нуждаешься.

**Лидия** (ядовито). Да, к счастью, не нуждаюсь.

**Верду** (обиженно). Лидия!

**Лидия.** Ладно! Говори, чего тебе от меня надо?

**Верду.** Ровно ничего, дорогая.

**Лидия.** Чудеса!

**Верду.** Я просто вернулся домой. Ах, Лидия, не такого я ожидаю приема!

**Лидия.** А какого же?

**Верду.** Я думал, ты хоть немножко обрадуешься мне — вот и все.

**Лидия** (с иронией). Хм... Так-таки все?

**Верду** (нежно). Ну, ну, не будь цинична.

**Лидия.** Цинична! Ты приходишь ко мне только тогда, когда тебе что-нибудь нужно.

**Верду** (с шутливой важностью). Лидия! Я не хочу ссор. Это отвратительно! Жизнь так легко можно превратить в нечто низменное и вульгарное. Постараемся же сохранить ее прекрасной и благородной. Мы с тобой уже не молоды. На склоне дней человеку трудно быть одному... Нам нужна любовь... нежность. А главное — мы нужны друг другу.

**Лидия** отворачивается. Он торопливо смотрит на часы, затем подходит к ней и берет ее за руку.

**Верду.** Ах, Лидия.. Мы переживали вместе такие чудные, блаженные минуты... И будем переживать их еще не раз.

Лидия вырывает руку и отходит.

**Лидия.** Я становлюсь слишком стара для всех этих глупостей.

**Верду.** Ну, вот, опять ты о своем возрасте! Я думал, что совсем излечил тебя от этого.

Снова подходит к Лидии и ласково гладит ее руку.

**Лидия.** Я излечилась от тебя!.. Раз ты так сбежал от меня...

**Верду.** Дорогая, я должен ездить... Этого требует моя профессия. Ведь я инженер.

**Лидия.** Очень жаль, что я этого не знала, когда сходилась с тобой.

**Верду** опять с беспокойством смотрит на часы, затем обнимает Лидию.

**Верду.** Послушай, Лидия...

**Лидия.** Сядь!

Он садится.

**Лидия.** Что ты делал в Индокитае?

**Верду** (небрежно). Строил мосты, моя милая... (Ему вдруг приходит в голову новая мысль) И должен тебе сказать — мы пережили кучу неприятностей! Чертежи оказались никуда негодными, пришлось делать новый проект. А в довершение всего контракт с нами расторгли — из-за кризиса.

**Лидия**. Какого кризиса?

**Верду**. Понятно, какого — финансового.

**Лидия**. Не понимаю, о чем ты толкуешь.

**Верду**. О страшной катастрофе, какой не бывало уже много лет. Повсюду банки прекращают платежи.

**Лидия**. Но в газетах об этом ничего нет!

**Верду**. Еще бы! Это постараются не разглашать. Но нам сообщили по секрету.

**Лидия**. Не верю!

**Верду**. Что ж, тебе-то незачем волноваться из-за этого.

**Лидия** (обеспокоенная). Что ты называешь финансовым кризисом?

**Верду**. А вот погоди — увидишь. Завтра начнется кутерьма, все побегут в банки.

**Лидия**. Вздор!

**Верду** (спокойно). Разумеется, тебе-то все равно. А вот меня это сильно тревожит.

**Лидия** (с возрастающим беспокойством). И меня тоже!

**Верду** (небрежно). Почему? Тебе во всяком случае бояться нечего.

**Лидия**. Не будь идиотом! Все мои деньги, до последнего су, положены в банк.

**Верду**. Что?!

**Лидия**. Ты это отлично знаешь, нечего дурака валять.

**Верду**. В каком банке твои деньги?

**Лидия**. Ну, конечно, в Обществе взаимного кредита.

**Верду**. В Обществе взаимного кредита! О, господи! С ним дело обстоит хуже всего. Забери оттуда свои деньги! Немедленно! Который час?

**Лидия**. Да ты в уме?

**Верду**. Мне все еще не верится... Лидия, не теряй времени! Завтра все банки прекратят платежи.

Она встает. Надевает шляпку.

**Лидия**. А что я буду делать с ними? Куда я их дену?

**Верду**. Об этом потолкуем после.

**Лидия**. Но я не хочу держать дома семьдесят тысяч франков!

**Верду**. Сколько?.. Ну, да это все равно. Не трать времени на разговоры! Торопись, ты опоздаешь! Скорей! Скорей!

#### В ГОСТИНОЙ У ЛИДИИ. ВЕЧЕР ТОГО ЖЕ ДНЯ

Верду играет на пианино, а Лидия сидит за столом и при свете настольной лампы считает принесенные из банка деньги. На столе — шкатулка с ее драгоценностями.

**Лидия**. Нет, это сумасшествие! И зачем я это сделала!

**Верду** (продолжая играть). А вот погоди — увидишь, что я прав.

**Лидия**. Кассир в банке сказал, что это все вздор.

**Верду**. А ты воображала, что он тебе скажет правду?

**Лидия** (пожав плечами). Я ему верю больше, чем тебе. (Перебирает свои драгоценности). И зачем я не оставила все это в сейфе! (Смотрит на Верду) Зачем?

**Верду.** Дорогая моя, такой страшный кризис может вызвать революцию... А новое правительство может конфисковать ценности... Нет, самое безопасное держать всё дома. Здесь оно не уйдет из твоих рук.

**Лидия.** Ты хочешь сказать — из твоих?

Верду встает. Лицо его принимает странное выражение.

**Верду.** Лидия, ты устала. Тебе надо хорошенько выспаться.

Верду нежно обнимает Лидию, а она сердито отталкивает его.

**Лидия.** Не знаю, где была моя голова, когда я поверила тебе! Слышанное ли дело — взять всё из сейфа и притащить домой! Ведь в квартиру могут вломиться вору...

**Верду.** Какие глупости!

Отходит от ее стула.

**Лидия.** Еще хорошо, что я не держу прислуги!

**Верду.** Ничего не случится с твоими деньгами за одну ночь.

**Лидия.** Лучше бы я оставила их там, где они были.

**Верду.** Ну, хорошо — если ты так беспокоишься, отнеси их обратно завтра рано утром.

Лидия встает из-за стола и берет шкатулку.

**Лидия.** Непременно так и сделаю. Выключи здесь свет! (Уходит в переднюю).

Верду выключает свет и идет за ней.

### ПЕРЕДНЯЯ

Верду входит. Лидия его уже ждет.

**Лидия.** Ты запер все двери?

Они поднимаются по лестнице.

**Верду.** Давно, как только стемнело.

**Лидия.** А окна?

**Верду.** Не беспокойся... Все в порядке.

**Лидия** (с раздражением). Я спрашиваю, закрыл или нет?

**Верду** (спокойно). Да.

Когда они дошли до верхней площадки, Лидия тушит свет и уходит в спальню, оставив дверь открытой. В спальне она зажигает лампу, и свет струится из двери. В конце коридора — окно, в него глядит полная луна. Верду, очарованный, медленно идет к окну.

**Верду.** Какая ночь!

**Голос Лидии** (из спальни). Да... Полнолуние.

**Верду.** Какая красота!.. Этот бледный свет.. Час Эндимиона...

**Голос Лидии.** Что такое ты говоришь?

**Верду.** Я говорю об Эндимионе, милочка. О прекрасном юноше, околдованном луной.

**Лидия.** Оставь его в покое и ложись спать.

**Верду.** Сейчас, дорогая. (Идет в спальню, бормоча в экстазе: «Ноги наши тонули в цветах»...)

Видна закрытая дверь спальни.

**Голос Лидии.** Ну, скорее!.. Гаси свет.

**Голос Верду.** Взгляни на луну! Никогда еще она не сияла так ярко... так бесстыдно!

**Голос Лидии.** «Бесстыдная луна!» Ха-ха-ха. Боже, какой ты дурак! Придумает же! «Бесстыдная луна!»

Музыка переходит в пронзительное crescendo, потом постепенно замирает.

### ТОТ ЖЕ ВЕРХНИЙ КОРИДОР. УТРО

В открытое окно льется солнечный свет, где-то щебечут птицы. Верду, веселый, напевая сквозь зубы, выходит из спальни. В руках у него шкатулка с драгоценностями Лидии. Раньше, чем закрыть за собой дверь, он еще раз заглядывает в спальню, тщательно проверяя, все ли в порядке, потом, удовлетворенный осмотром спальни, бежит вниз и входит в гостиную.

### ГОСТИНАЯ

Верду входит, садится к письменному столу, открывает шкатулку, вынимает банкноты и дважды пересчитывает их, листая их пальцами с ловкостью профессионала. Затем кладет деньги в карман, встает и идет в переднюю к телефону.

### ПЕРЕДНЯЯ

**Верду.** Междугородную, пожалуйста. Алло! Закажите Париж, контору Балонга на фондовой бирже... Говорит Авалон, шестьдесят два-двадцать... Вы мне позвоните? Отлично.

Вешает трубку.

### КУХНЯ

Верду торопливо входит и принимается готовить завтрак. Наливает воды в чайник, ставит его на плиту и хочет поставить на стол две чашки, но вспоминает, что теперь нужна только одна, и убирает другую чашку в шкаф. В передней звонит телефон.

### ПЕРЕДНЯЯ

Верду спешит к телефону.

**Верду.** Алло!

**Голос.** Контора Балонга.

**Верду.** Говорит Верду. Я сейчас переведу вам по телеграфу пятьдесят тысяч франков. Этого хватит?.. Хорошо. Нет, я пока не собираюсь в Париж. Мне нужно сначала уладить здесь кое-какие дела. Но я буду держать с вами связь.

На экране колеса мчащегося поезда

**ЖИВОПИСНАЯ ФЕРМА  
УЧАСТОК В ДЕСЯТЬ АКРОВ И КОТТЕДЖ ПОД ТРОСТНИКОВОЙ КРЫШЕЙ**

### КОТТЕДЖ

#### ОТКРЫТОЕ ОКНО

В окно смотрит красивый мальчик лет пяти.

Он вдруг видит Верду. Выбегает из дверей коттеджа и бежит по дорожке.

**Питер.** Папочка!

Виснет у Верду на шее.

**Верду.** Здорово, Питер... А мама где?

**Питер.** В саду... Пойдем, я покажу, где.

Он берет отца за руку и тащит его в дом. Они идут по узкому коридору. Питер говорит, не умолкая.

**Питер.** Знаешь, я решил насадить лес. Видал молодые елочки вдоль дорожки? Это все я посадил.

Они останавливаются в темном коридоре.

В открытую дверь виден залитый ярким солнцем садик, пестреющий всевозможными цветами. Под дубом, в рембрандтовском освещении, сидит с книгой, в кресле на ко-  
лесах, мать Питера, Мона. Мальчик жестом останавливает отца.

**Питер.** Она тебя не видит. Спрячься скорее!

Толкает Верду в сторону, где его не видно. Теперь мы видим жену Верду; сначала ноги в ортопедических аппаратах, затем—красивое, выразительное лицо тридцатипятилетней женщины.

**Голос Питера.** Мама!

**Мона** (не поднимая глаз от книги). Что тебе, Питер?

**Питер.** Гляди!

Мона поднимает голову.

**Мона** (сияя). Анри!

**Верду** (подходя). С праздником, Мона!

**Мона** (с недоумением). А какой сегодня праздник?

**Верду.** Не может быть, чтобы ты забыла... Ведь сегодня двадцать четвертое... годовщина нашей свадьбы. Ровно десять лет, мой друг.

**Мона.** Боже мой!.. Ну, конечно...

**Верду.** Вот видишь, для меня эти вещи имеют большее значение, чем для тебя...

**Мона.** Анри! (целует его) Десять лет... чудесных лет!

**Верду.** Спасибо, дорогая.

Питер, с котенком на руках, наблюдает встречу родителей.

**Питер.** А подарок ты ей привез?

**Мона.** Питер!

**Питер.** Ведь женщины любят подарки.

**Мона.** А вот мальчиков-всезнаек женщины не любят.

**Питер.** Что такое всезнайки?

**Мона.** Такие дети, которые слишком много знают.

**Питер.** Так возьми меня на время из школы.

**Мона.** Нет, не от учения в школе дети становятся всезнайками.

**Верду.** Ну, а подарок ей я все-таки привез (Подает Моне купчую на ферму).

**Мона** (в сильном волнении). О, Анри... Как я рада!

**Верду.** Теперь никто не сможет отнять ее у нас.

**Питер** (в экстазе). Что он тебе подарил, мама?

**Мона.** Этот чудесный дом и сад.

**Питер.** О... а я думал, что они давно уже наши.

**Мона.** Теперь они наши.

Пауза. Мона и Верду с улыбкой переглядываются.

**Верду.** Ты, кажется, разочарован, сынок?

**Питер.** Я думал, ты ей подаришь что-нибудь такое, во что можно нарядиться.

**Верду.** Что, например?

**Питер** (задумчиво). Мне бы хотелось увидеть ее с таким красивым бриллиантовым венцом на голове... как у святых...

Верду и Мона хохочут.

**Верду.** Ну, нет, а я не хотел бы... во всяком случае, не скоро.

**Голос.** Питер! Питер!

**Мона.** Тебя зовет Жаннета. Беги обедать.

Входит Жаннета и берет Питера за руку.

**Питер.** Можно мне сегодня обедать с тобой и папой?

Мона вопросительно смотрит на Верду.

**Верду.** Сегодня можно.

**Питер** (в то время, как его уводят). А я сегодня обедаю с мамой и папой!

Голос его теряется в доме.

**Верду.** Какое блаженство — отдохнуть здесь от войны в джунглях.

**Мона** (улыбается про себя, принимаясь за вязанье). Война в джунглях.. Ты переутомился, Анри.

**Верду** (рассеянно). Да, должно быть... Ну, ничего, еще два года поработаю и, если повезет, можно будет бросить.

**Мона.** Нет, если ты на этой работе теряешь здоровье, так я предпочту жить опять в одной комнате.

**Верду.** Этого никогда не будет!

**Мона.** Но мы тогда были счастливы.

**Верду.** А теперь?

**Мона.** Конечно, и теперь. Но...

**Верду.** Но что?

**Мона.** Ты меня тревожишь, Анри.

**Верду** (с нежностью). Меньше всего я этого хочу.

**Мона.** Меня беспокоит твое состояние.

**Верду.** А что же именно?

**Мона.** Мне иногда кажется, что ты так безнадежно смотришь на все...

**Верду.** Время уж такое... безнадежное, мой друг... Миллионы голодающих и безработных. Нелегко продержаться человеку моих лет.

**Мона.** Я знаю. (Умоляюще) Как бы я хотела, чтобы ты доверился мне.

**Верду** (насторожившись). В чем?

**Мона.** Во многом.. Я могла бы тебе помогать...

**Верду** (ласково). Ты мне и так помогаешь.

**Мона.** Нет, я хочу помогать тебе в работе.

**Верду.** Ну, нет... это дело мужское.

**Мона.** Почему ты так думаешь?

**Верду.** Я в этом уверен. Но..

Верду везет Мону в кресле по дорожке к дому.

**Верду.** ...Но когда все вокруг очень уж мрачно и уныло, я ухожу мыслями в мой другой мир... Этот мир — ты и Питер, единственное, что я люблю на земле.

*Музыка*

## СТОЛОВАЯ

Слева—камин. Верду ввозит Мону в кресле, подкатывает кресло к камину. Питер, сидевший перед камином с котенком на коленях, увидев мать, встает и подходит к ней.

**Питер.** Тебе ничего не нужно, мамочка?

**Мона.** Принеси, пожалуйста, вечернюю газету и папины домашние туфли.

**Питер.** А вот они стоят!

Он подбегает к отцу, который тем временем уселся в кресле против Моны, и принимается расшнуровывать ему ботинки.

**Питер.** Я их принес и поставил здесь еще раньше, чем папа приехал.

Верду раздувает ноздри.

**Верду.** Что это, у нас как будто пахнет жарким?

**Мона** (занятая вязаньем). Да, Анри. Ты ведь просил позвать гостей к обеду.

**Верду.** Да, да, разумеется.

Мальчик, продолжая расшнуровывать отцу ботинки, поднимает глаза.

**Питер.** А отчего мы не едим мяса, папа?

**Верду.** Оттого, что мы вегетарианцы, сынок... Ботелло обещали прийти?

**Мона.** Да.

**Верду.** Очень хорошо.

**Питер.** А кто это Ботелло, папа?

**Верду.** Ну, ты же их знаешь! Это тот, у которого аптека. Мы с ним большие друзья.

**Мона** (припоминая). Ах, да... приходил Тернер узнать, можешь ли ты в будущую среду быть распорядителем на церковном базаре.

**Верду.** К сожалению, не удастся... Я завтра рано утром уезжаю в Лион.

**Мона.** О, Анри... Так скоро!

**Верду.** Дела, мой друг. Я и так уж опаздываю: собственно говоря, мне следовало быть там два дня тому назад. Питер, куда ты девал газету?

**Питер.** Ты на ней сидишь, папа!

**Верду.** Ах, да... (вытаскивает из-под себя газету).

**Мона.** Давай, я почитаю вслух, Анри. Тебе надо беречь глаза.

Верду отдает газету Питеру, а тот относит ее матери.

**Мона** (читает заголовок): «Мировой кризис... безработица растет во всех странах».

**Верду.** Брось! Это слишком печально.

**Мона** (кладет газету на колени). Подумай только, Анри, как милостива к нам судьба... Какие мы счастливыцы...

**Верду** (задумчиво глядя в потолок). Да. У меня есть работа... А если я ее потеряю, я всегда найду другую. (Смотрит вниз на мальчика).

Питер, о чем-то глубоко задумавшись, сидит на коврике перед огнем и гладит котенка.

**Верду.** О чем это вы размышляете, молодой человек?

**Питер.** Знаешь, что я придумал? Хочу написать письмо рождественскому деду.

**Верду.** Не рано ли?

**Питер.** А я не буду у него ничего просить. Так просто, напишу дружеское письмо.

**Верду** (с серьезным видом). Ага... Понятно.

**Питер.** А что он за человек, папа?

**Верду.** Рождественский дед? Он очень добр и щедр... к богатым. Лично я его недолюбиваю.

**Питер.** Почему, папа? (Дразнит котенка).

**Верду** (смакуя свою шутку). Он сноб и проныра: ведь его единственное занятие — карабкаться вверх по трубам и всюду пролезать.

Верду поворачивается и видит, как Питер дергает котенка за хвост.

**Верду**. Питер, не дергай kota за хвост! Я замечаю в тебе склонность к жестокости. Не понимаю, откуда она у тебя.

**Питер**. Я так играю с ним, папа. Он это любит, ему не больно.

**Верду**. Нет, ему больно. Ты очень плохо с ним обращаешься. Запомни: одна жестокость рождает другую.

Звонок в передней.

**Верду**. Это наверное Ботелло.

Встает, бросает на себя взгляд в зеркало и выходит.

### ПРИХОЖАЯ

Входят супруги Ботелло. Горничная помогает Марте раздеться, а Морис сам снимает пальто. Это — деревенский аптекарь, маленький, шуплый человечек. Он чудаковат, весьма сведущ в своем деле и любит щеголять учеными терминами. Г-жа Ботелло — очень полная дама, угрюмая и неразговорчивая. Реплики ее всегда односложны. В гостях она просто сидит и ждет, когда все кончится.

Входит Верду.

**Верду**. А, Марта... (целует у нее руку.) И Морис... здравствуйте, дорогой мой! Ей-богу, страшно рад вас видеть.

**Ботелло**. Вы у нас стали редким гостем, Анри...

**Верду**. (проходя с ними в столовую). Да, к сожалению.

**Мона**. Марта, дорогая!

**Марта**. Здравствуйте, Мона, как здоровье?

**Мона**. Питер, придвинь для мадам Ботелло стул — сюда, рядом со мной.

**Марта**. Спасибо.

Питер приносит стул, Марта садится и в дальнейшем остается ко всему безучастной. Морис подходит к Моне.

**Мона**. Ну как поживаете, Морис?

**Ботелло**. А как ваш насморк?

**Мона**. Совсем прошел.

**Ботелло**. Пилюли мои принимали?

**Мона** (виновато). Знаете, я...

**Ботелло**. Ага, не принимали!.. Напрасно! Это отличное укрепляющее.

**Верду** (подходя к ним). Дорогой мой, вам пора знать, что Мона у меня чудачка — не любит принимать лекарств.

**Ботелло**. От этих пилюль вреда не будет. Марта их постоянно принимает. Я ведь на ней пробую все свои лекарства, вроде как на морской свинке.

Входит горничная.

**Горничная**. Обед подан, сударыня.

**Ботелло**. Ну, Анри, как дела?

**Верду**. Превосходны. Последнее время работы по горло.

**Ботелло**. Но все же, надеюсь, на этот раз вы дольше погостите дома?

**Верду**. Увы, нет! Я должен уехать завтра чуть свет.

## КУПЕ В ПОЕЗДЕ

Верду рассматривает драгоценности Лидии.

Гудок паровоза.

Его пронзительный звук переходит в смех Аннабеллы.

## ХОХОЧУЩАЯ АННАБЕЛЛА

Это бывшая официантка, глупая и вздорная бабенка лет сорока.

## СТОЛОВАЯ АННАБЕЛЛЫ

Комната обставлена с дешевой и крикливой роскошью. Аннабелла и ее гости—Викки Дармон и муж Викки, Джо. Оба—мелкие барышники и махинаторы на скачках. Аннабелла угощает их вином. Перестав смеяться, она залпом выпивает свой стакан, встает и звонит.

**Аннабелла.** Лучше этого вина нет. Обязательно скажу капитану, когда он придет.

**Джо.** А когда вы его ждете?

**Аннабелла.** Должен приехать в шесть лионским экспрессом.

**Джо.** Скоро шесть. Нам надо выметаться.

**Аннабелла.** Куда вам торопиться? Выпьем еще.

Аннабелла встает и идет к двери.

Джо знаками объясняет Викки, что надо уходить.

**Аннабелла.** Не понимаю, куда запропастилась моя горничная! (Кричит) Аннет! (Обращаясь к гостям) Извините, я сейчас (уходит на кухню).

## КУХНЯ

Входит Аннабелла. Служанка, блондинка с утомленным лицом, неряшливая и, видимо, забитая, обедает. Аннабелла подходит прямо к шкафу, говоря:

**Аннабелла.** Оглохли вы, что ли? Я надрываюсь, а она...

**Служанка.** Извините, сударыня, я не слыхала.

**Аннабелла.** Не хотели слышать.

Берет из шкафа бутылку коньяку и подходит к столу.

**Аннабелла.** Гм... бараньи котлеты! А где же та рыба, что осталась от завтрака?

**Служанка.** Я ее выбросила... Там были одни кости.

**Аннабелла.** Хватило бы вам на обед... Выбрасывать еду в такое тяжелое время!

**Служанка.** Извините, сударыня... Я не ем рыбы.

**Аннабелла.** Вот как! Не едите рыбы! Ну, так я найду сто девушек, которые едят рыбу. Можете забирать свои пожитки и уходить.

Идет в столовую.

**Аннабелла** (про себя). Это мне нравится! Бараньи котлеты на обед! А завтра ей уже баранины будет недостаточно, она захочет бифштекс!

## СТОЛОВАЯ

Входит Аннабелла.

**Аннабелла.** Ей требуется бифштекс!

**Викки.** Чем ты расстроена?

**Аннабелла.** Ах, эта прислуга!

**Викки.** Да, с ними нужно терпение!

**Аннабелла.** Нет, я терпеть не намерена. Я ее выставлю немедленно. Но капитан приедет, а я без прислуги!

**Джо.** Мы сматываемся, Аннабелла.

**Аннабелла.** Ну отчего?

**Викки.** Не хотим мешать. Ведь вы с ним не виделись полтора месяца.

**Аннабелла.** Не глупи. Капитан мой не кусается! К тому же ты еще мне не погадала. Ну давай, Викки.

**Викки** смотрит на **Джо**, тот пожимает плечами, словно говоря: «Что поделаешь?»

**Джо.** Ладно, посидим до его прихода.

**Викки** подает **Аннабелле** колоду карт, та их тасует.

**Викки.** Теперь раздели колоду на три части.

**Аннабелла** делает это.

**Джо.** И долго капитан пробудет здесь, Аннабелла?

**Аннабелла.** Ровно неделю... Потом опять в плавание.

Во время этого разговора **Викки** собирает со стола карты и рассматривает их.

**Викки.** Опять на полтора месяца?

**Аннабелла** (кивает головой). Да.

**Викки.** Это имеет свои хорошие стороны.

**Аннабелла.** Ну нет. До этого я еще не дошла.

**Служанка** (входит). Вас просит к телефону господин Чаллен.

**Аннабелла.** Скажи, что меня нет дома.

**Служанка** уходит.

**Аннабелла.** Этот тип меня уморит, ей-богу!

**Джо.** Чего ему надо?

**Аннабелла.** Хочет, чтобы я купила у него акции... Какой-то новый аппарат для добывания газа из соленой воды.

**Джо.** Вам теперь, наверное, не дают покоя?

**Аннабелла.** И не говорите! С тех пор, как я выиграла в лотерею, меня осаждают сотни людей!

**Викки.** На твоём месте я бы поостереглась...

**Аннабелла.** Не беспокойся. Хоть бы они на парашюте спустились в мою квартиру, ничего не добьются!

**Джо** (скептически). Из соленой воды газолин?

**Аннабелла** (серьезно). Все-таки мне кажется, это хорошая идея.

**Викки** (глядя в карты). Боже, какие счастливые карты! Не удивительно, что она выиграла в лотерею!

**Аннабелла.** А что, опять будет удача?

**Викки.** Вполне возможно.

Снимает верхнюю карту с последней кучки. Это оказывается туз пик. Аннабелла успевает его увидеть раньше, чем Викки собрала карты.

**Аннабелла.** Пиковый туз!.. Какое же тут счастье? Эта карта предвещает смерть.

**Викки.** Не волнуйся. Тебе так везет, что если бы у тебя была вывихнута шея и ты бы поскользнулась, наступив на банановую корку, при падении шея бы выпрямилась.

Звонок с улицы.

**Аннабелла.** Это капитан!

Быстро идет в переднюю и отпирает дверь. Входит капитан (Верду). Верду выглядит очень эффектным и щеголеватым в полной морской форме.

**Аннабелла.** Луи! Мой котик!

Он обнимает ее.

**Верду** (торжественно). Аннабелла!

Она отодвигает его от себя и любитесь им.

**Аннабелла.** Мм... У тебя такой бравый вид. Настоящий морской волк!

Аннабелла ведет Верду за руку в гостиную.

**Аннабелла.** Пойдем... я тебя познакомлю с моими друзьями... Викки, это капитан Бонер... А это — Викки... ей-богу, я забыла твою новую фамилию...

**Викки.** Дармон... Но вы можете звать меня просто Викки.

**Верду.** Очень приятно...

**Аннабелла.** А это — Джо Дармон.

Верду молча кланяется Джо.

**Джо.** Здравствуйте. (Аннабелле) Нам пора сматываться. (Верду) Извините... Очень рад познакомиться с вами, капитан... Э...

**Викки** (тихонько подсказывает ему). Бонер.

**Джо.** Бонер? Что ж, остается только сказать — «бон суар».

Аннабелла провожает гостей в переднюю, затем возвращается к Верду.

**Аннабелла.** Котик!

**Верду.** Кто эти люди?

**Аннабелла.** Мои друзья. Я с ними познакомилась на скачках.

**Верду.** Будь осторожна... Ты слишком легко заводишь знакомства с кем попало. Помни, нагнуться стоит только затем, чтобы подобрать что-нибудь путное!

**Аннабелла.** Ну, будет о них толковать. Скажи-ка лучше, почему ты опоздал на целых два дня.

**Верду.** Прости, мой ангел... видишь ли, когда мы проходили проливы, поднялся зюд-вест и посадил нас на мель. Пришлось ждать, пока прилив снимет нас.

Аннабелла делает вид, что слушает, но мысли ее заняты другим.

**Аннабелла.** Какая неприятность!.. Но скажи, ты вел себя примерно?

**Верду.** Что за вопрос!

**Аннабелла.** Не путался там с туземками?

**Верду.** И как это тебе могло прийти в голову?

**Аннабелла** (злобно). Когда ты в плавании, мне приходит в голову все, что угодно.

**Верду** (с ласковой укоризной). Вот видишь, как мы по-разному любим: у меня в разлуке только одна мысль — о тебе.

**Аннабелла.** Так я тебе и поверила!

**Верду.** Каждую минуту... в каюте, на капитанском мостике, даже на корме я не переставал думать о тебе... Старался угадать, что ты тут делаешь, с кем встречаешься.

**Аннабелла** (обнимая его). Мой котик!

**Верду** (увлекаясь). И когда я оставался один, ночью... под звездным небом тропиков... и из салона лились сладкие звуки венского вальса...

**Аннабелла.** Музыка — на грузовом пароходе?

**Верду** (спохватившись, быстро). Ну, да... у нас есть радио (в замешательстве)... ты перебила меня, и я забыл, что хотел сказать.

**Аннабелла.** Ты говорил, что думаешь всегда обо мне.

**Верду.** О тебе? Ну, разумеется... да, да, о тебе... Я мечтал об этих дивных плечах... (гладит ее руку от плеча вниз)... и ручках... (сжимает ее руки)... и об этой прядке... (ласкает рукой прядь волос на ее затылке). О милой соблазнительной прядке... дай я поцелую это местечко!

Целует ее в затылок и морщится.

**Аннабелла.** Ах, как бы было хорошо, если бы тебе не нужно было опять уходить в плавание!

**Верду.** И я бы этого хотел, мой ангел. Я бы предпочел остаться дома и поухаживать за тобой.

**Аннабелла.** Так почему бы тебе и не остаться?

**Верду.** Дорогая, не могу я жить без заработка. Времена теперь трудные.

**Аннабелла.** Но у меня есть деньги.

**Верду.** Ну нет, я не способен пасть так низко — брать у тебя деньги. Ты это знаешь.

Она с улыбкой восхищения глядит на него.

**Аннабелла.** Но...

**Верду.** Я мог бы брать их только в том случае, если бы я их заработал... А тогда и у тебя была бы куча денег.

**Аннабелла.** Что ты хочешь сказать? Не понимаю.

**Верду.** Если бы ты поручила мне вести твои дела, я бы удвоил твое состояние.

**Аннабелла** (в ней сразу просыпается подозрительность). Нет, спасибо. Я сама могу вести свои дела.

**Верду.** Извини, моя милая, не могу с тобой согласиться.

**Аннабелла** (с раздражением). Мы уже не раз об этом говорили.

**Верду.** Беда в том, что ты мне не доверяешь.

**Аннабелла.** Я тебе доверяю, но...

**Верду.** Нет, не доверяешь! Не доверяешь! Вот что мне больно! Вот что омрачает мою любовь и мешает нашему счастью. Ты готова верить всем — только не мне! Другие могут тебя сколько угодно грабить, надувать, продавать тебе всякую ерунду... ты идешь на любое липовое дело, как рыба на приманку...

**Аннабелла.** Много ты понимаешь в коммерческих делах!

**Верду.** Гораздо больше, чем ты, моя милая.

**Аннабелла.** В прошлый раз ты примчался ко мне и стал уверять, что все банки накануне краха... и настаивал, чтобы я взяла все деньги из банка и хранила здесь в доме. Хорошо, что я тебя не послушалась.

**Верду.** Ладно. Оставим это.

**Аннабелла.** Только не злись, пожалуйста.

**Верду** (спокойно и с достоинством). Я не злюсь, Аннабелла. Я только хотел, чтобы ты не растранила попусту то немного, что осталось еще у тебя после всех твоих нелепых затей... покупки ничего не стоящих акций...

**Аннабелла.** Они не все такие...

**Верду.** Все без исключения.

**Аннабелла.** Я все-таки верю в Тихоокеанскую электрическую компанию.

**Верду.** О, господи!.. Еще новая афера!

**Аннабелла.** Я же тебе рассказывала... Они изобрели такую машину, которая плавает по волнам. Когда она качается вот так... (показывает

рукой), то приводит в движение колеса вот так... (вертит указательным пальцем другой руки), и от этого получается электричество.

**Верду.** А если море спокойно и волн нет — что тогда?

**Аннабелла.** Ах, не будь же таким пессимистом!

**Верду.** Вот это я и называю — бросать деньги на ветер. Ожидается инфляция. Скоро деньги потеряют всякую цену, — а ты приняла ли какие-нибудь меры?..

**Аннабелла** (желая его умиротворить). А что же, по-твоему, мне следует делать?

**Верду.** Поместить свои деньги разумно... и хотя бы безопасно... Купить что-нибудь, что имеет реальную ценность... землю, дома, а лучше всего — драгоценности.

**Аннабелла** (шелкнув пальцами). Ха-ха! Вот забавно...

**Верду.** Что забавно?

**Аннабелла.** А то, что я еще до твоего совета именно это самое и сделала!

**Верду.** Что сделала?

**Аннабелла.** Купила камни... Бриллианты.

**Верду.** У кого купила?

**Аннабелла.** У одного знакомого.

**Верду.** Зна-ко-мого?

**Аннабелла.** Ну, ну, не устраивай сцены... У Джо, мужа Викки. Ты их только что видел у меня.

**Верду.** Но кто же так покупает драгоценности!

**Аннабелла.** Не глупи... У Джо — «малина», он скупает краденое. Я сделала очень выгодную покупку... Такие крупные бриллианты — сто восемьдесят карат, а я заплатила за них всего двадцать тысяч франков.

**Верду.** Не может быть, чтобы ты отдала такие деньги за стекло!

**Аннабелла.** А вот отдала! И не за стекло!

**Верду.** Откуда ты знаешь?

**Аннабелла.** Да ты в уме?

Достает из-за пазухи мешочек и высыпает бриллианты на стол.

**Верду.** Дай-ка я посмотрю.

**Аннабелла.** Если только они меня надули... поганые мошенники! То-то они как горопились уйти!

**Верду.** Я тебе сейчас скажу, надули или нет.

Достает из жилетного кармана увеличительное стекло, каким пользуются ювелиры, и вставляет его в глаз. Берет со стола бриллиант.

**Верду.** Так и знал... Подделка! (Берет другой) Это стекло, дура, самое обыкновенное стекло!

Аннабелла громко вскрикивает и падает в обморок.

#### ТА ЖЕ КОМНАТА. ВЕЧЕР

Верду ходит взад и вперед. Часы пробили семь.

**Верду** (взглянув на часы). Семь. А мне нужно поспеть на восьмичасовой

**Аннабелла.** Неужели ты сейчас уедешь?

**Верду.** Я — капитан парохода. Я обязан быть там, когда идет ремонт

**Аннабелла.** Ремонт?

**Верду.** Ну да... Он чинится в доке.

**Аннабелла** (опять начинает плакать). А я остаюсь одна... Даже прислуги в доме нет.

**Верду.** Ничем не могу тебе помочь.

**Аннабелла** (жалобно). Зачем же ты приезжал?

**Верду.** Чтобы спасти тебя из лап мошенников, проходимцев, которые хотят тебя ограбить.

**Аннабелла.** Я их в тюрьму упеку!

**Верду.** Нет, этого ты сделать не можешь. Ты ведь покупала, заведомо зная, что бриллианты краденые (С презрением) Так бывает наказана нечестность.

Шагает по комнате.

**Верду.** Истратила пятьдесят тысяч франков, а что у тебя есть? Ничего... Ни одной ценной вещи, только этот дом, да и тот у тебя отберут, если будешь впутываться в разные незаконные дела.

**Аннабелла.** Ну, нет! Не отберут.

**Верду.** Непременно отберут.

**Аннабелла.** Нет, не отберут... Дом на твоё имя.

**Верду.** Что?!

**Аннабелла.** Я это сделала на прошлой неделе, потому что узнала, что уже добираются до моего текущего счета в банке.

**Верду.** До счета в банке?!

**Аннабелла.** Не волнуйся. Ничего у них не вышло. Я забрала свои деньги и спрятала в надежном месте.

**Верду.** Здесь, в доме?

**Аннабелла.** Где бы они ни были, никто их не отыщет.

**Верду** (негодую). Вот опять... Вечная подозрительность и недоверие ко мне.

**Аннабелла.** Да нет же, милый, ничего подобного. Это просто мой способ самозащиты, вот и все.

Лицо Верду принимает сосредоточенное, замкнутое выражение. Думая о чем-то, он ходит по комнате. Аннабелла в это время примеряет перед зеркалом шляпки. Надевает одну... Шляпка безобразна. Верду, занятый своими мыслями, случайно поднимает глаза. Перехватив его взгляд, Аннабелла улыбается.

**Аннабелла.** Нравится?

**Верду.** Примерь другую, я посмотрю, какая лучше.

Она надевает другую, которая еще хуже.

**Аннабелла.** Ну, как?

**Верду.** Первая к тебе больше идет (пауза). Знаешь, о чем я сейчас думал? Мне очень не хочется оставлять тебя одну в доме.

**Аннабелла.** Так не уезжай!

**Верду.** Я могу, пожалуй, уехать завтра утром.

**Аннабелла.** Оставайся! Мы сходим с тобой куда-нибудь, повеселимся. Чудесно проведем вечер!

**Верду.** Ты права. Хотя я и капитан и у меня есть обязанности, — но не могу же я оставить тебя одну здесь ночью.

**Аннабелла** (целуя его). Милый!

*Музыка*

### КАБАРЭ. НОЧЬ. ОЧЕНЬ ШУМНО

На высокой эстраде шесть герлс танцуют канкан, а внизу, в зале, танцуют посетители. Темп бешено веселый. Один мужчина нахлобучил дамскую шляпку на глаза, а его лысая макушка не прикрыта.

Аннабелла, танцуя с Верду, успевает палочкой губной помады намалевать какую-то рожу на лысой макушке танцующего впереди мужчины. Когда музыка умолкает, Аннабелла и Верду возвращаются к своему столику. Верду вдруг вспоминает что-то и встает.

**Аннабелла.** Куда ты?

**Верду.** Мне надо послать телеграмму на пароход.

**Аннабелла.** Так ты возвращайся поскорее.

**Верду.** Я на одну минуту. Аптека рядом.

**Аннабелла.** Аптека?!

**Верду.** Я обмолвился... Хотел сказать — почтовое отделение.

Уходит.

### АПТЕКА

Сюда доносится музыка из ресторана. Вся последующая сцена идет пантомимой. Входит Верду и говорит что-то аптекарю, а тот, выслушав, подходит к полке с лекарствами.

Полка, уставленная бутылками.

Рука аптекаря поднимается и берет с полки бутылку с хлороформом. Затем отливает из нее немного в склянку поменьше. Руки аптекаря закрывают склянку в бумагу. Аптекарь подает пакет Верду, и тот, приятно улыбувшись ему, выходит из аптеки.

### ЗАЛ РЕСТОРАНА

Верду идет к своему столу. Аннабелла сидит в обществе не знакомого Верду мужчины. Верду вопросительно смотрит сперва на него, потом на Аннабеллу.

**Аннабелла** (немного подвыпившая). А, Луи! Знакомься, это м-сье Чаллен... (Чаллену) Это мой муж, капитан Бонер.

**Верду** (сухо). Здравствуйте.

**Чаллен** (заискивающе). Добрый вечер. Я председатель Общества производства горючего из морской воды.

**Верду.** Ка-ко-го общества?

Подходит официант, подает Аннабелле бланк чека.

**Официант.** Вот чек, сударыня.

**Верду.** Это еще зачем?

**Аннабелла** (заполняя чек, говорит важно). Это так, одно частное дело, мой друг.

**Чаллен** (весело). Может быть, и вы этим делом заинтересуетесь? Аппарат для превращения соленой воды в газولين.

Аннабелла протягивает Чаллену чек.

**Верду.** Дайте мне чек!

Хватает чек и рвет на клочки.

**Чаллен.** Как вы смеете!..

Верду дает Чаллену пощечину, Чаллен отвечает ему тем же. Верду со всего размаха толкает его, их стол и соседний опрокидываются. Общее смятение..

### СПАЛЬНЯ АННАБЕЛЛЫ. НОЧЬ

Аннабелла в постели, она уже дремлет. Верду сидит в кресле, наблюдая за ней.

**Аннабелла.** Никогда больше не смей срамить меня перед людьми!

**Верду.** Я помешал тебе сделать глупость.

**Аннабелла.** Ну не такая уж я дура, как ты воображаешь. Я выиграла в лотерею... А ты и этого не сумел!

**Верду** (презрительно). Из морской воды газолин! Большой белиберды не придумаешь!

**Аннабелла**. Если это удастся, весь океан будет наш, — понятно?

**Верду**. Вздор!

**Аннабелла**. Ах, да ложись ты, наконец! Мне хочется спать.

Пауза. Верду бесшумно пересаживается так, чтобы лучше видеть Аннабеллу.

**Верду**. Сейчас, дорогая... Покойной ночи!

Аннабелла не отвечает — она уснула.

Верду тихонько снимает с себя шелковый галстук и кладет его на колени. Затем из кармана достает большой кусок ваты и кладет ее на галстук. Из другого кармана достает склянку с хлороформом, но в тот момент, когда он откупоривает ее, раздается храп Аннабеллы. Вздрыгнув от испуга, Верду сует склянку обратно в карман. Затем, убедившись, что Аннабелла спит, опять откупоривает склянку, берет галстук в одну руку, склянку с хлороформом — в другую и крадется к постели. Вдруг снизу доносится какой-то шум: слышно, как открыли, потом захлопнули входную дверь. Верду застывает на месте. Торопливо прячет склянку и кляп в карманы. Слышно, как скрипят ступени — кто-то поднимается по лестнице. Верду выключает свет и, подкравшись к двери, прислушивается. Кто-то уже в коридоре. Верду бесшумно открывает дверь. В полумраке видно, что по коридору ошупью пробирается женщина.

**Верду**. Кто тут?

**Женщина** (сразу остановившись). Горничная, сударь.

**Верду**. Что вам нужно?

**Горничная**. Я хотела бы сегодня еще переночевать здесь.

**Верду**. Ведь вас рассчитали.

**Горничная**. Да, но мне пока некуда итти.

**Голос Аннабеллы**. Кто там?

**Верду**. Это твоя горничная.

**Голос Аннабеллы**. Чего ей надо?

**Верду**. Она хочет переночевать здесь.

**Горничная**. Пожалуйста, сударыня, голько эту ночь! Утром я уйду.

**Голос Аннабеллы**. Ладно... пусть остается.

**Горничная**. Спасибо.

#### ГОСТИНАЯ АННАБЕЛЛЫ. УТРО СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ

Аннабелла и Верду завтракают, она — в кашоте, он — вполне одетый. Входит горничная с кипящим кофейником и, поставив его на стол, выходит.

**Аннабелла**. Хочешь еще кофе?

**Верду**. Нет, спасибо, дорогая. (Помолчав) А ты ведь, кажется, ее выгнала?

**Аннабелла** (досадуя на свое великодушие). Я передумала.

**Верду** (с раздражением). А почему?

**Аннабелла** (философски). Такова уж я... Совесть не позволяет... Кроме того, никакая другая не пойдет на такое маленькое жалованье.

Часы бьют восемь раз.

**Верду**. У меня всего десять минут до отхода поезда.

Торопливо допивает кофе.

**Аннабелла**. Когда же я тебя снова увижу?

**Верду**. Постараюсь заехать до ухода в плавание. Во всяком случае, я тебе напишу...

## ПАРИЖ, В ОТДАЛЕНИИ ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ

## В СКЛАДЕ У ВЕРДУ

Верду и Дюваль медленно обходят помещение, загроможденное старинной мебелью, и осматривают все.

**Дюваль.** Такого кризиса мир еще не переживал никогда. Говорят, в Америке вчерашние миллиардеры торгуют на лотках яблоками. (Указывает на рояль) Стенвей?

**Верду.** Да.

**Дюваль.** Но кто теперь покупает рояли, когда можно слушать музыку по радио? (Указывая на стул) Старинные?

**Верду.** Времен Людовика XV.

**Дюваль.** Беда в том, что у людей не то что на мебель — на хлеб нехватает.

Долго рассматривает картины на стене.

**Дюваль.** Это гравюры...

**Верду.** Да.

**Дюваль** (с искренним восторгом). Какая прелесть! Как жаль, что люди не ценят искусства... Вы позволите еще раз взглянуть на ваши камни?

**Верду** (холодно). Пожалуйста.

Достаёт из внутреннего кармана бриллианты и кладет на стол. Дюваль вставляет в глаз увеличительное стекло и рассматривает их.

**Дюваль.** Да, раньше такие вещи ценились дорого... А сейчас их даже в ломбарде не заложишь. Сколько за все?

**Верду.** Семьдесят тысяч.

**Дюваль.** Ну, ну, пожалуйста, не смешите меня... Я просто не слышал того, что вы сказали!

**Верду.** Семьдесят тысяч франков.

**Дюваль.** Я бы теперь не дал семидесяти тысяч за весь Версальский дворец.

**Верду.** Верю вам. В таком случае прошайте, господин Дюваль.

**Дюваль.** Погодите... Что же, вы думали, что я так сразу и скажу «да»? Вы просите семьдесят тысяч... У меня есть только двадцать пять. На чем сойдемся?

**Верду** (хладнокровно). Семьдесят, и ни франка меньше.

Дюваль вынимает чековую книжку и начинает выписывать чек.

**Дюваль** (жалобно). И какая вам разница? Все равно спустите всё на бирже. Могли бы продать их мне подешевле!

**Верду.** Милейший, уж раз вы платите такую цену, значит это дешево.

Дюваль отдает ему чек и берет бриллианты.

**Дюваль** (выходя). А за мебелью я пришлю денька через два.

**Верду** (поднимаясь по лестнице). Не откладываете — мне нужно освободить место для новой партии. Я ее ожидаю на днях.

**Дюваль.** Теперь у вас, небось, дела по горло, а?

## КОНТОРА ВЕРДУ

Он входит, идет к письменному столу, отпирает левый ящик и ищет там что-то. Вынимает несколько фотографий пожилых женщин и, пересмотрев их, равнодушно рвет и бросает в корзину под столом. Потом открывает правый ящик. Там находит то, что искал, — телефонную книгу. Быстро перелистывает ее, доходит до буквы Г.

**СТРАНИЦА ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ С ФАМИЛИЯМИ НА БУКВУ «Г»**

**Верду** (говорит вслух). Г... Гро... Гроней.

Палец его находит номер телефона.

**Верду.** Ага, вот она — Гроней! (Набирает номер). Алло! Тридцать два-ноль-один, пожалуйста... Алло! Что, госпожа Гроней уже вернулась с дачи? Да?.. Это спрашивают из ателье Бенедикта. Дома нет? Когда она придет? В половине первого? Спасибо... Нет, передавать ничего не нужно, я позвоню.

Вешает трубку и списывает из телефонной книги в свою черную записную книжку адрес г-жи Гроней: Улица Клиши, № 321.

**ПОДЪЕЗД БОЛЬШОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА С НОМЕРОМ 321**

Верду ходит взад и вперед по тротуару перед домом. Делает несколько шагов, останавливается, идет обратно и смотрит на часы. Половина первого.

Часы показывают тридцать одну минуту первого. В то время, как Верду поднимает глаза от часов, к подъезду подъезжает такси. Верду тотчас принимает рассеянный вид случайного прохожего.

Г-жа Гроней, сплывая к Верду, выходит из такси и расплачивается с шофером. Верду рассчитывает свои движения так, чтобы г-жа Гроней, обернувшись, столкнулась с ним лицом к лицу. Но она слишком долго прячет сдачу в сумочку, так что он вынужден пройти мимо. Он поворачивает и идет в обратном направлении. Теперь он рассчитал точно. Он сталкивается с нею и снимает шляпу.

**Верду.** Виноват!

Отступает назад, изображая на лице радостное удивление.

**Верду.** Госпожа Гроней!.. Не узнаете?.. Капитан Бонер...

**Г-жа Гроней.** Кто?

**Верду.** То есть... Я имел честь с вами познакомиться на юге. Не припоминаете? Я — Варнэ, вы приходили осматривать мой дом. Кстати, он уже продан.

**Г-жа Гроней** (сухо, с подчеркнутой иронией). Да, теперь припоминаю.

**Верду** (просияв). Я хотел вам послать книгу по астрологии. Я уверен, что вы ее прочтете с большим интересом, так как она вникает в глубину вещей, а у вас есть такая склонность, это заметно. Но, к несчастью, я не знаю вашего адреса. Вы не желали сообщить мне его.

**Г-жа Гроней.** Совершенно верно.

**Верду.** Совершенно верно... совершенно верно... Конечно, я сознаю, что тогда испугал вас. Но если вы позволите мне попросить прощения и объясниться, я...

**Г-жа Гроней.** Нет. Благодарю. Никаких объяснений этот инцидент не требует. Прощайте!

Верду учтиво снимает шляпу, г-жа Гроней, рассерженная, входит в подъезд. Он пожимает плечами, смотрит на часы и уходит.

**ВХОД В ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН**

Верду с видом беспечного фланера проходит по бульвару и входит в магазин. За прилавком очень хорошенькая девушка лет восемнадцати.

**Цветочница.** Доброе утро, м-сье.

**Верду.** Мне нужны три десятка роз и букет орхидей. Вы их пошлете госпоже Гроней, улица Клиши, номер 321.

Девушка записывает.

**Цветочница.** Благодарю вас. Угодно карточку для письма?

**Верду.** Дайте пять штук.

**Цветочница.** Вот, пожалуйста (дает ему пять карточек).

**Верду.** Посылайте по этому адресу такое же количество два раза в неделю — всего пять раз.

Видны карточки, на которых пишет Верду во время дальнейшего разговора.

На первой:

„Умоляю меня простить. В.“

**Цветочница.** Будет сделано, м-сье.

Верду пишет на остальных четырех карточках:

„Я раскаиваюсь. В.“

„Вечно буду сожалеть“

„Умоляю простить“

„Умоляю, умоляю!“

**Голос Верду.** Сколько это будет стоить?

**Голос цветочницы.** Сейчас подсчитаю... значит, всего пять заказов... двести семьдесят франков, м-сье.

Верду достает деньги, расплачивается.

**Верду.** Сдачу оставьте себе.

**Цветочница.** Спасибо.

Верду уходит.

На экране колеса мчащегося поезда

#### СТОЛОВАЯ КОТТЕДЖА. ВЕЧЕР

Верду, жена Верду Мона и чета Ботелло сидят у камина. Они только что отобедали.

**Мона.** Еще стаканчик, Марта?

**Марта.** Нет, спасибо.

**Мона.** А вы, Морис?

**Ботелло.** Спасибо, Мона.

Верду подходит к столу и наливает ему стакан. Раньше чем сесть на место, кладет на низенький столик за своим креслом блокнот и карандаш.

**Ботелло.** Ну, Анри, надеюсь, теперь вы больше будете бывать дома?

Верду не слышит. Развалившись в кресле, он о чем-то сосредоточенно размышляет.

Мона отвечает за него.

**Мона.** Нет, не надейтесь, Морис... он не может ни минуты оставаться без дела.

**Верду.** Такая уж теперь угарная жизнь... нас целиком засасывает вечная суета и спешка. Но я всегда с нетерпением ожидаю этих мирных вечеров, которые мы проводим вместе, и интересных бесед о чудесах вашего ремесла.

**Ботелло.** Жаль, что вы не изучали химию, Анри. Вы так ею увлекаетесь!

**Верду.** Да, мой друг, химия — это материальная форма метафизики.

**Ботелло (смеясь).** Вы — мистик.

**Верду.** Помните, мы как-то говорили об одном изобретенном вами способе умерщвления животных?

**Ботелло.** Очень хорошо помню.

**Верду.** Рецепт для применения в ветеринарной медицине. Смертельный яд без всякого запаха и вкуса... Ни боли, ни судорог. Животное выпивает его, через час сладко засыпает, и смерть наступает во сне.

**Ботелло (довольный).** Какая у вас замечательная память!

**Верду.** Я помню все, что вы рассказывали о своих экспериментах. Вы брали, кажется, три составных части — цианистый кали, бромистый этил и... еще что-то третье.

**Ботелло.** Да, это очень интересный опыт для фармацевта. Бромистый этил и сам по себе вызывает смерть от удушья, а для того, чтобы замедлить разрушающее действие цианистого кали, мы прибавляем С2НС.

**Верду.** Ага... С2НС.

Он опускает руку за спинку своего кресла к карандашу и блокноту на столике и записывает на блокноте: «С2НС».

**Ботелло.** Это замораживающий реактив... Результаты очень любопытные. Животное глотает яд — и разрушение тканей происходит не сразу, а постепенно. Через какой-нибудь час действует цианистый кали. Симптомы те же, что при болезни сердца... Спазмы — и конец!

**Верду.** Что же вы сделали со своим изобретением?

**Ботелло.** Ничего. Оно забрановано Главным врачебным управлением.

**Верду.** Отчего?

**Ботелло.** Нашли, что оно слишком опасно, его нельзя разрешить для общего пользования. Ведь, как это ни странно, при вскрытии не удается обнаружить следа этого яда — ни в желудке, ни в крови. Вы себе представляете, какое это было бы орудие в руках закоренелого преступника?

**Верду.** Да, подумайте — сколько денег он мог бы выкачать у страховых обществ!

**Ботелло (хохочет).** Ха-ха-ха!.. А ведь это мысль! Возьму вас в компаньоны, и давайте работать!

**Верду.** Будем страховать людей, а затем они у нас будут умирать «от болезни сердца». Наживем миллионы!

**Ботелло.** Мне думается, если этим ядом отравить человека, яд обнаружится при вскрытии. Впрочем, утверждать не могу.

**Верду.** А почему вы так думаете?

**Ботелло.** У человека обмен веществ иной.

**Верду.** Это легко проверить.

**Ботелло.** Каким образом?

**Верду.** Вы говорите, яд действует через час?

**Ботелло.** Совершенно точно.

**Верду.** Очень просто. Приведите с улицы какого-нибудь беспризорного, отравите его и отправьте в ближайшую гостиницу. Когда человека находят мертвым в таком месте, его всегда вскрывают. И вы сможете узнать результат вскрытия, не подвергая себя ни малейшему риску.

**Ботелло.** Какой дьявольский план!

**Верду.** Но такие эксперименты пускай проделывают закоренелые преступники!

Оба смеются.

На экране колеса мчащегося поезда

Вывеска над входом в склад Верду:  
„Верду и сын. Стильная мебель.“

#### В КОНТОРЕ СКЛАДА. ВЕЧЕР

Верду один за письменным столом. Перед ним несколько склянок и маленькие аптекарские весы. Он переливает какую-то жидкость из двух склянок в лабораторную чашку и размешивает, затем из чашки выливает смесь в мензурку, а отсюда — в бутылку, которую тщательно закупоривает.

**Верду** (бормочет про себя). Бромистый этил... цианистый кали... С2НС... Готово. Теперь остается проделать опыт!

### УЛИЦА

Бедно одетая красивая девушка стоит в нише у входа в ателье дамских шляп. Два часа ночи, проливной дождь. Верду выходит из-за угла на пустынную улицу. Когда он проходит мимо, девушка окликает его.

**Девушка** (задорно). Алло!

**Верду**. Что вы здесь делаете в такой поздний час?

**Девушка** (усмехаясь). Ищу беды.

**Верду**. В таком случае, позвольте предложить вам свои услуги.

Они продолжают разговор, но вступает музыка и заглушает их голоса. Уходят вместе.

### КОМНАТА ПРИ СКЛАДЕ ВЕРДУ. НОЧЬ

Девушка (Ренэ) стоит посреди комнаты и оглядывает все вокруг. Верду стоит у патефона и отбирает пластинки.

**Верду**. Так вы из Бельгии?

**Ренэ** (кивая головой). Да, я сюда приехала во время войны.

**Верду**. Беженка, значит? (Она утвердительно кивает головой.) А где вы живете?

**Ренэ**. В гостинице «Лозанна», за Монмартром.

**Верду**. Ага... совсем близко отсюда.

**Ренэ**. Да, рядом.

**Верду**. Отлично. Что же вы не снимаете пальто?

**Ренэ**. Да, сейчас...

**Верду**. Позвольте мне...

Хочет помочь ей, но вдруг откидывается назад, увидев, что она что-то прячет под пальто.

**Верду**. Что это?

**Ренэ**. Котенок... я подобрала его, бедненького, у подъезда.

**Верду** (вешая ее пальто). Вы любите кошек?

**Ренэ**. Не очень. Но он весь мокрый и иззябший. У вас наверное не найдется для него молока?

**Верду**. Представьте, найдется! Видите, всё вовсе не так уж скверно, как вы думаете.

**Ренэ**. Разве я кажусь такой пессимисткой?

**Верду**. Да, кажется. И все-таки я не верю, что вы пессимистка.

**Ренэ**. Почему?

**Верду**. В такую ночь выйти на улицу могла только оптимистка. (Протягивая руку за котенком) Давайте его сюда.

**Ренэ** (хмуро, думая о чем-то). Нет, я далеко не оптимистка.

**Верду**. Обожглись?

**Ренэ** (саркастически). Вы необычайно наблюдательны.

**Верду**. И давно вы в таком бедственном положении?

**Ренэ** (неохотно). Очень давно.

**Верду**. Не верится.

**Ренэ**. Почему?

**Верду**. Такая красивая и умная девушка могла бы устроиться по-лучше.

**Ренэ** (легким тоном). Благодарю за комплимент.

**Верду**. Скажите правду — вы, должно быть, только что вышли из больницы или из тюрьмы?

**Ренэ** (благодарно, но с вызовом). А зачем вам это знать?

**Верду**. Затем, что я хочу вам помочь.

**Ренэ**. Вы, видно, филантроп?

**Верду** (вежливо). Вот именно... И ничего не прошу взамен.

**Ренэ** (пристально глядя ему в лицо). В чем тут дело?.. Армия спасения? (С вдруг проснувшейся подозрительностью) Тут какая-то ловушка!

**Верду**. Если вы так думаете... что ж, вы вольны идти своей дорогой.

**Ренэ** (отрывисто). Ну. хорошо, если уж хотите знать — я только что выпущена из тюрьмы.

**Верду**. За что вас туда посадили?

**Ренэ** (дернув плечами). Не все ли вам равно?.. За кражу...

**Верду**. Кражу?!

**Ренэ**. Да. Мелкую кражу — так они это называли... Я заложила в ломбард взятую на прокат швейную машину.

**Верду**. О, боже!.. Неужели вы не могли придумать ничего лучше?

Ренэ только усмехается в ответ.

**Верду** (продолжая). И сколько времени вы были в тюрьме?

**Ренэ**. Три месяца.

**Верду**. Бедняжка! Ну, да не горюйте. Ничто не вечно в этом грешном мире... даже несчастье. Есть хотите?

Она утвердительно кивает головой и грустно улыбается.

**Верду**. Тогда помогайте: пока я займусь кулинарными операциями, вы принесите сюда из кухни все, что нужно... Пойдемте (Выходят).

## КУХНЯ

Верду готовит яйца и все остальное и в то же время помогает девушке собирать на поднос посуду. Музыка звучит в продолжение всей этой сцены.

**Верду**. Несите в комнату, а я сейчас приду.

Верду смотрит, ушла ли девушка, затем торопливо открывает шкафчик и достает яд. Откупоривает бутылку красного вина и вливает туда яд, потом опять закрывает пробкой. Ставит бутылку и два стакана на поднос и уходит в комнату.

## КОМНАТА

Девушка сидит за столом и читает. Потом, улыбаясь, откладывает книгу.

**Верду** (входя). Не знаю, по вкусу ли вам такое меню — яичница с ветчиной, гренки и стаканчик красного вина?

**Ренэ**. Чудесно!

Он снимает все с подноса и ставит на стол. Потом открывает бутылку.

**Верду**. Садитесь сюда, поближе.

**Ренэ**. Спасибо.

Оба садятся за стол. Ренэ зевает.

**Верду**. Вы, я вижу, устали, так я сразу после ужина отвезу вас в вашу гостиницу (берет бутылку).

**Девушка** (наблюдая за ним). Вы очень добры. Не могу понять, с какой стати вы все это делаете для меня.

**Верду**. А почему же? Разве некоторая доброжелательность в людях такая уж редкость?

Он наливает ей вина.

**Ренэ.** Я начинала так думать.

Он делает вид, что хочет налить вина и в свой стакан, но вдруг восклицает:

**Верду.** Ах, а гренки-то!

Выходит в кухню с бутылкой в руках.

### КУХНЯ

Верду входит.

**Голос Ренэ** (из комнаты). Не помочь ли вам?

**Верду.** Нет, не надо. Я сам.

Он поспешно берет другую бутылку, перекладывает на тарелку гренки и возвращается в гостиную.

### ГОСТИНАЯ

Верду из новой бутылки наливает вина.

**Ренэ** (озадаченно). Вы странный человек.

**Верду.** Чем же?

**Ренэ.** Сама не знаю.

**Верду.** Однако вы голодны — так действуйте!

Она откладывает книгу и медленно принимается за еду.

**Верду.** Что это вы читали?

**Ренэ.** Шопенгауэра.

**Верду.** Нравится?

**Ренэ.** Так себе...

**Верду.** Вы читали раньше эту главу о самоубийстве?

**Ренэ.** Нет. Мне это не интересно.

**Верду** (гипнотизируя ее взглядом). А если бы умереть было легко и просто? Скажем, вы легли спать, совсем не думая о смерти, — и вдруг все кончилось бы во сне. Разве это не лучше, чем такое жалкое существование?

**Ренэ.** Не знаю, право...

**Верду.** Страшно только ожидание смерти.

**Ренэ** (размышляя). Мне кажется, если бы нерожденный сознавал, что ему предстоит начать жить, он бы ждал этого с наименьшим страхом.

**Верду.** Гм...

Он одобрительно улыбается и пьет. Ренэ берет свой стакан, хочет поднести его к губам, но останавливается.

**Ренэ** (задумчиво). И все-таки жизнь — замечательная штука.

**Верду.** А что же в ней замечательного?

**Ренэ.** Всё. Весеннее утро, летний вечер... музыка, искусство, любовь...

**Верду** (презрительно). Любовь!

**Ренэ** (мягко, но с вызовом). Да, существует такая вещь.

**Верду.** Откуда вы это знаете?

**Ренэ.** Я любила одного человека.

**Верду.** То есть у вас было к нему физическое влечение?

**Ренэ.** В настоящей любви это не главное.

**Верду.** А разве в женской любви бывает еще что-нибудь?

**Ренэ.** Вы женоненавистник?

**Верду.** Наоборот, я большой любитель женщин, но я о них невысокого мнения.

**Ренэ.** Почему?

**Верду.** Очень уж они земные... трезвые... они в плену у физических фактов.

**Ренэ** (недоверчиво). Какой вздор!

**Верду.** Женщина всегда презирает мужчину, которому она изменила. Как бы добр и благороден он ни был, она готова променять его на другого, который неизмеримо ниже, если внешность у того привлекательная.

**Ренэ.** Как мало вы знаете женщин!

**Верду.** Вы так думаете?

**Ренэ.** Это не любовь.

**Верду.** Вот как? А что же вы называете любовью?

**Ренэ.** Любить — это всю себя отдавать... жертвовать всем... чувствовать к человеку то, что мать чувствует к своему ребенку.

**Верду** (усмехаясь). А вы так любили?

**Ренэ.** Да.

**Верду.** Кого же?

**Ренэ.** Мужа.

**Верду** (удивленно). У вас есть муж?

**Ренэ.** Был... он умер, когда я сидела в тюрьме.

**Верду.** Неужели?.. Расскажите мне о нем.

**Ренэ.** Это долго рассказывать... (Помолчав) Он был ранен на фронте... стал на всю жизнь калекой...

Верду наклоняется через стол к Ренэ.

**Верду.** Калекой?

**Ренэ** (кивает головой). Вот оттого-то я так его и любила. Я ему была необходима... Ведь он был совсем беспомощен. Все равно как ребенок. Но для меня он был больше, чем ребенок. Я на него молилась... надыхаться не могла. Я для него готова была убить, если бы это понадобилось! (Глокает слезы). Нет, любовь не выдумана, она существует, и она сильнее нас...

Она умолкает.

**Ренэ.** Однако... я забыла про вино.

Хочет отпить из своего стакана, но Верду останавливает ее руку.

**Верду.** Погодите-ка... У вас в вине плавают кусочки пробки... Сейчас перемену стакан.

Верду берет из руки девушки стакан с вином и оставляет его на буфет, достает чистый стакан и наливает вина из своей бутылки сначала ей, потом себе. Он опять садится за стол. Оба, задумавшись, медленно пьют вино. Верду хочет налить ей еще стакан.

**Ренэ** (качая головой). Нет, нет, спасибо.

Верду оставляет бутылку. Ренэ зеваает. Он смотрит на часы.

**Верду.** Ого, уже очень поздно, и вы устали.

Верду встает.

**Верду.** Возьмите... (дает Ренэ денег). С этим вы как-нибудь переберетесь день-другой.

Берет ее руку в свои и говорит с искренним чувством:

**Верду.** Всего вам хорошего!

Ренэ смотрит на деньги.

**Ренэ.** О, это слишком много... Я не думала... (закрывает лицо руками). Извините, я глупо веду себя... Понимаете, я... уже совсем изверилась, и вдруг такой случай... и опять хочется верить во все хорошее.

**Верду.** А вы не очень верьте. Мир жесток, и надо быть жестоким и злым, чтобы прожить в нем.

**Ренэ** (тряхнув головой). Неправда. В жизни много несправедливого... и очень печального... но капля доброты иногда делает ее прекрасной.

**Верду.** Идите с богом, пока вы меня не испортили вашей философией.

Ренэ, смеясь, надевает пальто, которое подает ей Верду. Затем он открывает дверь и зажигает свет на лестнице.

**Верду.** Покойной ночи.

Целует ей руку.

**Ренэ.** Прощайте.

Сходит вниз, по дороге оглядывается и улыбается. Верду, закрыв дверь, с усмешкой пожимает плечами, презирая себя за сентиментальность.

### БОЛЬШАЯ КОРЗИНА ЦВЕТОВ. ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН. УТРО

Цветочница хлопочет около корзины цветов, устанавливая ее в витрине. Сквозь стекло видно, как Верду проходит по улице мимо окна. Затем он входит в лавку.

**Верду.** Доброе утро, мадмуазель. Нет ли для меня письма?

**Цветочница** (с улыбкой). Пока нет, м-сье.

**Верду.** Все еще нет? Гм... (соображая). Сколько раз вы уже послали цветы?

**Цветочница.** Два раза. Вы ведь просили посылать каждые три дня.

**Верду.** Да, да. Значит, остается еще неделя.

**Цветочница.** Да, м-сье.

**Верду.** Так... так...

Стоит размышляя.

В окно виден сыщик Морро, он проходит, но затем возвращается и рассматривает цветы в окне.

Он видит Верду, разговаривающего с цветочницей.

**Верду.** Что ж, будем продолжать в том же духе и ожидать успеха.

**Цветочница** (смеясь). Да, м-сье.

**Верду** (весело). До свиданья, мадмуазель.

**Цветочница.** До свиданья, м-сье.

Верду выходит. Видно, как он проходит мимо окна. Морро все еще смотрит в окно. Через некоторое время он медленно поворачивается в ту сторону, куда пошел Верду, и идет за ним.

### ВЕРДУ НА УЛИЦЕ

Он идет веселый, жизнерадостный, шагая в такт музыке. Морро идет за Верду. Верду останавливается у витрины какого-то магазина. В зеркало видит проходящего Морро. Украдкой провожает его глазами.

### УЛИЦА, НА КОТОРОЙ НАХОДИТСЯ СКЛАД ВЕРДУ

Верду, перейдя через дорогу, подходит к своему складу и отпирает дверь.

### НА УГЛУ ТОЙ ЖЕ УЛИЦЫ

Морро стоит спиной к зрителю. В отдалении перед ним дверь склада. Морро, увидев, что Верду вошел внутрь, поспешно переходит на тот тротуар, направляется к двери и тихонько пробует открыть ее. Но она закрыта на ключ.

## ВЕРХНИЙ КОРИДОР СКЛАДА

Верду смотрит в окно вниз, на Морро, который пробует открыть дверь. Когда Морро поднимает голову, Верду мгновенно отскакивает от окна.

## ГОСТИНАЯ ВЕРДУ

Верду вернулся сюда из коридора. Через некоторое время слышен звонок внизу. Верду торопливо подходит к буфету, откупоривает бутылку вина, вливает туда яд и ставит бутылку и два стакана на поднос. Внизу, не переставая, трещит звонок. Верду поспешно приводит себя в порядок перед зеркалом, затем с обычной развязностью и хладнокровием идет вниз и отпирает дверь.

**Морро.** Господин Верду?

**Верду.** Я.

**Морро.** Я агент полиции Морро. Мне нужно поговорить с вами.

**Верду.** К вашим услугам. Войдите, пожалуйста (указывает на лестницу) сюда.

Оба идут по лестнице и входят в гостиную Верду

## ГОСТИНАЯ

Верду предлагает Морро стул.

**Верду.** Садитесь, пожалуйста.

**Морро.** Спасибо.

Верду берет с буфета стакан, а со стола бутылку с отравленным вином.

**Верду.** Не угодно ли стаканчик?

**Морро.** Нет, нет, благодарю.

**Верду** (учтиво). Тогда я, с вашего разрешения, один выпью.

Наливает себе и садится со стаканом в руке.

**Морро.** Прежде всего я вам задам несколько вопросов.

**Верду.** Слушаю.

**Морро.** Давно ли вы торгуете мебелью?

**Верду.** Скоро три года.

**Морро.** Знаете ли вы некую Сельму Варнэ?

Верду откидывает голову с видом человека, который старается что-то припомнить.

**Верду.** Сельма Варнэ? Нет, не знаю.

**Морро.** А Лидию Флорэ?

**Верду.** Флорэ... Флорэ?..

**Морро.** Да... Лидию Флорэ из Лилля.

**Верду.** Нет, м-сье.

**Морро.** Вы женаты, не так ли?

**Верду.** Женат.

**Морро.** У вас жена и ребенок?

**Верду.** Совершенно верно.

**Морро.** А кем вам приходится Аннабелла Бонер?

**Верду.** Бонер?

**Морро.** Бесполезно все это, капитан... Вы проиграли, ваша карта бита. Я слежу за вами вот уж две недели. У вас было немало хлопот за это время — вы катались по всей стране. Следовало бы завести себе пару коньков.

**Верду** (после паузы). Жене моей уже все известно?

**Морро.** Нет. (Придвигает к себе бутылку и наливает вина в стакан).

Никто ничего не знает... даже в полицейском управлении. Я хотел сперва убедиться, что я на верном следу.

**Верду.** В чем вы меня обвиняете?

**Морро.** В многоженстве...

Залпом выпивает вино.

Верду, увидев это, медленно ставит на стол свой нетронутый стакан.

**Морро.** ...и в четырнадцати убийствах.

**Верду.** Поздравляю с успехом. Но что касается убийств — вряд ли вам удастся что-нибудь доказать.

**Морро.** Увидим.

**Верду.** Сначала нужно собрать улики.

**Морро.** Не беспокойтесь, мы найдем трупы.

**Верду.** Не думаю.

**Морро.** Во всяком случае мы вас арестуем за многоженство. Идемте.

**Верду.** Послушайте, Морро... вы сами знаете, — у вас нет никаких доказательств, что я убийца. Но если вы мне позволите до ареста увидеться с женой, я сам во всем признаюсь.

**Морро** (помолчав). Ладно, я согласен.

#### КУПЕ В ПОЕЗДЕ

Морро и Верду. Морро зевает раз, зевает другой и смотрит на часы.

**Морро.** Нам ехать еще час сорок минут. Я почему-то совсем раскис. Если вы не возражаете, я вздремну немножко.

**Верду** (шутливо). Дремлите себе на здоровье.

**Морро** (вынимая из кармана наручники). К сожалению, предосторожности необходимы. Вы меня извините...

**Верду.** О, разумеется...

Морро надевает одно кольцо на свою руку, другое на руку Верду. Снова зевает.

**Морро.** Иногда еще меня так не клонило ко сну... Должно быть, вино у вас крепкое.

Он захрапел. Верду быстро находит у него в кармане ключ, отмыкает им наручники и сует их обратно Морро в карман. Затем исследует бумажник Морро, но не берет ничего, даже денег. Поезд останавливается. Верду выходит, оставив в купе храпящего Морро.

#### ПАРИЖ, ВДАЛЕКЕ ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ

##### ДЕНЬ. ВЕРАНДА ПАРИЖСКОГО КАФЕ

Верду сидит за столиком и читает газету.

Страница газеты с сообщением:

*„Произведенным сегодня вскрытием тела сыщика Морро, найденного мертвым в вагоне Каннского экспресса, установлена естественная смерть, последовавшая от болезни сердца\*.*

Верду с довольной миной откладывает газету и, расплатившись, идет к стоянке автобуса на углу. Стоит и ждет.

*Музыка*

#### ШУМНЫЙ БУЛЬВАР

По бульвару идет девушка—Ренэ Дели. Подойдя к углу, она видит Верду и узкает его.

**Ренэ.** Алло!

Он приподнимает шляпу.

**Ренэ.** Вы меня не помните?

**Верду.** Да, да... Ну как вам живется на свете?

**Ренэ.** Есть на что поплакаться, но я не стану... Мне очень нужен хороший импрессарио. (С грустной усмешкой) Не знаете ли кого-нибудь, кто согласился бы занять эту должность?

**Верду.** Не знаю. Впрочем...

Достает из кармана деньги.

**Верду.** Но имейте в виду, — я не могу это делать постоянно. Вы сами понимаете...

**Ренэ.** О, нет, нет!.. Денег мне не нужно.

**Верду.** Так чего же вам нужно?

**Ренэ** (в замешательстве). Ничего... Я просто хотела с вами поговориться, вот и все.

**Верду** (скептически). Гм...

Она смеется, удивленная и немного задетая.

**Ренэ.** Вы не верите?

**Верду** (все еще скептически глядя на нее). Нет, отчего же... Все-таки возьмите (сует ей деньги).

**Ренэ** (теперь уже по-настоящему обиженная). Нет, нет... Не надо мне ваших денег!

**Верду.** Полно... Не глупите.

Насильно всовывает ей в руки деньги. Она принимает их, не глядя, не отрывая глаз от его лица. Но затем, боясь расчувствоваться и показать, как ее взволновала эта щедрость, говорит шутливо:

**Ренэ.** Ну, когда же вы опять позовете меня в гости?

Он любит ее, неожиданно открыв, что его влечет к ней. Но затем, рассердившись на себя за это, говорит грубо:

**Верду.** Слушайте... Идите себе с богом.

Подходит автобус. Верду вскакивает на подножку. Ренэ печально смотрит ему вслед.

### В КОНТОРЕ ВЕРДУ

Верду только что кончил готовить новую порцию яда и переливает яд из мензурки в бутылку из-под перекиси водорода. Завинтив пробку, он снимает трубку телефона.

**Верду.** Дайте междугородную... Алло! Вызовите Лион, пожалуйста... номер три-двадцать один. Мой номер Елисейские шесть-шесть-двадцать шесть. Спасибо.

Вешает трубку. Из ящика письменного стола достает страховой полис Аннабеллы и внимательно изучает ее подпись.

На экране видна подпись Аннабеллы на страховом полисе и рука Верду, несколько раз копирующая эту подпись.

Верду сравнивает сделанную его рукой подпись Аннабеллы с подлинной. В этот момент звонит телефон.

**Верду.** Алло!.. Аннабелла? Говорит твой голубок. Лечу домой... Что я здесь делаю? Да вот весь день проторчал в конторе пароходства... Нет, пароход все еще не спущен на воду. Повреждения оказались серьезнее, чем мы думали. Его все еще скоблят... Ха-ха-ха, ты всегда уж что-нибудь такое скажешь... Мы задержимся тут еще несколько дней... Нет, нет, незачем тебе сюда приезжать, я сейчас еду домой... Да, мой ангел.

Вешает трубку, затем открывает лежащий на столе саквояж и, поцеловав бутылку с этикеткой «Перекись водорода», укладывает ее в саквояж.

**ГОСТИНАЯ АННАБЕЛЛЫ**

Аннабелла вяжет, сидя в кресле. Горничная выпускает Верду и уходит.

**Аннабелла.** Голубок! (Встает с вязаньем в руках).

**Верду** (обнимая ее). Аннабелла!

Внезапно отшатывается назад.

**Аннабелла.** Осторожней! Уколешься! (Указывает на вязальные спицы).

**Верду.** Что это?

Она показывает детский чулочек, который только что вязала.

**Аннабелла.** Посмотри, как мило! Это для моей соседки.

Верду облегченно вздыхает.

**Аннабелла.** Она должна скоро родить.

Верду улыбается с притворным умилением.

**Аннабелла.** Я так рада, что ты приехал, милый! Меня беспокоит вопрос о доме: хочу опять перевести его на мое имя.

**Верду.** Ну, что ж, хорошо. Когда ты хочешь этим заняться?

**Аннабелла.** Сразу же! Давай, сейчас сходим к нотариусу.

**Верду.** Как, сегодня?

**Аннабелла.** Ну, да, я хочу поскорее с этим развязаться.

**Верду.** Успеешь и в понедельник.

**Аннабелла.** А почему бы не сейчас?

**Верду.** Ах, дорогая, только не сейчас! Ведь и десяти минут нет, как я приехал. Как ты думаешь, — ради чего я так спешил домой? Я хочу, чтобы нынешний день был весь мой... каждая минута! Я так мечтал о нем... представлял себе, как мы проведем его вдвоем — только ты да я... Будем сумерничать наедине...

**Аннабелла.** Ну, ладно... Раз так, отложу это дело до понедельника.

**Верду.** Чудесно! Обедать будем дома, вдвоем... и сами всё себе приготовим, а прислугу отпустим на весь вечер.

**Аннабелла.** Если бы я знала, что мы так проведем вечер, я бы...

Она в радостном возбуждении вскакивает, идет к лестнице и зовет:

**Аннабелла.** Лизетта!

**Голос Лизетты.** Я здесь.

**Аннабелла.** Вы мне сегодня больше не понадобится. Можете идти гулять.

**Голос.** О, спасибо, сударыня.

**КУХНЯ В ДОМЕ АННАБЕЛЛЫ. ВЕЧЕР**

Верду хозяйничает на кухне, Аннабелла рядом в кладовой шинкует капусту.

**Верду.** Какое вино ты хочешь, дорогая?

**Аннабелла.** Бордо, пожалуй, лучше всего, котик.

Верду берет из шкафа бутылку бордо и, крадучись, выходит из кухни.

**ПЕРЕДНЯЯ**

Верду бесшумно поднимается наверх, к себе в спальню.

**СПАЛЬНЯ**

Верду входит, поспешно открывает свой саквояж, вынимает бутылку с ярлыком «Перекись водорода» и быстро идет в ванную.

### ВАННАЯ

Верду входит. Отвинтив пробку бутылки с ядом, он от удовольствия щелкает пальцами, но увидев, что забыл захватить пробочник для бутылки бордо, торопливо уходит.

### СТОЛОВАЯ

Верду входит и выдвигает ящик буфета.

**Голос Аннабеллы** (из кухни). Луи, ты где?

**Верду.** Здесь, в столовой, мой ангел.

**Голос Аннабеллы.** Поди-ка сюда на минуточку.

Он ищет предлога отказаться, но, вдруг передумав, выходит, оставляя бутылку бордо на буфете.

### КУХНЯ

Входит Верду.

**Верду.** Зачем ты меня звала?

**Аннабелла.** Открой банку анчоусов.

### ВЕРХНИЙ КОРИДОР

Горничная проходит по коридору с распущенными волосами, с блюдечком в руках. Входит в ванную.

### ВАННАЯ

Горничная берет из шкафчика непечатую бутылку с перекисью, но, увидев оставленную на полочке открытую бутылку, быстро ставит непечатую обратно в шкаф и наливает в блюдечко немного жидкости из бутылки Верду. Ей показалось, что кто-то идет, она быстро оборачивается и с испугу роняет бутылку на пол.

**Голос Аннабеллы.** Лизетта, что вы там натворили?

**Горничная.** Ничего, сударыня.

**Голос Аннабеллы.** Разбили что-нибудь?

**Горничная.** Нет... Закрываю окно.

**Голос Аннабеллы.** Надо делать это осторожнее!

Лизетта торопливо сметает в совок осколки, потом открывает шкафчик, достает оттуда полную бутылку перекиси и, отлив из нее немного в раковину, ставит бутылку на то место, где стояла бутылка Верду, и быстро уходит к себе в комнату с блюдечком в одной руке и совком — в другой.

### КУХНЯ

Аннабелла кончает готовить паштет. Верду передает ей вскрытую коробку анчоусов и выходит.

### ГОСТИНАЯ

Верду вбегает, хватая бутылку бордо и пробочник и выбегает.

### ВАННАЯ

Входит Верду. Быстро откупоривает бутылку бордо, отливает часть вина в раковину, вливает взамен все содержимое бутылки с перекисью. Снова закрывает бутылку бордо пробкой в которой торчит пробочник, уходит в спальню.

## СПАЛЬНЯ

Верду входит, прячет бутылку из-под перекисы в свой саквояж, лежащий на кровати, и бежит вниз, в столовую, с бутылкой бордо в руках.

## СТОЛОВАЯ

Верду входит с бутылкой, ставит ее на круглый серебряный подносик на буфете. Услышав шаги Аннабеллы, хватает бутылку, делая вид, что сейчас только раскупорил ее. Входит Аннабелла.

**Аннабелла.** Обед будет готов часа через полтора. Всѣ уже в духовке.

**Верду.** Bravo! После таких трудов ты заслужила стаканчик вина. Открывает бутылку, ставит ее на поднос, а поднос — на край стола, ближе к камину.

**Аннабелла.** Несомненно.

Садится на диванчик у камина. Верду придвигает стул и садится против нее. Наливает ей вина, а бутылку ставит перед нею. Аннабелла жадно пьет.

**Аннабелла.** Мм... хорошее вино... очень сухое. Я люблю сухое вино... Чем больше его пьешь, тем больше хочется пить (облизывает губы.) Налей мне еще.

Он наливает ей еще стакан.

**Аннабелла.** А себе что же?

**Верду.** Нет, я буду пить сарсапариль.

**Аннабелла.** Сарсапариль!

**Верду.** Что подделаешь, мой друг, предписание врача!

**Аннабелла.** Как нам будет весело! Я предвижу, что мы кончим партией в домино.

Пока она говорит, Верду идет к буфету, открывает бутылку сарсапарилья, наливает себе стакан и садится на прежнее место, поставив стакан на тот же поднос, рядом со стаканом Аннабеллы.

## КОМНАТА ГОРНИЧНОЙ НАВЕРХУ

Лизетта макает зубную щетку в налитый на блюдечко яд и втирает жидкость в волосы.

## СТОЛОВАЯ

Аннабелла начинает ощущать действие вина. Она попрежнему сидит на диванчике. Верду с напряженным вниманием наблюдает за ней.

**Аннабелла.** Что это за новость? Что с тобой? Я выпила уже целую бутылку, а ты и не дотронулся до своей.

Верду продолжает наблюдать за ней.

**Аннабелла.** Что же ты сегодня так холоден? Кто уговаривал меня побыть наедине? Обманщик!

Она встает, чтобы пересесть к нему на колени. Задевает при этом платьем серебряный подносик, и он передвигается на столе таким образом, что стакан Аннабеллы оказывается ближе к камину, а стакан Верду дальше. Аннабелла тяжело плюхается на колени к Верду.

**Верду.** Ох, милочка!..

**Аннабелла.** Вечно ты недоволен!

**Верду.** Вовсе нет.

**Аннабелла.** Ну, когда же будет то, что ты обещал?  
**Верду** (обнимает ее). Допивай свое вино.

Она тянется к столу и хочет взять его стакан.

**Верду.** Нет, нет, дорогая, я тебе подам его.

**Аннабелла**, пошатываясь, перебирается опять на свой диван. **Верду** берет стакан **Аннабеллы**, стоящий теперь на месте его стакана, и залпом выпивает его.

**Аннабелла.** Как ты можешь пить эту дрянь?

**Верду.** Это не дрянь, а очень приятная штука. У нее вкус настоящего вина. (Причмокнув губами) И очень крепкая притом.

**Аннабелла** наблюдает за ним, как за человеком, принимающим лекарство.

**Аннабелла.** Сар-са-париль... Брр! (Морщится).

Она берет с подноса второй стакан и, отхлебнув, вдруг выплевывает обратно выпитое.

**Аннабелла.** Фу, вот это — сарсапариль!.. А ты выпил мое вино.

**Верду.** Что-о?!

Берет у нее из рук стакан и, понюхав, убеждается, что она права. Смысл происшедшего медленно доходит до его сознания. Он шатается, как пьяный, и в ужасе хватается за голову. **Аннабелла** вдруг понимает, что что-то неладно.

**Верду.** Вызови врача!

**Аннабелла.** Зачем?

**Верду.** Я умираю!

**Аннабелла.** Что?!

**Верду.** Нет... не надо!

**Верду** встает и, оттолкнув **Аннабеллу**, идет, спотыкаясь, на кухню. **Аннабелла** хочет выйти из столовой вслед за ним, но он захлопывает дверь перед ее носом.

**Аннабелла** (у двери). Голубок... Послушай! Что с тобой? Что такое?

#### КОМНАТА ЛИЗЕТТЫ

**Лизетта** тоже в ужасе. Она чешет волосы, а волосы лезут, она выбирает их целыми горстями.

#### СТОЛОВАЯ

**Аннабелла** все еще барабанит в дверь.

**Аннабелла.** Милый! Что случилось?

Дверь распахивается, и **Верду**, качаясь, входит. **Аннабелла** идет за ним. Он падает на диван.

**Верду.** Скорее доктора! Я умираю.

**Аннабелла.** Умираешь?!

Она вдруг пугается, бежит к лестнице и истерически кричит:

**Аннабелла.** Лизетта! Идите сюда скорей! Сейчас же!

**Голос Лизетты.** Иду.

**Аннабелла.** Милый, что такое? Скажи мне!

**Верду.** Я отравился... позвони моей жене.

**Аннабелла.** Да я здесь, с тобою, милый! Чего бы тебе дать такого...  
 стакан молока? (С тревогой) Но где же эта девка! Почему не идет?  
 (Оборачивается к двери).

Входит **Лизетта**. Волосы у нее торчат, как иглы у дикобраз.

**Аннабелла.** Господи помилуй, что с вашими волосами?

Лизетта ошеломленно качает головой.

**Лизетта.** Сама не знаю, сударыня.

**Аннабелла.** Скорее! Вызовите доктора!

Лизетта идет в переднюю к телефону.

#### ГОСТИНАЯ АННАБЕЛЛЫ НА ДРУГОЕ УТРО

Верду, укутанный в одеяло, сидит в кресле перед огнем. Доктор собирается уходить.

**Доктор.** Беспокоиться нечего, сударыня. Если это и был яд, то его уже теперь, после выкачивания, в желудке нет и следа. Как себя чувствует ваша горничная?

**Аннабелла.** Она ничего, но вид у нее ужасный!

**Доктор.** Удивительно, что вы не пострадали!

**Аннабелла** (самоуверенно). О, меня ничего не берет.. Я под счастливой звездой родилась.

**Доктор** (обращаясь к Верду). Так вы продолжайте принимать это лекарство дней семь-восемь, и всё будет в порядке.

Доктор идет в перелюю, Аннабелла его провожает.

**Доктор.** Хорошо бы увезти его на несколько дней за город... горный воздух вам обоим будет полезен.

**Аннабелла.** Спасибо, доктор

Запирает за ним дверь и возвращается в гостиную.

**Аннабелла.** Ты слышал, что он сказал, голубок? Чтобы мы с тобой уехали куда-нибудь — в горы.. Вдвоем, ты да я Это будет замечательно, правда?

**Верду.** Чудесно!

#### ОЗЕРО В ГОРАХ

Дикая горная природа вокруг. На середине озера медленно движется какое-то пятнышко.

#### ПЯТНО ПРИБЛИЖАЕТСЯ И ОКАЗЫВАЕТСЯ ЛОДКОЙ

Верду гребет Аннабелла с шумным восторгом любителю видами

**Аннабелла.** Смотри, милый — нигде ни души!

**Верду.** Прелестно.

**Аннабелла.** И как это мы раньше не догадались сюда поехать!

**Верду.** Да, жаль.

Аннабелла оборачивается, чтобы посмотреть на Верду Он в эту минуту нащупывает под лавкой веревку и гиру

**Аннабелла.** Что у тебя там?

**Верду.** Это? Это якорь. Я взял его на тот случай, если мы вздумаем удить рыбу.

**Аннабелла.** Здесь можно наловить кучу рыбы.

Наклоняясь через борт, смотрит в воду и вдруг радостно вскрикивает.

**Аннабелла.** Ой, вот я уже вижу одну, громадную!.. Какое чудовище! Нет, это мое отражение.. Как глупо! Себя не узнала..

Верду сладко улыбается Аннабелла опускает руку в воду.

**Аннабелла.** Теплая Как жаль, что я не умею плавать, — я бы купалась!

**Верду.** Тебе этого хочется?

**Аннабелла.** Да, мне вдруг очень захотелось.

Он следит за нею, выжидая чего-то. Она засмотрелась на горы, он бормочет про себя:

**Верду.** Гм... Попробуем.

**Аннабелла.** Ты меня научишь плавать?

**Верду.** Постараюсь.

Она опять смотрит через борт в воду и приходит в волнение.

**Аннабелла.** Вот рыба! Настоящая! Давай удочку, живее!

**Верду.** Ну, ну, не волнуйся.

Аннабелла перегнулась через борт так, что чуть не опрокинула лодку.

**Аннабелла.** Поздно! Уплыла! (Сердито) Если бы ты мне сразу дал удочку, я бы ее поймала.

**Верду.** Милочка, сперва надо насадить приманку.

**Аннабелла.** Так насади!

Верду все с тем же изучающим выражением лица, продолжая медленно грести, наблюдает за Аннабеллой.

Аннабелла опять смотрит в воду и видит другую рыбу. Она в безумном волнении молча жестикулирует левой рукой, требуя от Верду удочку.

**Аннабелла** (шёпотом). Удочку... живо!

**Верду.** Сперва надо насадить на крючок приманку.

**Аннабелла.** Ну скорее! Не копайся так!

**Верду.** Подожди, пока я насажу приманку.

**Аннабелла.** Идиотство!.. Пока ты будешь ее насаживать, рыба уплы-вет... Соображать надо!

Аннабелла вырывает у Верду удочку, закидывает ее назад — при этом крючок зацепляется за шляпу Верду, затем вперед — и тогда шляпа летит в воду.

**Аннабелла.** Как она попала в воду?

Нагибается и достает шляпу. Верду в угрюмом молчании отцепляет ее от крючка.

**Аннабелла.** Уж не думаешь ли ты, что это хорошая приманка для рыбы?

Верду, не отвечая, насаживает на крючок червяка.

**Аннабелла.** Что ты делаешь?

**Верду** (медленно и раздельно). Насаживаю на крючок червяка.

**Аннабелла.** Червяка... Фу! Гадость какая! И ты думаешь, я буду есть рыбу, которая нажралась червей?

**Верду** (сдерживая ярость). Хорошо, милочка, будем удить без червяков.

Снимает червяка и передает удочку Аннабелле.

**Аннабелла** (очень довольная собой). Вот и отлично!

Верду медленно гребет на середину озера. Оба смотрят друг на друга.

**Аннабелла.** Ты сердисься, котик?

**Верду** (с вымученной улыбкой). Я?.. Ничуть.

**Аннабелла.** Нечего сердиться, раз сам виноват.

Верду улыбается ей с ласковой снисходительностью.

**Аннабелла.** Что ж... Человек не может быть всегда прав... Ой, кажется, клюнуло! (Смотрит в воду) Сколько там рыбок! Они обнюхивают крючок!

Верду опять украдкой нашарил под лавкой веревку и начинает расправлять петлю на конце, но в эту минуту Аннабелла неожиданно поднимает глаза.

**Аннабелла.** Гребни немного назад!

Верду мгновенно принимает безмятежный вид. Аннабелла опять нагибается через борт и глядит в воду. Верду продолжает свое дело. Вытаскивает из-под лавки гирию. Осторожно осматривается по сторонам, затем достает носовой платок и склянку с хлороформом. Аннабелла опять быстро оборачивается.

**Аннабелла** (возбужденно). Они все еще нюхают... И одна там такая крупная!

Верду быстро прячет за спину склянку и платок и смущенно улыбается.

Аннабелла снова глядит в воду.

Верду осторожно наливает хлороформ на платок и бесшумно придвигается к Аннабелле.

Внезапно она с силой дергает удочку и, падая назад, чуть не опрокидывает лодку. От толчка Верду геряет равновесие и роняет в воду склянку и платок.

**Аннабелла**. Ну вот, сорвалась! Если бы ты не ерзал в лодке, я бы не упустила рыбу! (Смотрит за борт) Они все еще плавают вокруг и нюхают крючок! Ох, и крупные же!

Пока она смотрит на рыб, Верду опять ошупью достает со дна лодки веревку. Расправляет петлю и осторожно придвигается к Аннабелле, в то время как она говорит.

**Аннабелла**. Посмотри на них! Вон у той такой серьезный вид... (Вытаскивает удочку) Нет... не клюет!

Поднимает глаза и видит Верду, который уже стоит над ней с веревкой в руках.

**Аннабелла**. Что ты хочешь делать?

**Верду**. Поймать твою рыбу при помощи лассо.

**Аннабелла**. Не глупи! Рыбу поймать при помощи лассо! Каждый дурак понимает, что это невозможно.

**Верду**. А я говорю — возможно. Стоит только закинуть петлю ей на голову — вот так!

Надевает Аннабелле петлю на шею и готовится уже затянуть ее. В этот момент на берегу раздается чье-то пение. Оба застывают.

**Аннабелла**. Кто это там поет?

**Верду** (злобно). Какой-то горлодер!

**Аннабелла**. Ну вот... Он нам все испортит!

**Верду**. Да, к несчастью.

**Аннабелла**. Экая досада — нигде не удастся побыть одним!

**Верду**. Да, очень досадно.

**Аннабелла**. А мы так мечтали... строили планы.

**Верду**. Да...

**Аннабелла**. Он смотрит на нас в бинокль! (Вдруг замечает веревку). Сними это, пожалуйста! А то он подумает, что ты меня хочешь удавить. (Верду снимает петлю). Ого, теперь их там собралась целая компания. Наверное, у них пикник.

**Верду**. Едем обратно.

**Аннабелла**. А завтра опять покатаемся, хорошо?

**Верду**. Нет, милочка... Я должен вернуться на пароход.

**Аннабелла**. Ну вот! Не успели приехать...

Верду встает и смотрит, приставив козырьком руки к глазам

**Верду**. Что они там такое делают?

Вдруг удочка дергается, и Аннабелла от неожиданности так сильно накрепляет лодку, что Верду, не удержавшись на ногах, кувырнулся в воду. Аннабелла визжит, суетится, и наконец, после многих усилий ей удается ухватить его за шиворот и втащить в лодку.

**Аннабелла**. Ну, и идиот! Кто же встает в лодке? Не пойму, что с тобой делается в последнее время. Ты не перестаешь чудить!

## ПЕРРОН ВОКЗАЛА

Поезд виден только с одной стороны.

Поезд медленно трогается. Верду входит в вагон, потом высовывается из окна и машет рукой Аннабелле. Аннабелла машет ему в ответ. Как только поезд трогается, Верду отходит от окна, проходит по коридору и открывает дверь на площадку. Спрыгнув, переходит через рельсы и вскакивает в поезд, идущий в противоположном направлении, в Париж. Выглянув в окно, он с удовлетворением видит, как Аннабелла машет платком вслед первому поезду.

## КВАРТИРА Г-ЖИ ГРОНЕЙ В ПАРИЖЕ

У г-жи Гроней в гостях ее подруга Ивонна. Входит горничная с цветами.

**Горничная** (неодобрительно). Опять цветы, сударыня. (Уходит).

**Ивонна** (с притворным восторгом). Ах, Мари, какая прелесть! От кого они?

**Г-жа Гроней**. Их посылает тот ужасный субъект, который пытался за мной ухаживать.

**Ивонна**. Как романтично!

**Г-жа Гроней** (читая записку, которую ей подали вместе с цветами). Это продолжается вот уже целый месяц.

**Ивонна**. Мне досмерти хочется прочесть, что он тебе пишет.

**Г-жа Гроней**. Да каждый раз одно и то же... Всего два слова: «Умоляю, умоляю!». Неслыханная наглость!

**Ивонна**. Ну, где же тут наглость? Чего бы он от тебя ни добивался, — он ведь только просит! (Помолчав) Почему ты не позвонишь ему?

**Г-жа Гроней**. Этому старому пройдохе!

**Ивонна**. Ну... поскольку он еще не так стар...

**Г-жа Гроней**. Кроме того, я не знаю номера его телефона.

**Ивонна**. Так пошли письмо в цветочный магазин. Ему передадут.

## ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН

Верду проходит мимо окна и входит в магазин.

**Цветочница**. Доброе утро, м-сье.. Вам письмо.

**Верду**. Спасибо... (распечатывает письмо). Цветы посланы?

**Цветочница**. Да, м-сье. Последний раз послала вчера.

**Верду**. Отлично. Посылайте еще две недели. Заказ такой же. (Читает письмо).

На экране письмо:

*„Вы неисправимы. Позвоните мне как-нибудь в свободное время.  
Мария Гроней. Телефон № 3201.“*

**Верду**. Не посылайте больше цветов... Я отменяю заказ.

**Цветочница**. Хорошо, м-сье.

Он подходит к телефону.

**Верду**. Алло... Дайте тридцать два-ноль-один.

## КВАРТИРА Г-ЖИ ГРОНЕЙ

Госпожа Гроней снимает телефонную трубку.

**Г-жа Гроней**. Слушаю... Да. Господин Варнэ? Собственно, мне бы следовало на вас сердиться, но вы меня замучили... Я устала сопротивляться.

**ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН**

Верду у телефона.

**Верду.** Чудесно. Когда же я вас увижу?

**КВАРТИРА Г-ЖИ ГРОНЕЙ**

**Г-жа Гроней** (у телефона). И отчего вы так настойчивы?

**ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН**

**Верду** (у телефона). Очень просто... Оттого, что я люблю вас, Мари.

**КВАРТИРА Г-ЖИ ГРОНЕЙ**

**Г-жа Гроней** (у телефона). Но мы с вами почти незнакомы.

**ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН**

**Верду** (у телефона). Я знал вас всегда. Вы — вторая половина моей души. Я это понял с первого взгляда на вас. Между нами незримая связь, глубокое понимание без слов... Я прочел это в ваших глазах, Мари.

Верду продолжает говорить по телефону, глядя в глаза девушке, продавщице цветов.

**Верду.** Они прекрасны... и печальны... как одиночество далеких звезд. Они видели иные миры... те миры, в которых витал и я. С первой минуты, как я вас увидел, я почувствовал, что между нами — мистическая близость. Этого словами не объяснить. Это может выразить лишь музыка. Я часто спрашиваю себя, Мари: кто вы во мраке времен?

**КВАРТИРА Г-ЖИ ГРОНЕЙ**

**Г-жа Гроней** (у телефона). Ах, мой друг, такие высокие чувства и мысли мне недоступны.

**ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН**

**Верду** (у телефона). Но в вас есть и другое... ваше кроткое женственное обаяние... материнская теплота... Вы — женщина... святая грешница... змея и газель в одно и то же время. Мне не забыть вас вовеки, Мари... Каждый ваш взгляд, жест, интонация голоса, каждое выражение вашего тонкого подвижного лица врезались мне в душу. Я должен вас увидеть, Мари... Сегодня. Ну, прошу вас!.. Чудесно, лечу к вам!

Вешает трубку и подходит к девушке, которая все еще стоит как замороженная, не в силах отвести от него взгляда.

**Верду.** Сколько с меня?

**Цветочница** (все еще не сводя с него глаз). Один франк, м-сье..

Он дает ей пять франков.

**Верду.** Сдачи не надо.

Выходит. Цветочница смотрит ему вслед.

**У ВХОДА В КВАРТИРУ Г-ЖИ ГРОНЕЙ**

Рука Верду дергает звонок. Дверь открывает горничная, несколько похожая с виду на г-жу Гроней.

**Верду.** Мари!

Целует у ней руку и хочет обнять. Горничная отступает.

**Горничная.** Позвольте... Вам кого?

**Верду.** Госпожу Гроней.

**Горничная.** Сюда, пожалуйста.

Вводит его в гостиную. В гостиной одна Ивонна, подруга Мари. Верду нежно берет ее руку и страстно целует.

**Верду.** Мари!

**Ивонна.** Простите... Я — госпожа Банэ. А Мари сейчас придет.

Верду смущен. Его выручает появление Мари в роскошном туалете. Она здоровается с ним, протягивая ему руку.

**Г-жа Гроней.** Здравствуйте!

Верду кланяется и целует руку.

**Г-жа Гроней.** Ивонна, это господин Варнэ.

**Ивонна** (натянута усмехаясь). Да... мы уже познакомились только что.

Верду улыбается так же, как Ивонна.

**Ивонна.** Значит, я жду тебя в половине восьмого к обеду.

**Г-жа Гроней.** В половине восьмого? Хорошо.

**Ивонна** (сдержанно, обращаясь к Верду). До свиданья.

Он низко кланяется.

**Г-жа Гроней.** Вы меня извините?..

Провожает Ивонну в переднюю. Дамы подходят к входной двери.

**Г-жа Гроней.** Ну, как он тебе понравился?

Ивонна делает гримасу и зажимает нос, как бы говоря, что он «с душком». Мари шутливо выталкивает ее за дверь и уходит обратно в гостиную. Верду стоит у каминна. Г-жа Гроней входит и садится на кушетку.

**Г-жа Гроней.** Ну-с, что скажете, коварный человек?

**Верду** (смеясь, удивленно). Коварный?

**Г-жа Гроней.** Да... очень коварный! Подите сюда и садитесь.

Г-жа Гроней указывает место на кушетке рядом с собой.

Верду садится. Он чем-то смущен.

**Г-жа Гроней.** Ивонна ушла — и мне немного страшно оставаться с вами наедине.

**Верду.** Почему?

**Г-жа Гроней.** А помните, как вы вели себя тот раз, когда мы остались вдвоем?

**Верду.** Простите, я очень сожалею, что не совладал с собой. Даю вам слово, это никогда больше не повторится.

**Г-жа Гроней.** Нет, не давайте таких обещаний!

**Верду.** Ирония судьбы... Она посылает человеку подходящий момент, а он в этот подходящий момент делает не то, что нужно.

Г-жа Гроней смотрит на него, томно полуопустив веки.

**Г-жа Гроней.** Или, скажем, делает то, что нужно, но в неподходящий момент.

Верду, вдруг поняв смысл ее слов, страстно и грубо обнимает ее.

*Музыка — свадебный перезвон колоколов*

#### САД. ВЕЧЕР

У оранжереи устроен буфет. Гости группами стоят и гуляют по саду. Все одеты по-летнему и нарядно, так как они приглашены на свадьбу.

**Первый гость.** Чудный день сегодня! Лучшего для свадьбы не выберешь.

**Второй гость.** Кто бы подумал, что Мари выкинет такой номер!

**Третий гость.** Да, всё это до того неожиданно...

Входит хозяйка дома Ивонна, подруга Мари.

**Ивонна (мужу).** Вышла небольшая заминка.

**Муж.** А что такое?

**Ивонна.** Священник звонил, что он запоздает на полчаса. Ему сперва нужно похоронить кого-то.

**Муж.** Собственно говоря, следует сначала венчать, а потом уже хоронить людей.

**Ивонна.** Тем не менее, он опоздает. Да притом и Мари не готова.

**Муж.** А жених где?

**Ивонна.** Еще не приехал.

**Второй гость.** Ему, наверное, неприятна вся эта кутерьма.

**Ивонна.** Да... Оба они хотели обвенчаться тихо, без всякой огласки, но вы знаете, как быстро у нас распространяются такие новости.

Откуда-то доносится громкий и хриплый женский смех.

**Муж Ивонны.** Силы небесные, кто это?

**Ивонна (обернулась, чтобы посмотреть).** Понятия не имею. Первый раз ее вижу. Ее привел Марсель.

Она опять оглядывается и видит Аннабеллу в обществе двух мужчин, Селья и Бисмо. Все трое стоят неподалеку и рассказывают друг другу неприличные анекдоты.

**Бисмо.** А слышал кто-нибудь из вас анекдот про старичков, праздновавших шестидесятилетнюю годовщину своей свадьбы?

**Аннабелла.** Нет, нет. Расскажите!

**Бисмо.** Так вот...

Подходит еще гость, девяностолетний старик.

**Карно.** Господин Селья?

**Селья.** А, здравствуйте! (Знакомит их) Господин Карно, госпожа Бонер и господин Бисмо. (Все кланяются). А почему вы здесь?

**Карно (пожимая плечами).** Свадьбы... похороны... я не пропускаю ни тех, ни других. (Аннабелле) Вы — одна из подруг невесты?

**Аннабелла.** Нет, я с невестой даже незнакома. Да и с женихом тоже.

**Карно.** Неужели?

**Селья.** Госпожа Бонер — моя хорошая знакомая. Она как раз приехала в Париж на несколько дней, и я привел ее сюда. (Обращаясь к Бисмо) Ну, рассказывайте же...

#### ДВЕРЬ ДОМА, ВЫХОДЯЩАЯ В САД

Верду стоит в дверях — торжественный, как полагается жениху, но чуточку растерянный.

**Голос Ивонны.** А вот и Анри!

Ивонна входит слева.

**Ивонна.** Анри, голубчик, ну как вы себя чувствуете?

**Верду.** Немного волнуюсь.

**Ивонна.** Понятно... Это тяжелое испытание.

Она берет его под руку и ведет вперед.

**Ивонна.** А теперь вы должны будете мужественно перенести еще одно испытание — я хочу представить вас кое-кому из моих друзей. Госпожа Корни, господин Симон...

Она знакомит его с гостями, постепенно все ближе подводя к Аннабелле. Во время процедуры представления гости отпускают шуточки по адресу жениха и поздравляют его. Верду всем отвечает с улыбкой: «Мерси».

**Ивонна** (продолжая). Господин Деляж... госпожа Бремерс... Госпожа Возелли... господин Контрпер... госпожа Вулон... А это — мой муж.

**Верду.** Очень рад.

**Ивонна.** Ну вот. С остальными я вас познакомлю после венчания. Вы довольны мной?

**Верду.** Вы очень добры...

Верду от смущения пятится назад и натывается на Аннабеллу, которая стоит к нему спиной. Он оборачивается.

**Верду.** Ах, простите...

Он опять повернулся лицом к своей группе в тот самый миг, когда Аннабелла обернулась к нему.

**Аннабелла.** Ничего, не беспокойтесь...

Она опять оборачивается к своей группе; таким образом оба не успели увидеть один другого.

#### ВЕРДУ И МУЖ ИВОННЫ

**Муж.** Ну, господин Варнэ, как вы себя чувствуете?

**Верду.** Как жених.

**Муж.** Крепитесь, мой милый... худшее еще впереди.

**Верду.** Это верно... Господи, что я такое говорю! (Сконфуженно смеется). Сегодня у меня — день сплошных промахов.

**Муж.** Надеюсь, что нет, мой друг.

**Верду.** Опять я ляпнул не то!

Гости смеются, говорят громко, но слышнее всего визгливый смех Аннабеллы. Верду в полуборот смотрит через плечо в ее сторону. Но несколько человек подходят к ее группе и заслоняют ее от Верду.

**Муж.** Странная вещь — на похоронах людям почему-то хочется смеяться, на свадьбах у них настроение слезливое.

**Верду** (смеясь). Это вы верно подметили.

Опять слышен хохот Аннабеллы. Гости в группе Верду переглядываются.

**Муж.** Здесь есть одна особа, которая мне действует на нервы.

Проходит лакей с подносом, уставленным бокалами. Верду берет коктейль.

**Ивонна** (глядя в сторону Аннабеллы). Хотела бы я знать, кто она такая.

Группа Аннабеллы проходит позади группы Верду, направляясь к дому.

**Муж** (Ивонне). А следовало бы знать!

**Ивонна.** Ах, да, вспомнила... Это знакомая Марселя... Кажется, из Лиона.

Верду, поперхнувшись, обрызгивает коктейлем соседа.

**Ивонна.** Хорошая примета. Это значит, что вас ожидает приятный сюрприз.

**Верду** (гостю). Ради бога, извините...

Верду поспешно идет к дому. Боязливо оглядывается на буфет. Но Аннабеллы там нет. Обернувшись снова лицом к дому, он круто останавливается, увидев ее и ее спутников у двери.

## ВХОД В ДОМ

Аннабелла и ее спутники в дверях.

**Верду** (попятившись и налетев на Ивонну). Ах, извините...

**Ивонна**. Что случилось? Вы что-нибудь обронили?

Ее слова помогают Верду выйти из положения.

**Верду**. Да. Портсигар.

Ищет на земле, удаляясь в сторону оранжереи.

**Ивонна**. Наверное, где-нибудь там... где вы стояли (указывает рукой).

Верду ощупывает жилетный карман и разыгрывает удивление.

**Верду**. Вот он где!.. Нашел!

Верду, оглянувшись, видит, что Аннабелла и ее спутники приближаются к нему: они идут к буфету.

**Верду**. Какие чудные цветы! Я непременно хочу посмотреть вашу оранжерею.

Верду, не дожидаясь Ивонны, входит в оранжерею. Недоумевающая Ивонна идет за ним.

## В ОРАНЖЕРЕЕ

Верду входит, за ним Ивонна. Цветы на полках на высоте четырех-пяти футов от земли. Из-за полок видны в саду гости, которые голются у буфета.

**Верду**. Какие прелестные гладиолусы! А эти голубые гиацинты до чего хороши! Я способен любоваться гиацинтами целый день.

Ивонна явно озадачена. Верду поворачивается к ней лицом и видит сквозь стекло Аннабеллу, вышедшую из толпы.

Верду поспешно ныряет за полку. Ивонна поражена.

**Ивонна**. Что с вами?.. Вы больны?

**Верду**. Спазмы...

**Ивонна**. Ах, боже мой!

**Верду**. У меня бывают такие приступы с тех самых пор, как я вернулся из Индии.

**Ивонна**. Не принести ли вам каких-нибудь капель?

**Верду**. Нет, спасибо. Через минуту-другую все пройдет.

Входит горничная.

**Горничная**. Священник уже пришел, сударыня.

**Ивонна**. Попроси его подождать. Я сейчас приду.

Горничная, кивнув головой, уходит.

**Верду**. Нет, нет, идите! Мне уже лучше.

**Ивонна**. Не могу же я оставить вас одного!

Ивонна видит сквозь стекло Бисмо и Аннабеллу и делает знаки Бисмо. Аннабелла, думая, что Ивонна зовет ее, вопросительно указывает пальцем себе на грудь.

**Аннабелла**. Меня?

Идет к Ивонне, но та знаком останавливает ее.

**Ивонна**. Нет, спасибо, мне нужен господин Бисмо.

**Верду**. Нет, нет, никого не надо... Мне лучше побыть одному.

Ивонна уходит. Верду осторожно приподнимается и выглядывает из-за цветов. Он видит Аннабеллу, которая стоит к нему в профиль и с кем-то разговаривает. В тот же самый миг Бисмо замечает Верду, подглядывающего за ними из-за полки.

**Бисмо.** Кто это там играет в прятки?

Аннабелла обернулась, но Верду опять приседает на корточки за полкой.

**ИВОННА И ГОРНИЧНАЯ ИДУТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ДОМУ. ВСТРЕЧАЮТ  
МУЖА ИВОННЫ**

**Ивонна.** Джон... Варнэ там в оранжерее, у него сделались судороги. Побудь с ним, пока я переговорю со священником.

**ОРАНЖЕРЕЯ**

Верду, согнувшись чуть не пополам, крадется в дальний конец оранжереи. Входит!  
муж Ивонны.

**Муж.** Что с вами, мой друг?

Верду, вздрогнув от неожиданности, выпрямляется, но тогда опять сгибается, делая вид, что ему больно

**Верду.** Спазмы... таких сильных у меня не было много лет.. Не могу разогнуться.

**Муж.** Пойдемте, я доведу вас до дома

**Верду.** Спасибо.

Верду опасно поглядывает туда, где стоит Аннабелла. Когда он и муж огибают слева куст, Аннабелла оказывается вдруг лицом к ним. Верду мигом юркнул за куст, симулируя новый сильный приступ судорог. Он поднимается, но опять быстро ныряет вниз, так как Аннабелла все на том же месте.

**Муж.** Не можете же вы в таком состоянии венчаться!

Аннабелла и Бисмо, обогнав их, идут к дому. Теперь и муж замечает их.

**Муж.** Послушайте, дружище. вас надо огнести в дом и уложить. Эй, Бисмо!

Аннабелла и Бисмо оборачиваются. Верду быстро повертывается к ним спиной.

**Верду.** Нет, нет... Я дойду.

**Муж.** Вы не дойдете один в таком состоянии!

**Верду.** Нет, пожалуйста, мне не нужно ничьей помощи.

**Муж.** Как хотите.

Бисмо хочет подойти к ним, но муж Ивонны показывает ему знаками, что он уже не нужен.

**Муж** (кричит Бисмо). Не надо, обойдется!

**Верду.** Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал, что я заболел перед самым венчанием. Это такой срам! (Фальшиво смеется).

**Муж.** Но как же вы с такими болями выстояте всю церемонию венчания!

**Верду.** Пожалуй, придется отложить...

**Муж.** А вы полежите — может быть пройдет.

Верду все время тревожно следит за идущими впереди Аннабеллой и Бисмо. Те останавливаются, чтобы поздороваться с кем-то. Верду тоже останавливается, делая вид, что у него новый приступ боли.

**Верду.** Мне лучше побыть на воздухе. Идите, я приду потом.

**Муж.** Нет, нет, я не могу вас оставить одного. Вам надо лечь в постель.

**Верду.** Ну, прошу вас..

**Муж.** Ни за что! Сперва я вас отведу в спальню

Верду видит, как Аннабелла и Бисмо входят в дом. Он успокаивается: путь свободен.

**Верду.** Ну, хорошо.. если вы непременно так хотите...

Они входят в дом.

### ПЕРЕДНЯЯ В ДОМЕ ИВОННЫ

Аннабелла и Бисмо уже прошли вперед, но в тот момент, когда Верду и хозяйин дома входят из сада, Аннабелла и Бисмо возвращаются.

**Аннабелла.** Нет, это в той комнате.

Верду моментально выскакивает в одну из боковых дверей и захлопывает ее перед носом у сильно изумленного хозяина.

### МУЖ ИВОННЫ У ДВЕРИ

**Муж.** Что с вами?

**Голос Верду** (из-за двери). Ничего, теперь лучше.

Входит взволнованная Ивонна.

**Ивонна.** Ну, как Варнэ?

Муж указывает ей на дверь ванной комнаты.

**Ивонна.** Так ты объясни священнику в чем дело, — он наверное сердится, что его заставили ждать.

**Муж.** Не могу я этого сделать!

Отходит от нее очень расстроенный.

**Ивонна** (ему вслед). Не глупи! Пойди скажи ему, а я скажу Мари.

Она идет наверх. Дождавшись ее ухода, муж стучит в дверь ванной.

**Муж.** Господин Варнэ! Ну, как вы себя чувствуете? (Стучит опять.)  
**Господин Варнэ!**

Он торопливо выходит в сад.

Верду уже перекинул одну ногу за окно.

**Муж.** Куда вы?..

**Верду.** Мне душно...

**Муж.** Душно?

**Верду.** Дверь заело — не открывается.

**Муж.** Ее надо не толкать, а тянуть на себя.

**Верду** (заискивающе улыбаясь). Попробую еще раз. (Слезает с окна в комнату).

Муж входит в дом и снова подходит к двери в ванную.

**Муж** (у двери в ванную). Ну, как вы?

**Голос Верду.** Хорошо... Идите, я сейчас..

**Муж.** Я вас подожду.

**Верду.** Ну зачем же?

**Муж.** Провожу вас наверх...

**Голос Верду.** Не могу я выйти, когда там столько людей!

**Муж.** Здесь ни души. Все в гостиной.

Верду опасно выходит из ванной и идет с хозяином наверх.

Они поднимаются по лестнице.

**Верду.** Я хотел бы хоть на минуту остаться один.

**Муж.** В спальне вас никто беспокоить не будет.

**ПЛОЩАДКА, НА КОТОРУЮ ВЫХОДЯТ ДВЕРИ СПАЛЕН.**

Верду и муж дошли до площадки. В эту минуту Аннабелла и Мари выходят из дальней двери в коридор. Верду моментально толкает ближайшую дверь и скрывается в спальню.

**СПАЛЬНЯ**

Верду входит, муж Ивонны за ним. В спальне Верду, ища куда спрятаться, подбегает к одной двери, потом к другой, пытаясь их открыть.

**Муж.** Нет, нет, это стеной шкаф. Вон туда (указывает на другую дверь).

Верду выбегает во вторую дверь и попадает в ванную

**Муж.** Ну, как вы?

**Голос Верду.** Я сию минуту выйду.

**Муж.** Не вызвать ли врача?

**Верду.** Нет, нет... Впрочем... вызовите, пожалуйста.

**Муж.** Я позвоню нашему... Сейчас вернусь.

Муж выходит. Верду быстро открывает дверь и выбегает на площадку.

**ВЕРХНЯЯ ПЛОЩАДКА И КОРИДОР**

Верду и муж появляются в коридоре одновременно. Оба сначала бегут по коридору, в спешке не замечая друг друга. Муж догоняет Верду.

**Муж.** Простите...

Верду дает ему дорогу и вдруг, услышав позади себя смех Аннабеллы, перепрыгнув через все оставшиеся ступени, пулей вылетает в сад.

**САД**

Верду бежит к забору и поспешно перелезает через него в переулок.

**ПЕРЕУЛОК ЗА САДОМ**

Верду как бешеный мчится по переулку.

**В ГЛАВНОМ ПОЛИЦЕЙСКОМ УПРАВЛЕНИИ**

Нюталь, г-жа Гроней и все семейство Кувэ сидят у стола префекта. Сбоку сидит сыщик.

**Префект.** Да, этот Варнэ, повидимому, именно тот субъект, которого мы разыскиваем, но он, вероятно, орудует под разными фамилиями.

**Лина.** Очень жаль, что он не бросил Сельму до свадьбы. Вас можно поздравить со счастливым избавлением, госпожа Гроней.

**Феба.** Когда мы прочли эту историю в газете, я сразу догадалась, что он — тот самый человек.

**Префект.** Все-таки у нас почти не за что ухватиться... даже фотографической карточки нет.

**Лина.** Но я бы его узнала при встрече.

**Жан.** И я тоже!

**Префект** (обращаясь к г-же Гроней). Какой адрес он вам указал в последние дни?

**Г-жа Гроней.** Гостиница «Сплендид».

**Сыщик.** Мы проверили: оттуда он выбыл.

**Префект.** Он, кажется, выбыл отовсюду. (Г-же Гроней) Говорил он вам, чем занимается, где служит?

**Г-жа Гроней.** Говорил, что он исследователь и работает в Международном географическом обществе.

**Феба.** Следовало бы позвонить туда.

**Лина.** Что толку? Он сейчас, наверное, уже на пути к Северному полюсу.

**Префект.** Никакого Международного географического общества не существует. Но мы этого субъекта выследим. Вы, конечно, понимаете, господа, что все должно храниться в строгой тайне. Если хоть одно слово попадет в газеты, — это сильно помешает нашим розыскам.

**Все хором.** Ну понятно, господин префект.

### БИРЖА

На бирже страшная паника.

### ФАСАД БАНКА

Вход в банк осаждает огромная толпа.

**На окне видны остатки надписи:**

*„Капиталовложение... Резервный фонд... и т. д.“*

Окно разбито. Внутри также беснуется толпа. Мы видим стол с табличкой: «Отдел закладных», за которым сидит у телефона служащий банка.

### КОНТОРА В СКЛАДЕ ВЕРДУ

Верду сидит за письменным столом. Снимает телефонную трубку.

**Верду.** Алло! Алло! Да, да... Что?!

### БАНК, СТОЛ ЗАКЛАДНЫХ

Служащий у телефона.

**Служащий.** Я вам повторю, что закладную выкупить уже нельзя.

### КОНТОРА ВЕРДУ

Верду у телефона.

**Верду.** Вы не имеете права... У меня жена и ребенок... Что будет с ними?

### БАНК

Служащий у стола закладных.

**Служащий.** К сожалению, ничем не могу вам помочь, голубчик. Банку нужны деньги. Мы не можем ждать.

### КОНТОРА ВЕРДУ

Верду у телефона.

**Верду.** Дайте мне десять минут сроку... Ради бога!.. Десять минут, не больше.. Спасибо! Я вам позвоню.

Вешает трубку. Потом опять снимает ее

**Верду.** Алло! Алло! Дайте контору Балонга — фондовая биржа.. тридцать два-шесть-четыре. Скорей! Скорей!

**БИРЖА**

Страшная паника продолжается. Трещат телефоны и автомагнеты, печатающие бюллетени. Ошалелые телефонистки непрерывно втыкают вилки в штепсели и кричат:

**КОНТОРА ВЕРДУ**

**Верду** (у телефона). Скорее! Скорее!

**БИРЖА**

Маклер **Б а л о н г** делает знак продавать, затем машет рукой, как бы говоря «все пропало». Входит в свою контору.

**КОНТОРА БАЛОНГА НА БИРЖЕ**

Маклер входит, на его столе звонят разом двадцать телефонов. Он с раздражением выключает их. Но один еще продолжает звонить. Маклер сердито берет трубку.

**Маклер.** Слушаю! Контора Балонга.

**ВЕРДУ У СЕБЯ В КОНТОРЕ**

**Верду** (у телефона). Говорит Верду. Продайте сейчас же все мои акции по сегодняшнему курсу. Мне деньги нужны дозарезу, немедленно!

**КОНТОРА БАЛОНГА**

**Маклер.** Вы в уме? Все потеряно еще несколько часов назад.  
С сердцем швыряет трубку на рычаг.

**КОНТОРА ВЕРДУ**

**Верду** медленно кладет трубку и закрывает лицо руками

**КОНТОРА БАЛОНГА**

Маклер достает из ящика револьвер.

**ЗАЛ БИРЖИ**

Среди шума вдруг слышен выстрел. На минуту наступает тишина. Два-три человека повертывают головы и прислушавшись бегут в контору Балонга.

**Голос.** Две тысячи А, Т и Б.

Шум и суета возобновляются.

**БАНК**

Толпа все еще безумствует.

**ОКНО КОНТОРЫ**

Из окна прыгает человек.

**БИРЖА**

Все та же толчея. Паника продолжается

**БУЛОЧНАЯ. ОЧЕРЕДЬ ЗА ХЛЕБОМ.****РАБОЧИЕ В ОЧЕРЕДИ ЗА СТАКАНОМ КОФЕ****ОТКРЫТАЯ ВЕРАНДА КАФЕ. ВЕЧЕР**

Верду сидит за столиком и читает газету.

Видна страница газеты с двумя заголовками:

*„Семь тысяч мирных граждан убито во время бомбежки нацистами Мадрида и других городов“. „Европе грозит война“.*

Верду пьет кофе, расплачивается и уходит.

**УЛИЦА**

Когда Верду переходит улицу, он едва не попадает под нарядный лимузин. Лимузин подкатывает к тротуару, останавливается, и шофер трубит в рожок. Верду поворачивает голову на звук рожка и видит, что маленькая рука в перчатке машет ему из окна автомобиля.

Верду подходит к лимузину. С удивлением видит в окне Ренэ. Ренэ улыбается. Она элегантно одета. Это та самая девушка, которой он помог одну дождливую ночь

Верду, не узнавая Ренэ, вежливо снимает шляпу.

**Ренэ** (с улыбкой). Здравствуйте, господин филантроп!

**Верду** (с недоумением). Филантроп?

**Ренэ**. Да. Не узнаете? Раз, в дождливый вечер, вы встретили меня на улице и повели к себе.

**Верду** (удивленно). В самом деле?

**Ренэ** (снисходительно). Уверяю вас.

**Верду** (все еще ошеломленный). Любопытно!

**Ренэ**. Накормили, дали денег и отпустили, как примерную маленькую девочку.

**Верду** (с юмором). Одним словом, вел себя, как дурак.

**Ренэ** (тепло). Нет, как очень добрый человек.

**Верду**. Странно!

**Ренэ** (хохоча). Куда вы сейчас направляетесь?

**Верду**. Никуда.

**Ренэ**. Так садитесь.

Верду садится в лимузин.

**В ЛИМУЗИНЕ**

**Ренэ** (шоферу). Кафе Лафарж.

Автомобиль трогается.

**Ренэ** (с огоньком в глазах). Вот я опять попрошу вас меня накормить.

**Верду** (просто). Это мне сейчас будет трудно.

**Ренэ**. Тогда я с удовольствием накормлю вас.

**Верду**. Вы очень любезны.

**Ренэ**. Мне с того вечера всегда хотелось встретиться с вами еще раз. Я даже ходила в ваш мебельный склад, но вы, оказывается, оттуда переехали.

**Верду**. Да, я вот уж семь месяцев там не живу.

**Ренэ**. Мне все еще кажется, что вы меня не помните... да и с какой стати?..

**Верду** (любуясь ею). Во всяком случае, у человека, который вас увидел, есть все видимые причины не забывать вас

**Ренэ** (улыбаясь). Неужели не помните? Вы привели меня ночью к себе на квартиру... Я тогда только что вышла из тюрьмы...

**Верду** (кладет ей палец на губы). Тсс!

Указывает на шофера, затем проверяет, закрыто ли окно.

**Верду**. Еще хорошо, что окно закрыто.

Внимательно вглядывается в нее и вдруг шелкает пальцами.

**Верду**. Ну как же, как же!.. Муж — инвалид войны...

**Ренэ** (серьезно). Вы это помните?

**Верду**. Таких вещей я никогда не забываю. Однако... ваш туалет... (указывая на автомобиль) и все это. Что за чудеса?

**Ренэ**. Старая история. Из лохмотьев — в бархат. После встречи с вами мне начало везти. Я познакомилась с владельцем оружейного завода.

**Верду**. Вот чем мне следовало заняться! Это дело скоро будет давать большие доходы.

Автомобиль останавливается, шофер открывает дверцу.

*Музыка*

## КАФЕ

Час, когда пьют коктейли.

Поет певица, официант ведет Верду и Ренэ к столику и подает им карточку. Заказав обед, они возвращают официанту карточку и сидят молча, слушая пение.

**Ренэ**. Я ужасно рада, что мы опять встретились. Вы себе не представляете, как помогли мне тогда своим добрым отношением.

**Верду**. Неужели? Вы меня заставите уверовать, что я в самом деле филантроп.

**Ренэ**. Со мной вы поступили, как филантроп. Однако расскажите о себе.

**Верду**. Я предпочел бы поговорить о чем-нибудь более приятном... например, о вас и о... гм...

**Ренэ**. И о чем еще?

**Верду**. О вашем новом друге. Что он за человек?

**Ренэ**. Очень странный человек. Во многих отношениях щедрый и добрый, а в делах — безжалостен.

**Верду**. Дела — жестокая вещь, милочка. А вы его любите?

**Ренэ**. Нет. Но это-то и привязывает его ко мне. Знаете, есть такие люди: они жаждут всегда только того, что не дается им в руки.

**Верду**. Бедняга... Жаль, что вы его не любите.

**Ренэ** (улыбаясь). А вы ведь как будто не верили в такие вещи?

**Верду** (сентенциозно). Всякому человеку нужно, чтобы его любили.

**Ренэ** (насмешливо). Нет, решительно с вами что-то произошло!

Куда девалась ваша ожесточенность?

**Верду**. Быть может, она мне больше не нужна: я перестал бороться.

**Ренэ**. Почему? Всегда есть за что бороться.

**Верду**. А вот мне не за что.

**Ренэ**. Так-таки совсем не за что?

**Верду**. Видите ли... вскоре после краха я лишился жены и сына...

**Ренэ** (нежно). О, простите... я не знала...

**Верду** (со странным спокойствием). Впрочем, им гораздо лучше там, где они сейчас, чем в этом мире вечной неуверенности и страха.

**Ренэ** (смотрит на него внимательно и с глубоким сочувствием). Вы заметно переменялись.

**Верду**. Я жил как в страшном сне. Потеря семьи меня разбудила.

**Ренэ.** Как это понимать?

Верду долго молчит. Он, видимо, погружен в воспоминания.

**Верду.** Я служил когда-то кассиром в банке. Скучная была жизнь.. Изю дня в день считать чужие деньги... Потом случилось то, что нарушило ритм этой жизни: я потерял место. Дальше — сплошной кошмар. Оцепенев душой, запутавшись во всем, я жил, как замурованный, в каком-то не совсем реальном мире... (с содроганием) страшном мире. А теперь — проснулся. И иной раз сомневаюсь в том, что все это был не сон.

**Ренэ** (с нежностью и тревогой). Вы пережили какое-то страшное горе. Но не давайте ему власти над собой.

**Верду.** Этого не будет. Отчаяние — все равно, что наркоз... Оно усыпляет душу, делает ее нечувствительной.

**Ренэ.** Но это значит отказаться от жизни!

**Верду.** Ну и что же?

**Ренэ** (пожав плечами) Надо жить.

**Верду** (злобно). Для чего?

**Ренэ** (шутливо). А вам обязательно надо знать, для чего?

**Верду.** Может быть если бы я знал, мне было бы легче.

**Ренэ** (почуввав в его словах безнадежный пессимизм). Жизнь выше всякого понимания. Я с каждым днем все меньше ее понимаю, но все больше люблю. И нахожу ее прекрасной. (Наклонясь к Верду, ласково) Надо жить... хотя бы затем, чтобы исполнилась ваша судьба.

**Верду** (со смехом). Моя судьба!..

Лина и Жан входят и садятся за столик.

**Жан.** Не понимаю, почему это люди считают долгим подниматься на Эйфелеву башню вечером? Ведь ни черта не видать!

**Лина.** Это затея Фебы. Она всегда уж поставит на своем.

**Жан.** Ну ладно, давай есть. Я голоден.

**Лина.** Подождем остальных.

**Жан.** Они могут проторчать там несколько часов!

Подходит официант.

**Официант.** Что прикажете вам подать?

**Жан** (Лине). По крайней мере, выпьем чего-нибудь пока. Ты что заказешь?

**Лина.** Вермут.

**Жан** (официанту). Один вермут и один коньяк.

**Официант.** Слушаю (уходит).

**Жан.** Давай потанцуем.

Они танцуют. Пронсясь мимо столика Верду, Жан вдруг замечает его

**Жан.** Лина! Смотри! Муж Сельмы!

**Лина.** Где?

**Жан.** Да вон за тем столиком..

**Лина.** Он!

**Жан.** Не наступай мне на ноги!

**Лина.** Я не могу... Сядем.

Они возвращаются к своему столу. Одновременно подходит и официант с вином.

**Официант.** Вермут для вас, сударыня, — и одна порция коньяку.

Лина берет свою рюмку и выпивает залпом. Потом берет рюмку Жана.

**Жан.** Эй, Лина!.. Это мое.

**Лина** (официанту). Принесите еще порцию. Двойную.

**Официант.** Слушаю (уходит).

**Жан.** Возьми себя в руки, Лина!. Я пойду вызову полицию.

**Лина.** Нет, не оставляй меня одну!

**Жан.** Ты за ним следи, глаз с него не спускай. Если он уйдет в то время, как я буду у телефона — пойди за ним.

**Лина.** Да он убьет меня!

**Жан.** Не будь дурой!

Уходит к телефону.

### ВЕРДУ И РЕНЭ

**Ренэ.** Заметно, что вы переутомились. О вас некому заботиться. Вот погодите, я займусь этим.

**Верду.** Вы очень добры. Спасибо.

Подходит официант со счетом. Пока Ренэ расплачивается, Верду, случайно повернув голову, рассеянно смотрит на Лину.

Лина пьет вино и, встретив взгляд Верду, вздрагивает.

Верду ни на что не обращает внимания.

**Ренэ (официанту).** Сдачи не надо.

**Официант.** Спасибо.

**Ренэ (обращаясь к Верду).** Едем!

Верду и Ренэ встают и идут к выходу. Они проходят мимо Лины. Лина не сводит глаз с Верду. После того, как он прошел, Лина быстро встает и идет за ним.

### ВЕСТИБЮЛЬ

Верду и Ренэ доходят до вестибюля, Ренэ скрывается в дамскую комнату. Верду ждет Ренэ. Обернувшись, он замечает Лину, которая смотрит на него во все глаза. Он смотрит на Лину.

Лина быстро отворачивается от Верду, но затем украдкой снова взглядывает на него.

Верду подмигивает Лине.

Лина, забыв об осторожности, улыбается ему в ответ, но вдруг сознает, что сделала, и от волнения падает в обморок на руки к сидящему на диванчике мужчине небольшого роста. В эту минуту из телефонной будки выходит Жан и бросается мимо Верду к сестре.

**Жан.** Что с тобой? Что случилось?

**Лина.** Он мне подмигнул!

**Мужчина на диване.** Ничего подобного, и не думал!

**Лина.** Нет, не этот... Он!

Указывает на Верду, который в эту минуту находится за спиной Жана. Жан оборачивается и сталкивается лицом к лицу с Верду. От неожиданности ему тоже делается дурно. Верду ошеломлен, но в этот момент возвращается Ренэ, и они уходят из кафе.

### У ВЫХОДА

Верду берет у Ренэ номерок автомобиля и дает швейцару. Швейцар козыряет ему.

**Швейцар (кричит).** Машина номер триста сорок один!

По лицу Верду заметно, что он уже что-то подозревает. Обернувшись, он видит Лину и Жана. Теперь он окончательно убежден, что что-то неладно.

**Лина (громким шепотом).** Запиши номер машины.

Верду слышит, что сказала Лина.

**Жан (в волнении).** Мне нечем записать. Ступай принеси карандаш...

Лина уходит в кафе.

**Верду.** Простите, я на минутку... Забыл в кафе одну вещь.  
Он быстро уходит вслед за Линой.

### ВЕСТИБЮЛЬ

Лина стоит у столика гардеробщицы. Входят Верду, за ним на почтительном расстоянии Жан.

### ЛИНА И ГАРДЕРОБЩИЦА

**Лина.** Нет ли у вас бумажки и карандаша?

**Гардеробщица.** В дамской комнате найдете то и другое.

Лина, перейдя вестибюль, поспешно входит в дамскую комнату. Верду оборачивается и видит за собой Жана. С угрожающим видом он бежит в дамскую комнату за Линой. Жан в паническом ужасе кидается туда же. Верду с быстротой молнии выскакивает обратно в вестибюль и, захлопнув дверь дамской комнаты, где остались Лина и Жан, запирает ее снаружи. Затем с небрежным видом кладет ключ в карман и выходит на улицу.

### У ВХОДА В КАФЕ

Автомобиль Ренэ подкатывает к подъезду. Верду усаживает ее.

**Верду** (торопливо). А теперь я прощусь с вами.

**Ренэ.** Куда же вы?

**Верду.** Иду навстречу своей судьбе.

**Ренэ** (рассмеявшись). Вот моя визитная карточка. Непременно позвоните... и поскорее. Завтра, да?

**Верду** (кланяется). Завтра.

Верду захлопывает дверь, и лимузин отъезжает. Тогда Верду оборачивается и видит: из трех автомобилей выходят префект и полицейские агенты. Верду поспешно вынимает из кармана визитную карточку Ренэ и, разорвав ее на мелкие клочки, бросает под канализационную решетку. Префект и сыщики шныряют вокруг подъезда. Верду беспечно подходит ближе. Остановился незамеченный.

**Префект.** Итак, вы знаете свои посты. По два человека на каждом углу.

Восемь агентов расходятся в разные стороны.

**Префект** (продолжает отдавать распоряжения). Двое у черного хода... Двое — на крышу.

Уходят еще четверо.

**Префект.** Ну вот... теперь пошли, ребята.

Префект и четверо оставшихся с ним агентов входят в кафе. Верду с вялым интересом наблюдал за всем происходившим. Теперь, оглянувшись по сторонам, он вдруг замечает, что остался один, и торопливо входит в кафе вслед за полицейскими.

### В КАФЕ

Верду входит. В дамской комнате кто-то вопит и оглушительно барабанит в дверь.

### ПРЕФЕКТ И ГАРДЕРОБЩИЦА

**Префект** (указывая на дверь). Что там за шум?

**Гардеробщица.** Какой-то мужчина загнал туда женщину.

**Префект.** Эге! Это он, ребята!

Трое полицейских бросаются к двери, сначала пробуют открыть, затем, навалившись, вышибают ее.

В дамской комнате крики: «Вот он!», шум от падения чего-то тяжелого, громкий стон Жана, визг Лины. Звук тяжелого удара и затем слышны слова, которые кричит Лина.

**Голос Лины.** Это не он! Это мой брат!

Жана в обмороке выносят трое агентов, за ними идет Лина. В вестибюле и у входа уже теснятся посетители кафе, и толпа заслоняет Верду.

### ВЕРДУ В ТОЛПЕ

Он заглядывает через плечи впереди стоящих, пытаясь увидеть, что происходит.

**Префект** (агентам). Что вы натворили? Ведь это же мой свидетель! (Обращается к толпе) Разойдитесь... дайте дорогу!

Префект, расчищая дорогу к дивану, оттесняет назад толпу справа от Верду, а один из агентов делает то же слева. Таким образом Верду остается один на виду. Стоя в опустевшем проходе, он наблюдает за всем происходящим.

Агенты укладывают Жана на диван.

Верду, повернувшись, оказывается лицом к лицу с Линой. Она сразу его узнает и, вскрикнув, падает без чувств.

Верду тотчас опускается около нее на колени и, приподняв, поддерживает ее в сидячем положении. Префект, агенты и зрители сразу повертываются в их сторону.

Префект подходит к Лине и похлопывает по щекам, чтобы привести в чувство.

**Префект.** Что с вами?

**Лина** (очнувшись). Я видела его.

**Префект.** Где?

**Лина** (указывая). Он стоял вон там.

**Префект** (своим агентам). Заприте все двери! Никого не выпускать! Жак, Анри, вы стерегите выход. (Указывая на Жана, лежащего на диване) А за ним я присмотрю сам.

В то время, как префект отдает распоряжения, Верду, подойдя сзади, помогает Лине подняться. Она обертывается, желая его поблагодарить.

**Лина.** Очень вам благодар... Это он! Вот он! Спасите!

Все смотрят на Верду. Он, как бы представляясь, подносит руку к шляпе.

На экране вращающиеся колеса печатного станка.

Заголовки газет крупным шрифтом:

„Синяя борода схвачен“. „Следствие идет к концу“.

### ЗАЛ СУДА

Ряд коротких кадров — свидетели, дающие показания. Лина, обвиняющим жестом указывающая на Верду.

Жан, Феба, Карлотта, г-жа Гроней, присяжные заседатели, прокурор.

**Прокурор.** Никогда еще с тех пор, как существует суд, не раскрывались такие страшные преступления. Господа присяжные, перед вами настоящее чудовище, жестокий и циничный зверь. Посмотрите на него!

Присяжные смотрят на Верду. Верду обводит взглядом зал.

**Прокурор.** Посмотрите на него внимательно! Ни разу за все время следствия, когда выяснялись омерзительные подробности его преступлений, он не проявил ни малейшего раскаяния. Это человек с умом — и будь у него здоровые и благородные человеческие инстинкты, он мог бы жить честным трудом. Но он предпочел путь порока... Он хотел легкой жизни — и для этого заманивал в ловушку несчастных женщин пошлыми словами любви.

Верду с живостью перебивает прокурора.

**Верду.** Что бы вы там ни говорили о любви, она не перестанет привлекать людей.

### ЗАЛ СУДА

Все хохочут, в том числе защитник, секретарь суда и присяжные.

**Судья** (стучит по столу, призывая к порядку). Тише! Тише!

**Прокурор** (с возмущением кричит Верду). Вы кончили, сударь?

**Верду** (печально). С любовью?.. Да.

Опять общий смех.

**Судья** (снова стучит по столу). Тише!

**Прокурор.** Свидетельскими показаниями с точностью установлено, что этот не знавший жалости зверь, предумышленно, старательно все обдумав и подготовив, грабил и убивал веривших ему женщин... он просто-напросто сделал себе из этого профессию. То, что такие преступления возможны, побуждает нас задать себе вопрос: до какого же нравственного вырождения может дойти человек? Социальная их опасность в том, что они потрясают самые основы нашей цивилизации.

По лицам присяжных можно проследить, как на них действует речь прокурора.

**Прокурор.** Поэтому, если мы хотим охранить закон и порядок, мы должны отсечь эту гнилую ветвь от нашего дерева. Я не к месту вас призываю, а к самозащите... к защите женщин и законов человеческой морали. Вы слушали показания свидетелей. Здесь нет и не может быть никаких смягчающих обстоятельств. Я требую для этого массового убийцы высшей меры наказания — смертной казни, гильотины. Государство защищает свои интересы.

Садится на место.

**Защитник** (вставая). Господа присяжные заседатели!

*Вступает музыка*

### ЗАЛ СУДА

**Верду** спит. Присяжные после совещания вереницей входят в зал.

*Музыка замирает*

**Секретарь.** Господа присяжные, вынесено ли вами решение по данному делу?

**Старшина присяжных.** Вынесено.

**Секретарь.** Огласите его.

**Старшина.** Виновен!

В зале суда общее волнение.

**Судья** (обращаясь к Верду). Желаете что-нибудь сказать суду до того, как приговор будет приведен в исполнение?

**Верду** встает.

**Верду.** Да, господин судья... Прокурор был не очень щедр на комплименты по моему адресу, но он все-таки признал, что я — человек с умом. (Обращаясь к прокурору) Спасибо, господин прокурор. Да, судьба дала мне ум и способности, и в течение двадцати пяти лет я отдавал их честному труду, но затем они стали никому не нужны. Я вынужден был сам придумать себе способ прокормиться... Но поверьте, это была не легкая жизнь. Я отдавал очень много за то небольшое, что брал. Я добывал его ценой тяжких усилий... Что касается до «массовых убийств», о которых говорил прокурор... разве в нашем мире они

не поощряются? Разве у нас не готовят всевозможные орудия массового истребления людей? Разве у нас не разносят на куски ничего не подозревающих женщин и детей, проделывая это строго научными способами? Что я по сравнению с этими специалистами? Жалкий любитель, не более... Впрочем, не буду горячиться и терять голову — мне ведь очень скоро предстоит навсегда ее лишиться. Вот все, что я хотел вам сказать, расставаясь с жизнью... До свиданья. До скорого свиданья.

На экране вращающиеся колеса печатных машин.

Заголовки газет:

*„Верду будет гильотинирован“*

### ПРИЕМНАЯ В ТЮРЬМЕ ДЛЯ СМЕРТНИКОВ

Сидит в ожидании репортер. Второй репортер появляется из-за железной двери с решеткой. Он с серьезным видом качает головой.

**Первый репортер.** Здорово, Макс... Ну, как он?

**Второй репортер.** Чудак! Разговаривает так, как будто он святой. Сыплет парадоксами... уверяет, что не может быть добра без зла... что зло — это тень, отбрасываемая солнцем... Он просто издевается над нами!

Входит тюремщик и делает знак первому репортеру.

**Тюремщик.** Можете войти.

Первый репортер встает.

**Первый репортер.** Ну, до свиданья, Макс... Увидимся еще сегодня.

**Второй репортер.** Желаю тебе выжать из него побольше, чем я.

Первый репортер выходит в железную дверь.

### КАМЕРА ВЕРДУ

Верду кончает одеваться, когда входит репортер.

**Репортер.** Ну, Верду, вы должны согласиться, что быть преступником нет никакого расчета.

**Верду.** Вы правы... в малом масштабе это дело невыгодное.

**Репортер.** Что вы хотите сказать?

**Верду.** Во всяком деле обеспечить успех может только организация.

**Репортер.** Как вы можете в последние минуты говорить такие циничные вещи?

**Верду.** А ведь быть идеалистом в такой момент как будто неуместно — вы не находите?

**Репортер.** Что это вы тут толковали насчет добра и зла?

**Верду.** Непостижимая вещь: избыток того и другого погубит нас всех.

**Репортер.** Добра никогда не может быть слишком много.

**Верду.** Беда в том, что мы этого не знаем: до сих пор в нашей жизни его было всегда слишком мало.

**Репортер.** Послушайте, Верду... Я все время суда к вам хорошо относился... Дайте мне хоть какой-нибудь материал... какой-нибудь эпизод с моралью. Ведь вы же — «трагический образец злодея».

**Верду.** Честное слово, не понимаю, как кто-либо может быть таким образцом в наш век преступлений.

**Репортер.** Ну как же не образец — вы грабили и убивали!

**Верду.** Для меня это было деловое предприятие, бизнес.

**Репортер.** Однако другие люди не делают же из этого «бизнес»?

**Верду.** Так ли? Вы не знаете истории множества крупных предприятий. Одно убийство делает человека злодеем... миллионы убийств делают из него героя. Масштабы всё оправдывают, мой милый.

Входит тюремщик. Верду встает и подает репортеру руку.

**Верду.** Простите, у меня осталось мало времени. (Тюремщику) Ну, что?

**Тюремщик.** Пришел отец Ферро.

**Верду.** Очень хорошо, приведите его сюда.

**Репортер.** Так как же, Верду, вы мне больше ничего не скажете?

**Верду.** Да... скажу «прощайте».

Репортер, пожав плечами, выходит. Верду выдирает из журнала страницу, свертывает жгутиком, потом концом этого жгутика чистит ногти. Входит священник.

**Верду.** Чем могу служить, отец мой?

**Священник.** Сын мой, я хотел бы помочь вам... если это в моих силах. Я пришел просить вас примириться с господом.

**Верду** (мягко). Дорогой отец... Я с богом в мире. У меня сейчас конфликт с Человеком.

**Священник.** Неужели вы не раскаиваетесь в грехах своих?

**Верду.** Кто скажет, что такое грех... грех, принесенный с небес падшим ангелом? Кто знает, какой конечной цели он служит? (Любезно) И потом — что бы делали вы, отец, если бы не было грешников?

**Священник.** То же, что я делаю сейчас, сын мой: смиренно пытаюсь поддерживать в горе заблудшую душу. (Слышны шаги в коридоре). За вами пришли... позвольте мне помолиться за вас.

**Верду** (вежливо). Пожалуйста. Но вряд ли эти господа захотят ждать.

Входят палач и тюремное начальство.

**Священник.** Да смилуется господь над вашей душой.

**Верду.** Почему бы и нет? Ведь она принадлежит ему.

Священник безнадежно машет рукой. Тюремщик начинает читать смертный приговор. Сторож наливает стопку рома. Затем предлагает Верду папиросу.

**Верду.** Нет, спасибо.

**Сторож.** Тогда выпейте это (подает ему ром).

**Верду.** Что это?

**Сторож.** Ром.

**Верду.** Спасибо, не хочется... Впрочем, постойте... я никогда не пробовал рома.

Верду выпивает и морщится. Ему надевают наручники и ведут во двор тюрьмы.

## ТЮРЕМНЫЙ ДВОР

В глубине — ворота, сквозь арку видна улица, вдоль тротуара выстроился отряд полицейских и толпится народ. Двор в густой тени, которая кажется еще темнее от контраста с улицей, залитой ярким утренним солнцем. Верду идет к воротам.

*Конец*



---

---

# НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЛЕТО

Роман \*

КОНСТ. ФЕДИН

★

19

З аплаканный Алёша лежал на траве в кустах сирени. Заросли до-рогомилловского сада он хорошо изведal, и все-таки постоянно открывал в них новую утешительную прелесть. Здесь вёл он тот разговор со взрослыми, на который нехватало смелости в другом месте.

Его мокрых щёк касались острыми кончиками сердцевидные жесткие листья. Уколы их он принимал, как сочувствие. Все было тут дружелюбно — свежие отпрыски корней, похожие на крошечные деревца; козявки с черноглазыми старческими рожицами, нарисованными на красных спинках; мучнистые семенные коробочки недозрелого просвирника, словно полотняные пуговицы ночной рубашки.

Можно было сказать этому уединенному миру в тени листвы — вот, ты понимаешь страдания Алёши и любишь его изо всей силы, совершенно так же, как он самозабвенно любит тебя. А разве любит Алёшу папа? Никогда!

Второй раз Арсений Романович собирается взять Алёшу на пески. И второй раз папа говорит — нельзя! Уже пересмотрены и перещупаны все удилища. Уже починены сачки. Уже Витя раздобыл новые крючки — маленькие, как заусенец, и огромные, как шпильки Ольги Адамовны. Всё приготовлено. И опять — отцовское нельзя!

А какой поплавок подарил Арсений Романович Алёше! Длиннушее полосатое перо дикобраза! Полоска белая, полоска черная. Другого такого поплавок не сыщешь на всей Волге. Перо на одном кончике продырявилось, это верно. Если через дырку наберется вода, то поплавок затонет. Но Арсений Романович отыскал на антресолях раму пчелиных сот и хочет залить дырку вощиной. От старости вошина сделалась, как кремень. Однако у Арсения Романовича есть спиртовка, и вошину можно растопить. Правда, пока ещё нет спирта, и спиртовка не горит. Но можно обойтись керосином. Недавно Ольга Адамовна достала керосин, и Алёша знает, куда она его запрятала.

Несчастья Алёши идут скорее всего от Ольги Адамовны. Она только и делает, что наговаривает на Арсения Романовича: — он испортит нашего бедного Алёшу! Это все от зависти, конечно, потому что — где ей до Арсения Романовича! С ним никто не может равняться. Если бы не мама, то Алёша мог бы твердо сказать, что ему больше всех на-

---

\* Продолжение. См. «Новый мир» № 1, 5 и 9. Окончание романа будет опубликовано нашим журналом в 1948 году.

свете дорог Арсений Романович. И если бы Алёшу спросили, кем он хочет быть, он ответил бы: — Арсением Романовичем.

Он хотел бы им быть на всю, на всю жизнь, хотя с горечью понимает, что этого ни за что не достигнешь. Разве когда-нибудь будешь столько про все знать, сколько знает Арсений Романович? Откуда взять такой дом с садом и вещи, какими набит целый коридор? А верстак? А спасательный круг? Да разве за Алёшей будут ходить толпой мальчишки? И разве поступишь когда-нибудь на службу, на которой служит Арсений Романович? Вон папа — так совсем и не ходит на службу. А наверно хотелось бы! А шляпа Арсеня Романовича? А борода? Где уж там Алёше отрастить такую бороду!

Нет, Алёша хорошо видит, что из него Арсения Романовича не получится. Он только хотел бы пожить с ним, как другие мальчишки. Бродить по горам, ездить на пески. Свободно, бесстрашно и всегда, всегда!..

Алёша утер высохшее лицо и стал собирать пуговики просвирника. Нашипав полную горсть, он решил съесть всё в саду, чтобы никому не попасться на глаза. Иначе сразу же перепугаются за алешин живот. Недавно Ольга Адамовна принесла с базара плошку черной смородины, и Алёша не успел пристроиться к ягодам, как отец схватил плошку и высыпал всё в помойное ведро: — вы, мадам, другой раз достаньте поздники, от нее скорей сведет ноги холера! — сердито сказал он.

Вообще папа стал всего бояться. Вдруг заявит, что они всей семьей перемрут с голоду. Или грустно вздохнет: — мы тут с тобой, Ася, никому не нужны! Или скажет что-то совсем непонятное: — Алексей, может быть, под конец жизни что-нибудь увидит, а мы с тобой, Ася, ничего не увидим.

— Если ты, папа, плохо будешь видеть, то купи себе пенсне, как у Ольги Адамовны, — сказал тогда Алёша.

— Ах, ты, мой нежный дурак, — ответил папа.

Вспоминая эти домашние разговоры, Алёша дожевал просвирник и вышел из зарослей на тропинку. Тут он поднял голову и неожиданно обнаружил наверху, в открытом окне коридора, военного человека, который стоял спиной к саду. По стриженому затылку и необычайно гладкой спине он сразу узнал этого человека и сразу испугался.

Отряхнув ладони, он побежал домой. У него свалился туфель, он на бегу вбивал пятку, подминая задник, и торопился, торопился, чувствуя, как стучит сердце.

В коридоре находились папа с мамой и разговаривали с Зубинским.

— Я повторяю, — вежливо говорил Зубинский, — вопрос решен окончательно.

— Но ведь это вопрос нашей судьбы! — тихо ответила мама и удивительно большими глазами посмотрела на Зубинского.

— Сожалею. И понимаю, что все это в высшей степени некультурно. Но что я могу сделать? Положение на фронтах такое, что можно ожидать, простите, чёрт знает чего! Я исполняю приказание. После завтра дом должен быть свободен от жильцов. Он уже числится за военными властями. Прошу вас, передайте гражданину Дорогомилову, что это бесповоротно.

Зубинский шаркнул, надел фуражку, взял под козырек.

И снова, второй раз, Алёша услышал, как припечатывали по ступенькам его жесткие подошвы.

Папа молча ушел из коридора в комнату. Алёша, подкравшись к двери, затаил дыхание. Еще стучало сердце после бега. Еще не исчез испуг. Последнее — бесповоротное — слово Зубинского не угасало, как

удар колокола, а разгоралось, как приближение несущегося паровоза. Вот паровоз мчится по улице. Вот он влетел в сад и мнет деревья. Вот ворвался в дом и валит в коридоре, без разбора, превосходные, милые вещи Арсения Романовича. Вот сейчас провалится от его тяжести пол под ногами Алеша!

— Да! — грозно обрубил молчание папа.

Он обернулся к маме и спустя секунду крикнул голосом, которого никогда прежде не слышал Алеша:

— Не смотри на меня своими акварельными глазами!

Он схватил коробку с табаком, рухнул на кровать и начал скручивать дрожащими пальцами папиросу. Мама приблизилась к нему, мягко провела рукой по его затылку, как делала с Алешей, когда хотела утешить.

— Не огорчайся, — сказала она. — Послушай меня. Ступай сейчас же к этому деспоту Извекову и обрисуй ему наше состояние.

— Обрисуй! — передразнил папа. — Сейчас не рисованием заниматься надо, а колотить дубиной! Всё равно не услышат... Унижаться перед мальчишкой? Состояние! Это не состояние, пойми ты! Это — катастрофа! Катаклизм. Гробовая доска. Могила. Кол осиновый. Смерть!

— Что значит — унижаться? — сказала мама. — Когда идет дождь, ты раскрываешь зонт. Это не значит, что ты унижаешься перед дождем.

Папа вскопчил, но секунду постояв, мирно пробурчал:

— Где моя шляпа?

Он набрал из рукомойника горсть воды, выплеснул, погладил мокрой ладонью волосы, причесался, подтянул галстук. Потом взял мамину руку и долго держал ее у своих губ.

— Не сердись, пожалуйста, — произнес он неразборчиво.

В коридоре он увидел сына. Алеша хотел проскочить дверью к маме. Но он поймал его, поднял за локти, как совсем маленького, высоко над своей головой, немного приспустил и поцеловал в лоб. Тогда Алеша, задыхаясь от счастливого волнения, спросил:

— Папа-пап, ты ведь, правда, не скажешь Арсению Романычу про бесповоротно? Нет?

Папа поставил его на пол.

— Иди, тебе все объяснит мама...

На улице Александр Владимирович чувствовал себя странно. Его не привлекали люди, он не замечал жары, даже обоняние его притупилось. Все в нем сошлось на одной идее, которую он нес в себе, как болевое ощущение. Он назвал это последним часом приговоренного к смерти. Это было сожительство подавляющего по своему значению факта с болезненным желанием осмыслить факт. Фактом был приговор к смерти. Из желания осмыслить факт непрестанно рождалось и умирало противоречие: мысль то примиряла с приговором, то возмущалась им.

Фактом была гражданская война. Не перебирая в уме ее подробностей, Пастухов видел их в неумолимом единстве, как в одном слове «смерть» приговоренный видит десятки подробностей расставания с жизнью.

Он шел по тихому городу, но где-то рядом, за близкими пределами улиц, слышал нарастающий шум. Вулканическое извержение июля, казалось, подступало к невинному уличному покою.

В июле Кавказская армия Врангеля медленно подбиралась по берегу Волги к Камышину. Уже больше месяца назад екатеринодарским приказом Вооруженным силам Юга России Деникин объявил о признании им верховной власти Колчака, и правитель ответил генералу «с чувством глубокого волнения» телеграммой. Вскоре после акта соединения контр-

революции Востока и Юга Деникин, прибыв в завоеванный Царицын и приняв парады, подписал директиву, начинавшуюся до помпезности самоуверенным речением: «Имея конечной целью захват сердца России — Москвы, приказываю...»

Директива определяла тщательно разграфленные задачи белым генералам. Она словно нарочно напоминала теоретические планы ученого немца в русском генеральском дурно сшитом мундире — того самого Пфуля из «Войны и мира», который чувствовал себя на месте только за картой. Врангелю директива предлагала выйти на фронт Саратов — Ртищево — Балашов и продолжать наступление через Пензу, Нижний Новгород на Москву. Сидорину — развивать удар через Воронеж — Козлов — Рязань, а также через Елец — Каширу. Май-Маевскому — наступать на Москву в направлении Курск — Орел — Тула. На юге директива ставила целью Киев и Херсон, Николаев и Одессу. Далеко на северо-западе, осуществляя общий план, Юденич выступил в поход на Петроград.

Можно было ждать с часу на час переброски белых частей на левый берег Волги в районе Царицына — Камышина для соединения с уральскими казаками. Но в то же время, исполняя приказ Фрунзе о занятии Уральска, Василий Чапаев, за день до «московской директивы» Деникина, начал наступление на Уральск. Казаки были разбиты, и через пять дней началось их бегство на юг. Еще через пять — в день, назначенный приказом Фрунзе, — Чапаев вступил со своими конниками в Уральск, освободив город от осады. А всего сутки спустя на Восточном фронте Красная Армия торжествовала другую победу: был занят Златоуст, и отброшенные за уральские горы белые армии Колчака бросились в отступление по Сибири.

Человек, плутающий в лесу ночью, знает о существовании света и открытых дорог. Но это знание не устраняет ощущения темноты и безвыходности. Пастухов знал об Уральске, знал о Златоусте. Он узнал так же о готовящемся контр наступлении вниз по Волге, на Царицын. Но физическим существом своих чувств он испытывал только надвигающуюся духоту фронта, которая угрожала Саратову. Война катилась на город, война шумела за околицей, война наваливалась на Пастухова с его Асей, с его Алешей, с его цветочками в стакане, рукописями, замыслами, ожиданиями будущего, с его жизнью. История, время, календарь, часовая стрелка приговорили Пастухова к войне. Приговорили к смерти. Это был факт.

Как можно было осмыслить этот факт? Зачем Александр Пастухов должен погибнуть в войне, которой он не призывал, не хотел, чурался? Ведь приговаривают за преступление, за вину. Что преступил он? В чем виновен? Он не красный, и значит, его будут считать белым. Он не белый, и значит, его будут считать красным. Он приговорен за то, что не белый и не красный. Ужели весь мир либо белый, либо красный? Что делать, если Пастухов оливковый? Убить его! Ультрамариновый? Тоже убить! Но почему оливковые, ультрамариновые не убивают, а убивают белые и красные? Впрочем, есть еще зеленые, и они тоже убивают. Курьезно то, что зеленые зовутся братьями — братья, которые убивают, зеленые братья, дезертиры, скрывающиеся в лесу. В лесу, где заплутался, в темноте, Пастухов. Он заплутался, он приговорен. Это факт. И осмыслить этот факт нельзя. Потому что приговоренный к смерти может понять значение своей смерти для других, но значения своей смерти для себя понять не может: его смерть зачем-то нужна истории, времени, календарю, часовой стрелке, но ему она не нужна. Для него, для Пастухова, который умрет, в смерти нет никакого смысла. И его мысль возмущается смертью.

Но его мысль вдруг ищет примирения со смертью, хотя он не хочет примиряться. Он думает так. Человек поставлен перед лицом исторической действительности, как перед лицом своей природы. Ему дана возможность бороться с силами природы за продление своей жизни. Но силы природы непременно побеждают смертью. Ему дано бороться за продление своей жизни, выбирая в действительности позицию, которая сильнее. Но если он неспособен предугадать, какая позиция обережет его жизнь, и он становится жертвой преждевременной смерти, то ему остается найти смысл в этой жертве. Найти смысл в бессмыслии жертвы. И он его ищет. Ведь если молодой, здоровый, счастливый, талантливый человек, каким себя видит Пастухов, падет никому ненужной жертвой, люди поймут бессмыслие его гибели. Люди убьют одного, двух, десятых Пастуховых и обнаружат, что убили их напрасно. Обнаружат, что утрата не только бесплодна, она невыгодна, вредна. Поймут, образуются, и жертва из ненужной станет осмысленной.

Однако тут Пастухов возвращается к исходу. Совершенно верно, жертва может быть осмыслена. Но смысл жертвы является достоянием тех, кому она принесена, а не того, кто ее принес. Тот, кто пожертвовал собой «за други своя», ничего не приобрел. Приобрели «други». Кто же эти «други», другие, друзья? Ради кого должен уничтожиться Пастухов?

Он думает о друзьях. Где они? Ася? Алеша? Их ожидает несчастье, если он погибнет. Его петербургские приятели? Они рассеялись по земле и безразличны к нему. Театральные дирекции, актерские труппы? Они скорее пожалеют его, чем извлекут из его смерти пользу. Кто же выгадает от исчезновения Пастухова? Два-три драмодела, которым мешал успех Пастухова. Они подпишут коллективный некролог и, растирая подошвами крокодиловы слезы, будут плясать от радости, что больше не появится ни одной новой пьесы Пастухова. И ради того, чтобы они пустились в присядку, он должен умереть?

Нет, у Пастухова нет друзей. Может быть, вся беда в том, что у него нет друзей? Может быть, если бы друзья были, они помогли бы ему сделать выбор — куда пойти? Ради чего приносить себя в жертву, если история, время, календарь, часовая стрелка обрекли его в жертву? Выбор, выбор, вот что должен был сделать Пастухов! Все содержание жизни, вся ее сущность сводится к одному, и это одно — выбор!

Так, с этим ощущением приговоренного, Александр Владимирович явился к Извекову. Его заставили подождать в приемной. Он понимал, что его могут обидеть, и был готов к обиде. Даже в позе его проступила безропотность. Но он ошибся: его не собирались обижать. Через полчаса с необычайной поспешностью к нему вышел Извеков:

— Я был занят телефонными переговорами, извините. Пройдем ко мне. Вы ничего не имеете, если я пообедаю?

В смежной с кабинетом узенькой комнате Извеков снял салфетку, укрывавшую две тарелки. В одной была пшенная каша, на другой лежало яблоко, еще не совсем спелое, и кусок пеклеванного хлеба.

— Съешьте яблочко, — сказал Извеков.

— Спасибо. Я боюсь, помешаю вам. Но у меня короткое дело.

— Нисколько не помешаете, — возразил Извеков, отправляя ложку каши в рот. — А то, правда, съешьте, а? Из наших советских садов в Рокотовке. Бывали когда там?

— Да. Там прежде было прекрасно.

— И теперь тоже прекрасно.

— А вы были?

— Нет. Я представляю себе.

Пастухов почувствовал любопытство к этому молодому человеку, глотавшему холодную кашу с таким удовольствием, будто аппетит был пробужден изысканной гастрономией. Однако, по-настоящему любопытно было не то, что он ел с аппетитом (редко кто в эту эпоху ел без аппетита), а то, что во время еды лицо его не переставало отражать, видимо, нисколько ему не мешавшую настроженную мысль.

— Теперь везде одинаково, что в садах, что в огородах, — сказал Пастухов.

— Одинаково хорошо. или одинаково плохо?

— Достаточно того, что одинаково. По-моему, несчастье человечества заключается в универсальных учениях. Нельзя создать общую, одинаковую форму жизни, одинаковое счастье для человека.

Извеков облизал губы и словно подмигнул собеседнику.

— Страшно хочется пофилософствовать, да? Как у Чехова. Ну, давайте. Вскроем, для начала, одно заблуждение. Общее не означает одинаковое. Общее — значит принадлежащее всем, но не одинаковое. Это общее будет разное, но равно доступное всем. Каждый будет выбирать деятельность по своему желанию, и один станет садоводом, другой хирургом, третий землепашцем или машинистом. Но каждому равно легко будет доступно счастье.

— Если он от него не откажется, — заметил Пастухов.

— Невыгодно будет отказываться.

— Невыгодно для одних, выгодно для других. Это доказывает война.

— Да, пока идет раздел. Тем, у кого отбираются излишки благ, конечно, выгодно... отказаться от счастья тех, кому излишки передаются, — усмехнулся Извеков.

Пастухов приметил оттенок нового удовольствия на его лице — немного лукавого удовольствия превосходства. Извеков со вкусом заедал свои реплики кашей, будто шутя вознаграждая себя за легко найденное соображение.

— Забавы мысли, — сказал Пастухов недовольно. — Жизнью движет чувство.

— И мысли! — живо воскликнул Извеков. — И, пожалуй, мысль раньше всего, потому что стремится руководить чувством.

— Это неверно, — запротестовал Пастухов, чуть-чуть раздражаясь. — Вначале была боль. Был жест. Был крик. Потом было слово. Из чувственного родится мысль. Не наоборот. Нет, не наоборот. Злоба, ненависть, любовь всегда сильнее сознания. Мы не хотим войны, но не можем без нее.

— Мы не хотим бессмысленной войны. То есть войны злонамеренной.

— Вы хотите войны, которая руководствуется любовью? Вы хотите доброй войны — по ее целям, по ее намерениям, так? Но это значит, вы хотите обогатить или обогатить смыслом чувство, идущее впереди сознания — чувство ненависти, потому что война исходит из чувства ненависти. А это чувство сильнее осмысления, которым вы стараетесь его опередить. Зло войны сильнее добра ее целей.

Извеков отставил тарелку и поглядел в глаза Пастухова настойчиво-жестко.

— Что значит «вы»? Кто это? — спросил он низким голосом.

Пастухов немного выждал, затем ответил, тяжело подымая плечи:

— Я не имею в виду вас лично. Но раз вами употреблено слово «мы»... я говорю... вообще...

— Чтобы отделить себя?

— Это воспрещено?

— Это ваше право. Я только хотел знать, ведем ли разговор мы, или мы и вы. Повидимому, последнее. Тогда я буду говорить только о нас... Да. В этой войне нами руководит ненависть. Но ненависть наша не слепа. У нее зоркий глаз. Этот глаз — справедливость. Мы ведем справедливую войну обездоленных, которые защищают свое право на достойное человека бытие. Мы не хотим войны, мы хотим мира для всех. Но к нам применено насилие, нам предложена война. Мы приняли ее. Мы воюем против войны. Поэтому наша война не злонамеренна и не бессмысленна. Она, как вы выразились, добра. У нее великий смысл и прекрасная цель. Если мы сложим оружие, мы будем преступниками. Потому что нас не пощадят, раздавят, и еще больше обездолят обездоленных.

Пастухов вскинул руку, чтобы остановить Извекова. Очень тихо, преодолевая вдруг вернувшееся к нему испытанное по дороге сюда страдание, он проговорил:

— Я никогда не сомневался в возвышенности целей, о которых вы говорите. Я не так наивен и, в конце концов, не так жалок, чтобы бояться осмысленной борьбы. Но, признаюсь, меня ужасает, что в битве за добро человек вынужден делать так много зла!

Кирилл молча взял яблоко, без усилия переломил его и, улыбнувшись, протянул половину Пастухову:

— Попробуйте все-таки...

Пастухов долго сохранял неподвижность, всматриваясь с каким-то глубоко утаенным опасением в зеленовато-белый заискрившийся соком овал разломленного яблока.

— Ну что ж, постараюсь справиться один, — сказал Извеков, опять улыбаясь, и с хрустом перекусил половинку надвое.

Намек на знакомую с детства легенду праотцов был настолько очевиден, что Пастухов почел неостроумным сказать, что понял его. Он пристально следил, как Извеков разжевывал хлеб вприкуску с яблоком. Угловатые челюсти Кирилла сильно пружинились от крепкой работы мышц. Казалось, он всецело отдался наслаждению приятной едой. И все же взгляд его сохранял настороженную и словно мечтательную мысль. Хрустя яблоком, он заговорил:

— Вы ужасаетесь войны, но под войной разумеете революцию. Я, по крайней мере, слышу это.

— Я разумею уничтожение человека человеком. А каким словом называется уничтожение — разве это существенно?

— Вы не были на войне?.. В армии есть понятие «невозместимого материала». Мораль обязывает нас дать в руки революции нечто подсобное невозместимому материалу. В самом деле. Если война имеет право пользоваться ценностями и человеческой жизнью в целях разрушения во имя победы, во имя защиты от врага, то как же революционер будет лишен всяких ценностей, всякого права на жизнь, когда его целью является строительство нового мира? Солдат не отвечает за израсходованный боевой припас, за уничтоженную кровь, за истребление богатств и жизней, если это сделано в интересах победы. Почему же революционеру должно ставить на счет всякую разбитую тарелку и, тем паче, всякое членовредительство, будь оно учинено даже явному врагу?

— Логично, но жестоко, — сказал Пастухов.

— А война? Та война, против которой вы, наверно, не возражали, пока она не обратилась в революцию. Она была жестока, но нелогична. Правда?

Кирилл смотрел на Пастухова с торжеством. Бог знает, куда могло завести неожиданное состязание! — подумал Пастухов и отозвался как можно ленивее, показывая, что устал спорить:

— Человек есть существо объясняющее. Без объяснения видимого или происходящего нет ему покоя. Но уж зато если он нашел объяснение — готов примириться с чем угодно.

— Не примириться, но отстаивать верно найденное объяснение.

Нет! Этот говорун находил в дебатах явную усладу! В конце концов, не ради словопений явился сюда Пастухов в такую тяжелую минуту.

— Стоит ли, однако, — сказал он с грустью, — стоит ли цепляться и виснуть на подножке трамвая, лишь бы угнаться за объяснениями? Не проще ли итти по-хорошему пешком?

— Можно еще верхом на ослиати, — задорно добавил Извеков.

Пастухов снова пожал плечами:

— Мне кажется, в погоне за объяснениями вы не хотите понять Россию.

— Нет, я принадлежу к тем, кто хочет понять ее, чтобы делать новую Россию. В отличие от тех, кто хочет понять ее, чтобы сохранить старой.

— Вряд ли следует огулом отвергнуть все старое. Так, как думаю я, думают многие. Я не один.

— Знаю, что вы не один, — мгновенно усмехнулся Кирилл. — По данным на прошлый месяц таких, как вы, двести тысяч. Сейчас наберется и больше.

— По каким это... данным?

— Центральной комиссии по борьбе с дезертирством. (Извеков прикрыл рукой расплывшуюся улыбку). Впрочем — может, гораздо меньше. Комиссия, поди, раздувает цифры, чтобы похвастать — ловим, мол, с успехом, не дремлем...

Пастухов повременил, как будто подчеркивая, что даже не находит, как ответить, но вдруг деловым тоном, с виду совершенно отклоняющим шутливость, высказал мнение, которое еще больше развеселило Извекова:

— Вы — большевик? В таком случае, последнее решение вашей партии обязывает вас к работе с... товарищами-дезертирами. Если не ошибаюсь.

— Замечание, как говорится, не лишено... — поискал слово Извеков и не нашел, и рассмеялся.

В смехе его было, пожалуй, не так много веселости, как вызова, и Пастухов решил, что не всякая шутка хороша. Он представительно поднялся, неспеша одернул на себе пиджак.

— Дезертир тот, кто нарушает присягу. Я присяги не давал.

Кирилл тоже встал. Сдвинув прямые свои брови, он секунду мерил сощуренными глазами Пастухова с головы до ног.

— Когда городу угрожает наводнение, жители выходят строить дамбу, не давая никакой присяги... И кто не вышел, кто спрятался, тот дезертир.

Пастухов достал платок, утер губы, в высшей степени деликатно заинтересовался:

— Вы пообедали?

— Да, — ответил Извеков. — Пойдемте в кабинет.

Там он остановился около своего места за столом, давая понять, что хотел бы скорее кончить с делом.

— Не знаю, угодно ли вам будет пойти мне навстречу после нашего... философского разговора, — проговорил Пастухов натянутыми

губами. — Я с семьей очутился на улице. Квартиру, в которой мы жили, занимает городской военком под какое-то свое учреждение. Это квартира Дорогомиллова. Вы слышали о таком? Его, между прочим, тоже выселяют, вместе с нами.

— Дорогомиллова?

— Да. Мы должны выехать из квартиры завтра. Куда? Я не знаю. Я прошу либо остановить выселение, либо предоставить мне какое-нибудь жилье.

Тогда произошел разговор, который поистине не нуждался ни в каких философских предпосылках. Так как дом занимали военные власти, Извеков не мог приостановить выселения. Что же до жилья, то с помещениями в городе было из рук вон плохо, и Пастухову оставалось устраиваться частным образом. Сделать это в двадцать четыре часа было, очевидно, невозможно, но Извеков не видел иного выхода.

— Простите... — обижено сказал Пастухов, — но в каком положении окажется Совет, если горожане увидят завтра мою семью на узлах и чемоданах, как цыган, под открытым небом?

— Этого не может быть. Жилищный отдел обязан дать помещение, хотя бы временное.

— Где-нибудь в бараке? — спросил Пастухов, легонько кланяясь, как бы в благодарность за утвердительный ответ, который он предвосхищал.

— Возможно, — бесчувственно сказал Извеков. — Во всяком случае, мы не будем проводить дополнительную муниципализацию домов, чтобы устроить вас в квартире.

Пастухов стоял, точно памятник самому себе — с опущенными руками, неподвижный и будто покрупневший. Вдруг сорвавшимся неверным голосом он выговорил, шумно вздохнув:

— Вы меня толкаете... бог знает на что!

— Мне не интересно, на что я вас толкаю, — быстро ответил Извеков. — Вы старше меня, у вас на плечах своя голова... Что такое? — спросил он тут же у вошедшей стриженной барышни.

— Вас ждут на заседание.

— Да, я кончил. Сейчас иду.

— Будьте здоровы, — негромко сказал Пастухов и коротким шагом пошел из комнаты, не подав руки.

Как только затворилась за ним дверь, Кирилл велел вызвать к телефону военного комиссара. Пока барышня вертела ручку аппарата, постукивала рычажком, читала наставления центральной станции, он успел несколько раз пробежать по кабинету из конца в конец. Потом он сам вступил в бой с телефонисткой, добился соединения и сказал военкому:

— Мне тут на тебя жалуются, что ты выселяешь из квартиры одного гражданина... Да, есть такой гражданин... Арсений Романыч Дорогомиллов. Можешь узнать о нем у Рагозина, если хочешь... Как первый раз слышишь? Выбрасывают человека на улицу, а тебе неизвестно?.. Что ты меня спрашиваешь? Я должен тебя спросить — кто приходил. Приходили выселять от твоего имени... Как так — не нуждаешься в помещении?.. Странно. Разберись, пожалуйста... Ясно, что есть дела поважнее. Думаешь — у меня нет?.. Распутай, прошу тебя, а то нехорошо получается. И позвони мне.

Кирилл с силой хлопнул себя руками по бокам, отошел к окну. Не мог же Пастухов сочинить все от начала до конца! Вон он шествует вдалеке по тротуару, тем же коротким шагом оскорбленного и сдерживающего себя человека, каким покинул кабинет. Разве только прибавилось в осанке надменности, да голова поднялась немного выше, да пра-

вая рука значительно и в то же время свободно отсчитывает такт шагов. Нет, такой человек не может безответственно наболтать чёт знает что! Такой человек уверен, что занимает свое место во вселенной не напрасно. Такому человеку уступают дорогу, по привычке уважать тех, кто знает себе цену. Тут что-то не то...

Да, тут было что-то не то. Пастухов шел полной достоинства походкой. Но это была прирожденная стать и привычка носить себя по земле сообразно представлению о выдающейся своей породе. На душе же Александра Владимировича не оставалось и следа порядка. Она была унижена и отвергнута миром, она с тоскою твердила одно: вот ты, красивый, статный, когда-то независимый, идешь по улице попрежнему изящными шагами, так знай же — это твои последние шаги! Люби себя собою, носи свое добротное, складное, едва ли не великолепное тело в неизвестность — это твое последнее любованье, твои последние часы! Прощайся, прощайся со всем, что еще видишь. Прощайся с собою, ты скоро перестанешь быть.

Александр Владимирович возвратился домой мрачный, и Ася поняла, что они потерпели поражение. Он бросил шляпу, скинул пиджак, грузно придавил собою стул. Он был, как никогда, тяжел.

— Ну? — с извиняющейся улыбкой спросила Ася.

— Змий соблазнял меня вкусить от древа познания, — сказал он.

Она улыбнулась смятеннее, но игривей:

— И что же, грехопадение свершилось?

— Завари мне свежего чаю.

Он налил такого крепкого чаю, что она испугалась за его сердце. Он лег и пролежал до сумерек, глядя в потолок.

Потом он вывел Асю в сад. Они сели на перевернутую тачку, которую любил катать по дорожке Алеша. Они говорили неторопливо о вещах ясных и одинаково близких им обоим. Решение уже сложилось, но они вели к нему друг друга нарочно с оглядкой, проверяя заново все пережитое.

Они надолго примирились бы с тишиной этого заброшенного сада, где просвирник, перевитый вьюном, бедно стлался под ногами, да малывы жались к забору, да плотные тополя навесом заслоняли небо. Конечно, это не был райский сад, но потому, что их изгоняли отсюда прочь, им было жаль его. Еще вчера беглецы, сегодня они становились изгнанниками. Им оставалось стремиться к другому такому же укромному углу. Тот самый Балашовский уезд, вожделенный и недосягаемый, ради которого они покинули Петербург, опять делался единственной целью. Там, конечно, еще сохранилась хуторская усадьба, где доживали старики Анастасии Германовны, там найдется и хлеб, и кров над очагом, там никто не посягнет на человеческую неприкосновенность. Они договорились отправиться туда немедленно.

Вечером Пастухов сообщил решение Дорогомилову.

Арсений Романович в последнюю неделю обретался в непреходящем возбуждении. События будто дразнили его честолюбие. Он корил себя бездействием. В городе росла тревога, люди на разные лады готовились встретить надвигавшуюся грозную перемену. А он листал за конторкой ведомости и грессбухи, как это делал всю былую жизнь. Он сердился на свою неспособность повернуть с проторенной дороги. Известие о том, что выселение из насиженного гнезда должно состояться, он встретил вдруг без всякого противления, но с тайной надеждой, что это будет толчок к каким-то очень важным действиям — может быть, к переходу на военную службу, а то и к выступлению на фронт. Да, он сменит заветшалый сюртук на гимнастерку, подтянется ремнем, выкинет

галстухи, сбреет бороду и гриву! Маршировать он может превосходно, ходоком он был всегда неутомимым! Жизнь, в сущности, позади, но она еще теплится, и тепло ее надо отдать за благородное дело.

— Позвольте, — изумился Арсений Романович, когда Пастухов объявил, что завтра увозит семью в Балашов, — ведь там, подать рукой, идут бои! Как же можно — с мальчиком? Там кругом — белые!

— В нашем положении безразлично — какие. Раз меня до этого довели. Нам нужен дом, — даже с некоторой заносчивостью ответил Пастухов.

Арсений Романович не сказал на это ни слова, а только отшатнулся немного и потом молча, совершенно неучтиво удалился к себе темным коридором.

Короткий этот разговор слышал Алеша. Его поразило, как отвернулся Арсений Романович от отца. Он ни разу не замечал на лице Дорогомилова такого осуждения. Он насилу заснул, и ночью все время свергался и летел то с колокольни, то с горного обрыва, то с самого кончика мачтовой реи — в бурлящую воду, и просыпался в горячем поту, и слышал, как мама и Ольга Адамовна шуршат на полу газетами, завертывая посуду, и папа сопит, продергивая в свистящие пряжки и затягивая с хрустом ремни саквояжей.

К Вите и Павлику Алеша питал уважение с того первого часа, как увидел их в настоящей драке. Он ощущал перед ними почтительный страх, как перед существами несравненно более ценными, чем он сам, и привык говорить им всю правду. Поэтому, когда на другой день мальчики забежали в обед к Арсению Романовичу, он приготовился обо всем рассказать. Но, очутившись с ними в саду, он догадался, что уже все известно, и ему сделалось почему-то до боли стыдно.

Павлик и Витя разглядывали его еще отчужденнее, чем в минуту незабвенного знакомства в кабинете Арсения Романовича. Павлик даже выпятил нижнюю губу, точно приготовился сплунуть. Витя насвистывал неизвестный и потому крайне поддразнивавший мотив. Наконец он точно сжалился над растерянным Алешей и спросил презрительно:

— Утекаете?

— Мы уезжаем к маме домой. Это на хуторе у дедушки с бабушкой, — старательно объяснил Алеша.

— Рассказывай. Чего же раньше не уезжали? А как дошло до драки...

— До какой драки? — спросил Алеша.

— До такой...

— Они — белые, — сказал высокомерно Павлик.

— Нет, мы не белые, — сказал Алеша слабым голосом.

— А чего же вы против красноармейцев? — спросил Витя.

— Мы не против красноармейцев, — возразил Алеша, и один глаз его заблестел от слезы.

Все трое постояли безмолвно, не глядя друг на друга.

— Вы сердитесь? — робая, спросил Алеша и чуть подвинулся к Вите.

— Охота была! — ответил Павлик.

— Чего сердиться? — согласился Витя. — Ты маленький, тебя возмут и увезут.

— Это всё папа! — воскликнул Алеша отчаянно и с благодарностью за то, что Витя его понял. — Мне жалко Арсения Романовича... и вас тоже, — прибавил он, страшно краснея.

— Бедные лучше, — обличительно произнес Павлик. — Мой вот отец беднее твоего, а лучше. Только зашибал!

- Как зашибала? — спросил Алеша.  
 — Ну, когда на него найдет, он зашибает.  
 — Бьет?  
 — Не бьет... а пьет! Чудак ты какой...  
 Они еще постояли, и Павлик позвал Витю:  
 — Идем, чего дожидаться?!

Они ушли, не попрощавшись с Алешей, и он остался один, около черной лестницы, перед растворенной дверью, через которую долетал сверху шум: там выносили в коридор запакованные тяжелые вещи.

Потом к этому волнующему шуму прибавились шаги по ступенькам, и Арсений Романович, без шляпы, расстегнутый и косматый, показался в дверях. Он пробежал мимо Алеши, и уже взялся было за щеколду калитки, но вернулся.

Обняв алешину голову, он с жаром трижды прижал ее к своему животу и потом словно залил лицо Алеши путаными холодноватыми волосами своей бороды. Весь этот необъяснимый, иступленный порыв объятий и поцелуя длился маленькую долю секунды, и затем, оторвавшись от Алеши, Арсений Романович опять побежал к воротам.

И когда до Алеши долетел дребезжаще-звонкий стук калитки, и он увидел, что остался опять один, совсем один! — он зажал кулаками глаза и, дергаясь от плача, стал медленно взбираться по лестнице на верхний этаж. Он так отчетливо понимал, что с ним произошло, что невольно находил новые, недавно совсем чуждые ему слова, определявшие его переживание. Ему казалось, что, всхлипывая, он выговаривает эти необыкновенные, отчаянные слова. Но он только плакал. Вместе с мамой и папой, вместе с Ольгой Адамовной он был отверженным и бежал неизвестно куда! Его все презирали за то, что его отец был хуже бедных, за то, что сам он был ничтожнее и малодушнее Павлика с Витей! Его жалел один Арсений Романович, жалел, любил, но не мог его спасти и покинул навсегда.

Алеша остановился наверху, в летней кухне, около плиты. Он отнял кулаки от глаз и, как когда-то, в первые минуты после приезда в этот дом, увидел перед собой спасательный круг.

Прекрасная вещь лежала на старом месте. Сколько было связано у Алеши ожиданий с этим кругом! Несостоявшиеся походы за рыбой, путешествия на пески к далекому коренному руслу, гребля веслами, может-быть — горячая работа за парусной оснасткой, может-быть — купанье в пароходной волне, и уж конечно — костры, костры, костры! Когда Арсений Романович ездил с мальчиком на лодке, он брал с собой этот круг, как верного товарища. И вот с этим верным товарищем Арсения Романовича Алеша прощался теперь, как с утраченной надеждой. Он чувствовал, что гибнет и что ничто на свете его не спасет.

Он погладил шершавое раскрашенное пробковое тело круга, подержал оцеплявшие это тело веревочные петли и крепко припал к нему влажной щекой.

Голос мамы прозвенел в коридоре: «где наш Алеша, где Алеша?»

Он вытер насухо глаза, щеки и крикнул сурово:

— Я здесь! Пожалуйста... без волнений...

Еще до заката солнца Пастуховы прибыли, позади груженных багажом тележек, к вокзалу. Дорогомиллов их не провожал. Алеша слышал, как Ольга Адамовна сказала маме: «он мог не провожать, но проститься он был обязан... этот неприличный господин!» На что мама заметила со своей едва уловимой задумчивой улыбкой: «он — строгий судия»...

Пастухов не участвовал в разговорах. Его захватило зрелище страстной и многоликой жизни, бывшей на площади. Так же, как весной, его

семья беспомощно стояла перед вокзалом, прикованная к несуразной куче вещей, которую надо было оберегать от нетерпимой человеческой стихии. Но до чего разительны были изменения, происшедшие за недолгие месяцы!

Прежде всего, вокруг стало гораздо больше людей. Образуя сплошную массивную толпу, они рвали ее изнутри потоками, завихренными маленькими толп, кучек и горсток. Одни текли и текли в вокзальные двери, другие напирали навстречу, вылетая наружу целыми гроздьями спрессованных, как изюм, едва не размятых тел.

Что дальше бросалось Пастухову в глаза — это обилие вооруженных красноармейцев. Они тоже непрерывно двигались в людской массе, то группами, то в одиночку. Повсюду над головами взблескивали исчерна-серебристые иглы штыков. Скинув с мокрых, почерневших плеч скатанные солдатские шинели, бойцы тащили их в руках, будто шли с хомутами запрягать лошадей, и тяжелая эта ноша казалась ненужностью среди распаренной зноем потной толпы, странно напоминая о далеких, неправдоподобно-холодных ночах.

Огибая огромной живой скобой всю площадь, шевелились на мешках семьи беженцев. Витал неровный ропот голосов, и как бы ни был резок отдельный звук, он не мог отодвинуть этот ропот или стусшевать его, — ни громко звякавший где-нибудь поблизости жестяной чайник, ни детский жалобный крик, ни даже перекатывающийся через крышу вокзала сплошной вопль паровоза. Шум был слитен и сомкнут, и чудилось — даже мысль человеческая не могла бы тут зародиться обособленно от разноголосого и тысячеголового единства во множестве.

Неожиданно перед задумавшимся Пастуховым остановился военный в одежде с иголочки. Он был слегка загорелый, худой и словно только что вымытый. Улыбка раздвигала ямку на его подбородке. Он смотрел предельно увлекшимся взглядом молодости на Пастухова, ожидая — что же может получить в ответ.

— Вы меня ни за что не признаете, — пробормотал он наивно, не вытерпев слишком долгого молчания. — У меня ведь была борода!

— Борода, — повторил за ним Пастухов.

— Вы нам тогда показывали ленточку, — вдруг сказал Алеша.

— Совершенно верно! — обрадовался военный. — Дибич. Я—Дибич.

— Боже мой, ну, конечно! — воскликнула Ася. — Вы прямо-таки расцвели!

— Что вы! Просто — поправился. В первый раз за столько лет чувствую себя здоровым. А вы?.. куда же опять собрались? Все еще не доехали?

— Вы, я вижу, уже.. доехали, — проговорил Пастухов, останавливая медлительный взгляд на красной звезде дибичевской фуражки.

— Да, — сказал Дибич всё с той же улыбкой, — опять в армии. Формирую новые части.

— В канцелярии? — полюбопытствовал Пастухов. — Командовать вас, конечно, не допустят?

От Дибича будто отскакивали эти маленькие уколы. Он говорил живо, несколько не тая восторга, что встретил приятных знакомых.

— Что там командовать! Теперь сколотить новую часть, пожалуй, хитрее, чем отбить у противника позицию. Заваруха — страсть!.. А я вас на днях вспоминал. Знаете, почему? Помните солдата, который нас чуть не арестовал тогда, в Ртищеве?

— Белоглазый?

— Да, да. С одним глазом — в другом у него осколочек. Ипат Ипатьев.

— Ну?

— Так он ко мне явился добровольцем записываться. Вспомнили Ртищево, посмеялись. Смотри, говорю ему, что ты хотел учинить: человек революцию делал, а ты его в каталажку поташил... Я, когда лежал в лазарете, о вас заметку прочитал, — добавил Дибич с оттенком почтения.

— Да, — произнес Пастухов несколько властно и зажал двумя пальцами поясную пряжку Дибича. — Скажите мне. Неужели вы не понимаете, что впутались в историю, которая обречена?

Дибич неторопливо сдвинул фуражку на затылок.

— В историю? — переспросил он. — Да. С большой буквы.

— Но вы будете жертвой этой большой буквы! — резко сказал Пастухов и выпустил пряжку, немного оттолкнув от себя Дибича в пояс.

— Может быть, — серьезно согласился Дибич, но тут же, с вызывающей хитростью, как-то снизу, нацелился на Пастухова и спросил: — а если нет?

— Если нет? — помедлил Александр Владимирович, — если нет, значит я дурак.

Дибич засмеялся:

— Ну, если вы хотите...

Ася, со своим тонким чувством опасности, вмешалась, озаряя Дибича любвеобильным сиянием лица, которое он помнил с первой встречи:

— Чем же вы сейчас здесь заняты?

— Я тут с маршевой ротой из моих формирований. Провожу ее до Увека, там — перегрузка на пароходы. Фронт совсем недалеко. Вчера белые Камышин взяли. Слыхали?

Пастухов быстро взглянул на жену. Она сказала, прикрыв волнение шутивно-просительной улыбкой:

— Но значит, вы на вокзале — у себя дома! Может быть, и нас, бедных, погрузите?

— Куда же, куда вы собрались?

— Всё туда же — домой.

— Домой? — ухмыльнулся Дибич. — Это как в сказке... Нет, правда, — в Балашов? Не легко. Но попробую.

Он затерялся в толпе, и его долго не было. Уже начинало темнеть, когда он пришел снова и сообщил, что разговаривал с комендантом вокзала, и тот ждет, чтобы Пастухов явился лично. Дибич наспех распрощался — рта его уже стояла на колесах.

Если бы в эту минуту Пастухову сказали, что ему предстоит десятеро черных суток ползти в товарном вагоне, простаивая дни и ночи на станциях и разъездах, чтобы опять приехать не туда, куда стремился, он предпочел бы раскинуть семью табором где-нибудь за полотном дороги, в Монастырской слободке, или подальше, в Игумновом ущелье, под садовым плетнем. Но он, закусив губы, добился посадки и тронулся в путь, как в плавание на утлом плоту по неизведанным водам.

Снова он попал в Ртищево, забитое вагонами, конями, платформами, ротными кухнями, интендантским сеном, некормленным скотом, поломанными автомобилями, и людьми, людьми без счета. Снова он ходил по комендантам, начальникам, комиссарам, упрашивая, требуя, чтобы его пересадили на балашовский поезд. Он исхудал, истрепался. Ася потеряла сверкание своих красок, улыбка ее стала бедной. Алеша помногу спал или дремал, положив голову на колени Ольги Адамовны. Вокруг было серо от пыли и полыхало жаром иссушенных степей.

Раз поутру Пастуховы проснулись на полном ходу поезда. С громом и скрежетом сцеп вагон, раскачиваясь и гудя, летел по спуску между

захудалых черных сосёнок вперемежку с березняком. Как случилось, что вагон отправили с неизвестным составом, куда мчится поезд и давно ли — никто не мог понять. Наконец на маленькой станции выяснилось, что вагон прицепили к порожняку, который гонят в Козлов.

— Наплевать, — сказал Пастухов, — я так или иначе ничего не понимаю. Не все ли равно? В Козлов ли, в Баранов...

Он увидел отчаяние на лице Аси и как можно спокойнее договорил:

— Это даже лучше. Из Козлова скорее попадем в Балашов... Через Грязи... или как они там называются...

Он бросил взор на Ольгу Адамовну и, будто сорвавшись, закричал изо всей мочи:

— Перестаньте тереть глаза, мадам! Вы живете в историческую эпоху! И обязаны быть ко всему готовой... Чёрт вас возьми совсем!

## 20

В первой декаде июля было опубликовано письмо Центрального Комитета Российской Коммунистической партии большевиков к организациям партии — «Все на борьбу с Деникиным!» Письмо было написано Лениным. Оно начиналось словами:

«Товарищи! Наступил один из самых критических, по всей вероятности, даже самый критический момент социалистической революции...»

Колчак и Деникин признавались этим письмом главными и единственно серьезными врагами Советской республики. Вместе с тем, устанавливалось, что только помощь Антанты делала этих врагов силой. И вместе с тем, несмотря на признание момента самым критическим, письмо провозглашало, как свершившийся факт, победу над всеми врагами: «И мы уже победили всех врагов, кроме одного: кроме Антанты, кроме всемирно-могущественной империалистической буржуазии Англии, Франции, Америки, причем и у этого врага мы сломали уже одну его руку — Колчака; нам грозит лишь другая его рука — Деникин».

Для того, чтобы отразить эту занесенную над Республикой еще не сломанную руку врага, Ленин призывал свою партию приспособить к войне и перестроить по-военному всю работу всех учреждений. Он предлагал, не колеблясь, приостанавливать на время ту деятельность, которая не абсолютно необходима для военных целей. Он писал: «В прифронтовой полосе под Питером и в той громадной прифронтовой полосе, которая так быстро и так грозно разрослась на Украине и на юге, надо всё и вся перевести на военное положение, целиком подчинить всю работу, все усилия, все помыслы войне и только войне. Иначе отразить нашествие Деникина нельзя. Это ясно. И это надо ясно понять и целиком провести в жизнь».

Письмо, исполненное убеждения, похожего на остроту и твердость алмаза, отозвалось, словно в горах, повсюду разраставшимся эхом. Касаясь будущего страны в целом, судьбы всей революции, письмо каждой строкой било как бы по отдельному месту, по определенному факту, по особому, как бы вполне оазисному положению. Так, для тех, кто в эти дни жил событиями Саратова, было совершенно очевидно, что отдельным местом, которое будто бы подразумевалось в письме, был именно Саратов; определенными фактами были саратовские, нижеволжские общественные факты; особенным положением, как бы выделенным из всероссийской обстановки, было оазисное саратовское прифронтовое положение. Другими словами, в Саратове письмо рассматривалось людьми, сочувствовавшими революции, как адресованное всей Республике вообще, а Саратову в частности и, пожалуй, даже в особенности.

Рагозин, прочитав письмо один раз на службе, во время занятий, другой — у себя дома, при свете керосиновой лампы и с карандашиком в руке, написал заявление в две строки о том, чтобы его перевели на военную работу.

Он был вызван в Губернский комитет. Член бюро комитета сообщил ему, что освобождение от должности в Финансовом отделе в данное время невозможно: благодаря усилиям Рагозина, работа только начала налаживаться, и уход руководителя отразится на ней печально. Петр Петрович был вполне готов к возражениям, считая их естественными. Он извлек из кармана испещренный карандашом — в черточках, птичках и восклицательных знаках — печатный документ, отыскал жирно отчеркнутый абзац в разделе «Сокращение невоенной работы» и принялся читать вслух:

— «Возьмем для примера научно-технический отдел Высшего Совета Народного Хозяйства. Это — полезнейшее учреждение, необходимое для полного строительства социализма, для правильного учета и распределения всех научно-технических сил. Но безусловно ли необходимо такое учреждение? Конечно, нет. Отдавать ему людей, которые могут и должны быть немедленно употреблены на насущную и дозарезу необходимую коммунистическую работу в армии и непосредственно для армии, было бы в настоящий момент прямо преступно».

— Позволь,—остановил Рагозина его оппонент.—Ты думаешь, мы тут этого не изучали?

— Изучали-то изучали, а ты разреши еще пару строчек. «Такого рода учреждений и отделов учреждений у нас, в центре и на местах, очень не мало. Стремясь к полному осуществлению социализма, мы не могли не начать сразу постройку подобных учреждений. Но мы будем глупцами или преступниками, если перед грозным нашествием Деникина не сумеем перестроить рядов так, чтобы всё не безусловно необходимое приостановить и сократить».

— Так что же, по-твоему, можно закрыть Финансовый отдел?

— Можно закрыть меня в Финансовом отделе.

— Кабы так, мы бы тебя туда не поставили.

— В свое время, в свое время! — выразительно сказал Рагозин и даже поднял над головой палец.—Мы ведь, как видишь, не против науки и техники? Не против. Но сейчас не до того. Верно я понимаю? Не до того... Финансами может управлять кто-нибудь другой. Об этом тоже определенно сказано. Смотри.

Он опять развернул документ, нашел другое отчеркнутое место и, читая, провел по строкам сложенными в шепот пальцами:

— «... мы можем идти на такой риск, чтобы многие из сильно сокращаемых учреждений (или отделов учреждений) оставлять на время без единого коммуниста, сдавать их на руки работников исключительно буржуазных».

— Ты читай дальше, — сказал член бюро, видя, что Рагозин поставил точку, и вытягивая из его рук документ. — Что дальше сказано? «Этот риск не велик, ибо речь идет только об учреждениях, не безусловно необходимых...» Понял? А твой отдел необходим безусловно.

— Я тоже грамоте учился, — сказал Рагозин, поднимаясь и обходя вокруг стола. Он плотно привалился к товарищу и продолжал попрежнему водить шепотью по бумаге, но уже не читая, а пересказывая напечатанное настойчиво и строго: — Какой ставится вопрос? Погибнем ли мы, если приостановим или сократим работу учреждения на девять десятых, оставив его вовсе без коммунистов? Кому поручается ответить на вопрос? Каждому руководителю ведомственного отдела в губернии или

каждой ячейке коммунистов. Руководитель я отдела или нет? Могу я сам ответить на вопрос? Или, может, за меня ячейка должна ответить?

— Да за тебя уже отвечено, — раздосадованно сказал товарищ, отстраняя слишком тяжело навалившегося Рагозина. — И отвечено не ячейкой, а бюро губкома. Ты хочешь отозваться на призыв партии? Изволь. Финансируй погуще того, кто работает на войну, и зажимай всех, чья работа сейчас мало полезна войне. Вон в Затоне, на ремонте военной флотилии, недостает металлистов. Подкинь туда деньжонок, может и металлисты найдутся.

Петр Петрович остановился на неудобном повороте корпуса, будто схваченный внезапной болью.

— А почему не слышно, что в Затоне нехватает металлистов? Я ведь тоже металлист.

— Опять свое! Людей берут от станков на руководящую работу, а ты от руководства к станку захотел!

— Да я не о том! В депо, на дороге, должны найтись старики, которые меня помнят, — я сколько лет там слесарничал. Их можно поднять, и — в Затон! Поручишь мне заняться?

— Что ж поручать? Делай. Только чтобы не во вред прямым обязанностям.

Рагозин слегка подмигнул:

— Я обязанности подскаражу. Не на девять десятых, а этак, скажем, на восемь.

— Шутить не время.

— Ладно, ладно! — уже в дверях сказал Рагозин со смехом. — На семь, на семь десятых, не больше, ей-богу!..

Так он попал сначала в депо — под задымленные, дышавшие гарью своды цехов, где сквозняки вели свои кадрили, присвистывая в пробитых черных стеклах, а потом — в Затон, под вольный свод неба, куда летели наперегонки яростные стучи клепальщиков, визг напильников, хрипы плотничьих пил.

В депо отыскивались всего два токаря, которые припомнили далекое прошлое и от души покалякали со старым знакомым, но только один согласился притти на работу в Затон («в порядке субботника», как он выразился), потому что на железной дороге своего дела было — не передохнуть. Зато оба обещали сагитировать на подмогу речникам кое-кого из молодых рабочих.

В Затоне Рагозин начал с помощи денежному ящику расплывшегося хозяйства, слабосильного, по сравнению с необычайными задачами, перед ним поставленными войной. Но, обходя суда, Петр Петрович попал на буксир, где расшивали железные листы фальшборта, взялся пособить, да так до вечера и не выпустил из рук тяжелого молота. После этого, приезжая в Затон на часок каждое утро, он прямо шел на этот полюбившийся буксир, и в руках его перебивали все инструменты, которыми когда-то он недурно владел. Власти удивительно скоро привыкли к тому, что за делами Затона наблюдает Рагозин, и не успел он оглянуться, как его потребовали к ответу: почему ремонт флотилии идет преступно-медленными темпами? Он только позадорнее шипнул колечко своего уса:

— Вот тебе, непоседа-дурак — наприсился в преступники!..

Сейчас же после падения Царицына отряды военной речной флотилии, с успехом оперировавшие на Восточном фронте против Колчака, были отозваны из Камского бассейна на нижнюю Волгу. Совпало это со взятием Красной Армией Перми.

Суда прибыли в район военных действий на юге, оказали артиллерийскую поддержку частям армии, которые сражались на берегах Волги.

но вынуждены были, вместе с этими частями, отступить сперва к Камышину, затем дальше вверх на полторы сотни верст. К этому времени в боях принимала участие флотилия в несколько десятков судов, колонна ее растягивалась на версты, судовая артиллерия насчитывала до ста орудий. После отступления один из отрядов был снова направлен в глубокий тыл противника с заданием громить тыловые части Врангеля. В рейде он высадил несколько мелких десантов военных моряков, вызывая панику среди белых, внезапно обстрелял Камышин и лежащую против города, на левом берегу, Николаевскую слободу, стремясь поколебать приближавшийся к Саратову деникинский фронт.

Операции сопровождалась серьезными потерями. Противник донимал речные силы интенсивными бомбежками с воздуха. Часть судов должна была стать в ремонт. В ремонте или на перевооружении находились и другие суда, готовившиеся влиться в Северный отряд Волжской военной флотилии, которому предстояло оборонять Саратов от врага. Город принял оттенок морского — с военным портом, черноморскими и балтийскими матросами, с особым флотским режимом, еще недавно совсем незнакомым мирному волжскому судоходству.

Тихие буксиры, привыкшие испокон века добродушно тянуть караваны баржей да и сами баржи, с развешанным на рулевом бревне разноцветным бельем водолеев, наспех превращались в огнедышащие пловучие крепости. Буксиры становились канонерскими лодками, баржи — вспомогательными судами для десантов, для переброски пехоты при форсировании рек. Иные канонерки бывали внушительно вооружены — на наиболее сильных из них устанавливались два четырехдюймовых орудия, два трехдюймовых зенитных, четыре пулемета, им давалась радиостанция, дальномер.

Переоборудованный в канонерку буксир терял невинный облик парохода. На нем взвивался флаг Красного военно-морского флота. Он переставал причаливать к конторкам: он пришвартовывался к стенке или становился на прикол. Уходя, он не отдавал чалки: он отдавал концы. Он уже не мерил задумчивый свой путь извечными верстами: он расценивал свои походы на мили. Про него уже не говорили, любясы: ишь, как бойко бежит! Нет: он имел хороший ход в двенадцать узлов. На его мостик больше не поднимался капитан: там высился командир. И даже старые его хозяева — матросы, меняли прежнее свое имя водников на славное звание военморов.

Только одного человека не мог заменить на волжском судне никто из моряков, и этот человек лукаво поглядывал на боевые новшества. Шалишь, думал он, без меня ваша морская крепость, не моргнешь глазом, станет на обсушку: один я знаю кормилицу-матушку с ее мелями да перекатами, банками да косами. Человеком этим был урожденный волгарь-лоцман, который и в военной флотилии оставался душою многотрудного вождения судов по мелким водам. Впрочем, и сама канонерка, несмотря на всю перелицовку, в глубине души оставалась буксиром, который лихо шлепал гребными плечами да твердо помнил, что осадка его — неполных два фута, а мощность машины — каких-нибудь двадцать пять лошадиных сил.

Такому маленькому буксиру и отдал свою нечаянную привязанность Петр Петрович. Суденышко называлось «Рискованный», и это понравилось Рагозину. Оно вооружалось руками водников-добровольцев, но когда явились военные моряки, чтобы принять «Рискованного» в состав флотилии, они ахнули. На палубе, вдоль бортов, сооружен был из обыкновенного кровельного железа широкий фальшборт. Внутреннее полое пространство его заполняла пакля. Кое-где в этом грозном каземате

были проделаны бойницы для стрельбы из ружей и пулеметов. С носа и с кормы фальшборт был открыт, и оттуда торчали по одному полемому трехдюймовому орудью на колесах. Никаких креплений орудия не имели.

— Братишечки, милые, — сказали моряки, — да ведь ежели вы откроете огонь с этого вашего монитора, пакля-то ведь вспыхнет! Да и фальшборт ваш кувыркнется в воду. Не-ет, это слишком рискованно даже для «Рискованного». Давайте-ка всё сначала.

Приказано было разобрать бойницы и перевооружить судно. Рагозин застал на нем сокрушающую работу в разгаре. Она втянула его запалом речного люда — машинистов и матросов, кочегаров и пристанных крючников, которые строили сначала эту маленькую крепость на защиту Республики своим волжским, невоенным разумением, теперь без жалости рушили ее, не щадя сил, и собирались так же истово строить вновь разумением морским и военным. Рагозину казалось, что вот такой работы — с потом, кровью, до усталости, до упада, работы истинно вдохновленной наивысшей целью защиты найденной и попираемой врагом правды — такой работы он и хотел всю жизнь. Но он не мог позабыть и того своего долга, который возлагали на него еще не снятые обязанности, сокращенные им не на девять и не на семь, а всего на каких-нибудь две десятых, «маненечко», как он говорил про себя. И он, после короткой работы, выходил из ворот Затона, охраняемых матросом под винтовкой, выходил вспотевший, с пожелтелыми от ржавчины и масла ладонями, но насколько не усталый, а только счастливо-притомленный, и у него не было раздражения, что он опять должен сесть за бумаги, где почти не встречалось слов, а только — цифры и цифры, и астрономически, до невообразимой абстракции, много нулей и нулей.

Но однажды, выйдя из ворот и взбираясь в перекошенную, облезлую пролетку, добросовестно служившую ему все лето, Рагозин почувствовал какую-то недостачу, словно бы спохватившись о некоторой позабытой важной вещи и не в силах сразу догадаться, что именно забыто. Как будто что-то держал в руках, а руки пустые.

Кучка мальчуганов-распоясок баловалась у придорожной канавы. Старший ударил ногой обломок кирпича, сбросил его в канаву, за ним все по очереди сделали то же, выискивая себе подходящие камни. Самому младшему показалось этого мало, он схватил тяжелый кирпич обеими руками и, свирепо напыжившись, кинул его в канаву. На него никто из товарищей не смотрел, он, видно, старался заработать их уважение.

Этот маленький богатырь чем-то был похож на Павлика Парабукина.

— А что если... — спросил Рагозин кучера, — что если мы с тобой возьмем вон по той горной дороге? На Симбирский тракт мы не выедем?

Оказалось — почему бы и не выехать? И Рагозин, совсем неожиданно для себя, велел ехать.

Намерение разыскать сына не оставляло его. Но оно зрело рывками — то заносит сердце, то притихнет и забудется. С месяц назад он вдруг поехал в скит с целью нащупать какие-нибудь концы в тамошнем детском доме. Ему не давала покоя мысль, что сын наверно обретается в доме для трудновоспитываемых. Где мальчику иначе быть? Родился в тюрьме, рос, поди, в приюте, какое у него может быть воспитание? Попал, конечно, на улицу, испортился вконец, может и ворует. Сколько таких несчастных кишит на берегу, на вокзале, на рынках!

В скиту о мальчике Рагозине ни воспитатели, ни дети не слышали. Один только учитель, служивший тут дольше других, начал что-то такое

смутно припоминать: будто бы, когда он поступил на службу, одного мальчика, как правонарушителя, отправили на Гусёлку, в трудовую колонию, и мальчик по фамилии был не то Ремезов, не то Рагозин. Документов в доме не сохранилось, старые воспитатели ушли, детей прежнего состава тоже не было, всё непрерывно менялось, перетасовывалось, ведомства нередко тягались между собою, оспаривая друг у друга компетенцию воспитания детей, суда над малолетними: в надзоре за детскими учреждениями участвовали сразу народные комиссариаты общественно-го призрения, юстиции, просвещения, здравоохранения. В таких хитро-сплетенных обстоятельствах, как в дремучем бору, не хитро, конечно, было затеряться мальчику, особенно если неизвестно — существует ли в действительности этот искомый мальчик?

Покидая детский дом, Рагозин встретил в скитской роще одутловатого монаха, который, таяжко опираясь на посох и опустив глаза долу, брел между дубков. От учителя Рагозин узнал, что это — мирный сосед детского дома, викарный архиерей, и подумал не без досады: архиереи в полной сохранности, а в детском хозяйстве чёрт ногу сломит! А ведь архиереи — прошлое? Да. А дети-то — будущее? Да. Вот тут и покумекаешь...

Сейчас, трясаясь по унылой дороге к Пристанному селу, Рагозин вспоминал, что доводилось слышать о Гусёлке. Имя это вселяло некогда страх. Гусёлка слыла жестоким наказанием для малолетних преступников, и если хотели непослушника запугать, то грозили ему Гусёлкой, а если о ком-нибудь говорилось, что он из Гусёлки, то взрослые пугались больше детей.

Вскоре завиделись скучные каменные корпуса и на большом отстоянии от них — тягучие, кое-где щербатые заборы, ограждавшие небогатую зелень. Волга сверкала вдалеке. Обожженные горы были охрово-желты.

Дорога привела на обширную садовую и огородную плантацию. Было ярко на грядках и свежо. Шла поливка сада, и подростки — девочки и мальчики в серых блузах и платьях — мотыжили лунки под яблонями. Молодежь показалась Рагозину оживленной, поодаль слышался смех. Гусёлка, как видно, успела помрачить сияние бывшего своего мученического нимба.

Директор был в отъезде, и Рагозину пришлось говорить тут же, в саду, с очень юной воспитательницей. Она без всякой заносчивости сказала, что знает дела не хуже директора, потому что сама из Гусёлки — прошла исправление и теперь исправляет других.

— И с успехом? — спросил Петр Петрович недоверчиво.

— Как же иначе?

О мальчике Рагозине она ответила не моргнув глазом, так что Петр Петрович не дал ее словам никакой веры.

— Был, я знаю. Только он весной смылся.

— Как смылся?

— А как от нас смываются? Я его хорошо не запомнила, он был в мастерских, а не в садоводстве. Его собирались забрать в город, в детский дом для особо одаренных, а он не захотел и сбежал.

— Там хуже разве... у одаренных?

— Конечно. Там куда скучнее.

— Какие же у него таланты обнаружили?

— У нас талантов много, поэтому мы не интересуемся особенно.

— Сколько ему лет, не знаете?

— Лет четырнадцать.

«Так и есть, болтает», — решил Рагозин и спросил, как пройти в канцелярию. Она показала — так вот прямо, потом наискосок, к правому корпусу. Но когда он сделал несколько шагов, она крикнула ему: — Там никого нет. Сегодня канцелярия на картошке.

Он уехал ни с чем. Очевидно, происходила путаница, он напал на чужой след. Было, кроме того, противно его понятиям, чтобы один и тот же ребенок мог проявить себя преступником и одаренным. Да и откуда он взял, что его сын родился преступником? В кого? Уж скорее — одаренным... Нет, следовало идти совсем иным путем — не снизу, где, как в пучине, тысячеголовыми стаями мальков ходят похожие друг на друга человеческие детёныши, а сверху, откуда можно пронзить загадочную глубину разящим лучом прожектора и сразу безошибочно вырвать из стаи единственно нужную рыбку. Должны же где-нибудь находиться эти станции прожекторов — архивы, описи, книги, в которых, под точной датой и точным номером, значится заброшенный, наверно славный, мальчишка — родной сын Петра Рагозина и его жены Ксаны...

Петр Петрович явился на службу не в духе, с порядочным запозданием. Его ожидало много народу. Вне очереди, с изрядным спором, к нему в кабинет ворвалась странная пара.

— Товарищ Рагозин! Что у вас такое творится? — воззвал посетитель.

— Невиданно! — в голос поддержала его спутница.

Смоляного волоса, остриженный в скобку, подобный мавру, студент в панаме и серой куртке с золотыми пуговицами сел, без приглашения, к столу, в то время как его молодая дама, напоминавшая амазонку, продолжала стоять. Несмотря на отроковическое лицо и фигуру, она держалась удивительно солидно.

Предмет разговора заключался в том, что пять дней по столам финансового отдела безрезультатно гуляло срочное требование Отдела народного образования на кредиты, задержанные по статье публичных выставок трудовых процессов Школьного подотдела.

— По-вашему, пять дней — долго? — черство спросил Рагозин.

— Неслыханно! — прошептала девушка.

— Срочное требование! Пять дней! Скоро неделя! — возмущался студент. — Вы вставили в нашу работу палку, когда она доведена почти до самого конца.

— Нет, палка, я вижу, еще не доведена до конца, — буркнул Рагозин с недоброй улыбкой.

— Что вы хотите сказать?.. Из-за каких-то денег! — презрительно заметила партнерша студента, в то время как тот снял панаму и зловеще взбил художническую свою прическу.

— Подотдел командировал нас, как устроителей выставки, чтобы получить нужную нам сумму. Выставка раскинута, а мы не можем ее открыть, потому что нет денег, чтобы напечатать каталог и приглашения.

— Это наши деньги, а не ваши. Вы — только касса, — опять заметила барышня, выговорив слово «касса» с отвращением, точно это было пресмыкающееся.

— Мы открываем городскую выставку детского рисунка и скульптуры, — настойчиво продолжал студент, — чтобы впервые показать достижения трудовой школы и других воспитательных...

— Ну и открывайте, пожалуйста, — прервал Рагозин. — И тут при чем?

— Ах, не при чем? Тогда где наши деньги, которые вы незаконно задержали? — рассерженно сказала девушка.

Рагозин ответил, сжав зубы:

— Денег на это дело сейчас не будет, и времени говорить дольше у меня тоже нет. До свиданья.

— Позвольте! От каталога мы откажемся, но хотя бы только напечатать приглашения! — неожиданно взмолился студент, и лицо его, по светлев, утратило сходство с мавром.

— Напечатайте ваше приглашение в газете.

— Но... но у нас и на газету нет!

Рагозин засмеялся.

— Что я могу сделать, дорогие товарищи! Поймите, есть нужда куда острее, чем с вашей детской затеей.

— Затеей? — потрясенно проскандировала девушка и круто поставила кулачки на край стола. — Вы здесь сидите и, за своими счетами, ничего не видите, что делается в мире! Вы оторвались от действительности, как настоящий бюрократ.

Рагозин раскрыл глаза. Что такое несет эта распушившаяся пичуга? Ей лучше известно, что делается в мире? Он — бюрократ? Нет, он представлял себе бюрократа несколько иначе! Ну, покруглее, что ли, или хотя бы с золотым зубом...

— Вы только и знаете — отказывать, — не унималась барышня, — мешать революционным начинаниям! Мы строим школу на трудовых процессах, готовим республике новых граждан! Вы посмотрели бы лучше нашу выставку, прежде чем...

— Посмотрю, посмотрю, — снова перебил Рагозин, — посмотрю, на что вы швыряете деньги...

Он совсем грубо, на народный лад рассерчал, и только-что не выпроводил молодых людей за дверь.

Но в памяти у него сохранилось от этого посещения что-то озорное, и когда он получил, спустя недолго, пригласительный билет с раскрашенными акварелью зелеными и красными фонариками и старательной надписью, за которой слышался тоненький детский голосок — «Дорогой товарищ, приходите, пожалуйста, к нам, на открытие выставки наших работ по рисованию и лепке», — ему стало приятно, и он сказал, посмеиваясь:

— И гораздо красивее, чем печатные билеты. И умнее гораздо.

Он решил, что непременно зайдет на минутку поглядеть, что там такое выставили эти головастики. А то, кой грех, и правда оторвешься от действительности, — еще посмеялся он и аккуратно спрятал приглашение в карман.

## 21

Выставка разместилась в центре города, в залах городской Аудитории, и вокруг нее, еще до открытия, было немало разговоров в известном кругу. Город имел свои традиции в искусстве — он гордился старейшим в провинции Радищевским музеем и хорошим училищем живописи. Художники росли на западных образцах — музейная галерея славилась барбизонцами и боголюбовской школой. Но предреволюционные годы внесли в художественную жизнь бурю крайних влияний, и красочный, пышный Борисов-Мусатов иным своим землякам казался чересчур пряным в бульоне, вскипяченном новейшими экспериментаторами. Тут были даже супрематисты, пугавшие саратовцев хитрыми загадками из геометрических начертаний и преимущественно двух цветов — сурика с сажей.

Шумок вокруг детской выставки шел именно в этой, не очень обширной, среде живописцев. Было две темы лютых споров. Первая касалась метода обучения искусству. По этому новому методу педагог отступал на задний план, а ученик становился на передний. Детям предоставлялось выразить свое понимание мира своими детскими средствами. Очень высоко поднимали свободную фантазию. Подражание и копирование предавалось анафеме, натуру считали не обязательной. Вторая тема затрагивала цели искусства. Призвано ли оно воспитывать вкус и в каком направлении? Или, может быть, все сводится к доступности пониманию зрителя? Те, кто отстаивал эстетико-воспитательные задачи, попадали в бессмертную тяжбу течений. Вечно ли прекрасное? Что значит — развитие искусства? Фидий или Родэн? «Мир искусства» или футуристы? Сторонников доступности искусства всеобщему пониманию эти спорщики обливали презрением: что значит «понятно»? — вопрошали они. Понятны не только передвижники, понятны мыльные обложки Брокера и К°. Куда же вы поведете новое поколение?

В конце концов, кучка философов затерялась на вернисаже среди толпы людей, пришедших просто из любопытства: узнать, что делается в школах и — неужели дети интересно рисуют?

Рагозин удивился, что собралось много народу. Правда, большинство, так же, как он сам, забежало сюда на минутку — всем было не до того, война стучалась в городские стены, а тут взрослые играли в куклы. Но еще больше изумило Рагозина странное зрительное ощущение, когда он вошел в светлый зал, и в глазах зарябило от красочных пятен, рассеянных по стенкам.

Он стал рассматривать рисунки. Это была, на первый взгляд, обыкновенная ребячья мазня, какую хорошо знают те, кому пришлось растить детей. Домики с дымом из труб лепились на бумаге, и около них — заборы, деревья, собачки, телеги. Солнца, похожие на решето с клюквой. Звезды вроде хлопьев снега. Чернильные человечки, несущие знамя пэmidорного цвета. Война: из пушек рвется пламя, лиловый дым застилает всю картину. Еще война: кавалерия скачет на безрогих белых козах. Опять война: убитый лежит на бирюзовой траве и рядом — письмо с крошечными буквами: «пишет тебе твой сын Володя...»

Рагозин привык видеть во всякой картине объясненную мысль. Здесь странно привлекало что-то иное. Вдруг два схожих рисунка раскрыли ему — чем было это иное. Он увидел лимонного верблюда, стоящего в розовой, как разбавленное вино, пустыне. Грустью веяло от картинки, вся безнадежность пустыни, все одиночество животного вместились в лимонно-розовое сочетание. На соседнем рисунке пунцовый конь арабской стати, с длинной шеей, взлетал на коричневую скалу. Конь мчался почти по вертикали, но в окраске его было столько силы, что не оставалось сомнения — он взлетит и на небо. Волнение исходило от цвета, превращенного маленьким художником в свет.

Рагозин подошел ближе к необыкновенным рисункам и прочитал повторяющуюся в нижних правых углах крупную подпись: И в а н Р а г о з и н.

Он стоял и смотрел на верблюда и на коня, и перечитывал подпись, и чувствовал, как словно костенеют его ноги и руки и он не может сдвинуться с места. Страшный испуг зародился у него в эту минуту на душе: откуда взялась его уверенность, что Ксана родила мальчика? Почему он уговорил себя, что надо искать сына? Может быть, если бы он искал дочь, она давно бы нашлась?

Но глаза его, заслезившиеся от напряжения, ничего не хотели видеть, кроме подписей под конем и верблюдом. Всё стало пунцово-ко-

ричевым, лимонно-розовым вокруг, и в этом ликующем свете-красках врезано было непоколебимо четкое имя — Иван Рагозин. Сын был жив! Он жил рядом. Он протягивал со стены перепачканную красками руку своему отцу. Он — одаренный мальчик, может быть — талант! Конечно, конечно, каким еще мог быть сын Петра Петровича и Ксаны, если не одаренным мальчиком?!

Быстро пробиравшийся толпой Кирилл Извеков пожал Рагозину локоть и громко спросил:

— Здóрово, правда, ведь здорово, а?

— Здóрово, — ответил Рагозин так автоматически, что воспринял свой голос наплывшим будто из другого зала.

Потом он заметил Дорогомиллова, окруженного детской ватагой и размахивающего рукой в жесткой манжете. Среди ватаги мелькнула рыжеватая голова Павлика. Рагозин вырвал себя из неподвижности, схватил мальчика за руку и подвел к рисункам.

— Смотри. Нравится, а?

— Ага, — сказал Павлик, — только лошадь не настоящая. Я знаю, чьи это рисунки! Это — Красилы-мученика.

— Какого мученика? — обиделся Петр Петрович. — Откуда ты знаешь?

— Мы вместе по берегу шастали. Его ребята зовут — Красила-мученик. Он всё красит. Он нам свои рисунки показывал. У него есть лошади лучше этой.

— Послушай, ты, — решительно сказал Рагозин, подталкивая мальчика к рисункам, — читай, что написано.

Павлик прочитал подпись и вопросительно оглянулся на Рагозина.

— Так же, как вы, — сказал он растерянно.

— Это он?

— Подписаться — что же? Как хочешь, так и подпишись. А рисовал Красила-мученик, я знаю.

— Ты должен привести ко мне этого рисовальщика. Обещаешь?

— Где я его возьму? Он из детдома.

— Из какого?

— Много я знаю, из какого. Он не говорил.

— Но ведь ты его увидишь на берегу, а? Где вы там встречаетесь? Ну, давай слово, что приведешь!

В эту минуту Павлика заслонил подошедший старик в чесучевом изжеванном костюме, с отвислыми карманами пиджака. Он раскрыл рот в бездыханной улыбке:

— Извините, товарищ Рагозин. Я хотел бы, чтобы вы поделились впечатлениями от выставки. Для газеты. Я подписываюсь ЮМ. Может быть приходилось читать?

— Так, так, — с предельной серьезностью отозвался Рагозин. — Напишите, что, как известный специалист по вопросам искусства, я нахожу выставку исторической вехой в развитии новейшей живописи.

Мерцалов опустил приготовленный блокнот. Пергаментная кожа его лысины тихо поползла на поднятые брови.

— У вас это должно получиться. Вы, как говорится, журналист с острым общественным темпераментом. Ведь это ваша была недавно статейка под названием «Где купить лобзик?..»

Рот Мерцалова раздвинулся еще больше, но глядел он со злостью и оскорбленно.

— То-бишь, нет, я путаю! — воскликнул Рагозин, вплотную подвинувшись к Мерцалову, и вдруг договорил нетерпимо: — Вы напечатали выдумку о том, что Пастухов распространял революционные проклама-

ции. Вы? Да? А вам известно, что Пастухов сбежал к белым? Нет? Вас надо выгнать раз навсегда из газеты! Вы...

Не досказав, он круто отвернулся и будто сразу забыл о Мерцалове.

Он хотел найти в толпе Павлика, но увидел ту солидную девушку, чем-то напоминавшую амазонку, которая повздорила с ним из-за денег. Он попросил ее подойти к рисункам Ивана Рагозина.

— Знаете этого чудодея?

— Что? Хорошо? — торжественно сказала она, откидывая назад голову с выражением — «чья взяла?».

— Да, да. Не укажете ли мне, как найти самого рисовальщика?

— Очень рада, что вы способны отличить хорошее от дурного. Вы чувствуете благородную простоту этой цельной линии (она энергично провела кулачком по гриве, спине и хвосту пунцового коня)? Это превосходит народный лубок, потому что обобщеннее и яснее лубка. Вы понимаете, что мы находимся у самого истока не развращенного влияниями искусства?

— Да, я все понимаю, — с нетерпением сказал Рагозин, — кроме одного: почему вы не отвечаете на вопрос? Картинки вы развесили свободно, но кто их рисовал, вам нет дела.

— На этой стене — работы детских домов. Если хотите, я справлюсь, где находится автор интересующих вас произведений.

— Да, да, этих самых произведений! Этот самый автор! Очень хочу, милый вы товарищ, очень! И, пожалуйста, как можно скорее!

Он сильно потряс ее руку. Она впервые улыбнулась:

— Как же насчет наших денег?

— Насчет денег никак, — тоже улыбнулся Рагозин. — Зачем вам теперь деньги? Все сделано. Да, все сделано очень хорошо.

Он повторял эту фразу, спеша выбраться на улицу и уже не замечая ни людей, ни картинок.

Всё в его ощущениях жизни с этого момента остановилось, точно заклиненное одним вопросом — нашел ли он сына, или нет?

Через день, возвращаясь из Затона, он увидел у самого входа в Совет двух мальчиков. Прислонившись к ограде палисадника, они шелушили подсолнухи. Он сразу узнал Павлика и сразу понял, кто с ним.

— Мы ждали, ждали, а вас нет и нет, — попрекнул Павлик.

— Пойдем ко мне, — сказал Петр Петрович, заставляя себя двигаться спокойно.

Закрывшись в кабинете, он прошелся из угла в угол, не зная, как лучше сделать: посадить мальчиков с собою рядом или заставить их стоять, а самому сесть, или — пусть они сядут, а он будет ходить. «Не важно, чёрт возьми», — подумал он, продолжая расхаживать, и вдруг поймал себя на том, что ему трудно взглянуть на мальчика, которого привел Павлик. Тогда он сразу остановился перед ними и попробовал приветливо усмехнуться. Павлик небрежно поглядывал по сторонам. Другой мальчик сохранял невозмутимость. Взъерошенная русая голова его была большелоба, уголки бровей у висков сильно водняты, карие глаза круглы и чуть выпячены. Худой, длинноногий, с большими руками, он держал локти оттопыренными от пояса, точно наготове к отпору.

— Так это я... твои рисунки видел? — спросил Рагозин, чувствуя, что говорит не так, как хотел бы.

— Не знаю.

Голос мальчика звучал грубовато-уверенно.

— Этакие, знаешь... Лошадь еще такая красная.

— Да ну, конечно, твоя лошадь, — сказал Павлик. — Чего боишься? Петру Петровичу нравится.

— И не думал бояться.

— Я не кусаюсь, — будто заискивая, проговорил Рагозин. — Мне, правда, понравилось. Ярko так, видишь ли... И все такое... Тебя как зовут?

— Иван.

— Иван Рагозин, верно? А годов? Десятый скоро, да?

— Может и больше.

— Больше, — согласился Павлик. — Мне скоро одиннадцатый, а он сильней меня.

— Ну?—будто с облегчением вздохнул Петр Петрович.—Покажи-ка.

Он осторожно потрогал пальцами бицепсы мальчика, и пальцы сами собой остановились на сухих, тонких детских мускулах, пока мальчик не высвободился и не шагнул назад.

— Ваня, — сказал Рагозин медленно, — так, так. А отец у тебя есть?

— Думаю, был, — ответил мальчик с насмешливой улыбкой взрослого.

— Я тоже думаю, — неловко отступил Петр Петрович. и опять прошелся по комнате.

— Мать свою не помнишь? — спросил он на ходу.

— Ее, наверно, отец помнит,—будто еще насмешливее сказал Ваня.

Он стоял боком к Рагозину, подняв голову и шире раздвинув локти. Видно было — он не лез за ответами в карман, потому что привык к распросам об отце с матерью. Петр Петрович растерялся от этой жестокости ответа, тут же начал сердиться, что не владеет собой, и поглядел на мальчика с гневом. Но в этот миг резко увидел в профиле Вани в точности повторенный поворот лица Ксаны — с острым вздернутым носиком и круглым глазом немного навывкате. Он чуть не выкрикнул то, что все время готово было слететь с языка — сын, сын! — но удержал себя.

— Вы зачем меня звали?

— Познакомиться. Поближе... — сказал Петр Петрович, оглядывая выгоревшую серую блузу мальчика, завязанный узлом матерчатый пояс, сбитые набок туфли.

— Вы покупаете рисунки? — вдруг с любопытством спросил Ваня.

— Как так?

— Я думал, вы... которые на выставке рисунки хотели купить.

— Ты продаешь? — уже с улыбкой сказал Рагозин.

— Деньжонки пригодятся.

— На что же пригодятся? Ты ведь в детском доме?

— Когда где... Сейчас везде тепло.

— Ну, а где же ты столуешься?

— Столуешься! — передернул плечами Ваня. — Я не нахлебник — столоваться!

— На Волге всегда подкормиться можно, — сказал Павлик с видом берегового бывальца.

— У военморов, либо еще где придется, — добавил Ваня.

— Тебе, видно, и на Гусёлке пришлось? — неожиданно отчеканил Петр Петрович.

Ваня нахмурился.

— Что не отвечаешь? Был на Гусёлке?

— Ну и был! Ну и что же?.. Пришили, будто я казенные чувяки на базаре загнал, — и судить! А у меня их шкет один стырил... я только ябедничать не хотел.

— Хорошо. Дело прошлое. А где живешь сейчас?

Ваня скрестил на груди руки, медленно оглянулся на дверь, будто за-скачивая от вопросов, затем нехотя выговорил:

— Меня назад в скит берут. И бумаги туда пошли.

— Так, так, — торопливо сказал Петр Петрович, — очень хорошо... Я тебе хотел предложить, может поселишься у меня? Я один, нам с тобой не скучно будет. Учиться станешь. Рисовать... понимаешь ли, и все такое.

Ваня молчал. Павлик сожмурился на Рагозина и тоненько свистнул.

— Э-э, а я кое-что знаю!

— Ничего не можешь знать, — едва не прикрикнул Петр Петрович. — Я о деле говорю!

Он шагнул к Ване, положил ему на плечи широкие, тоже немного растопыренные в локтях руки, сказал мягко:

— Приходи сюда сегодня к вечеру, понял? Или, если хочешь — прямо ко мне домой, понял?

Он растолковал свой адрес, стараясь поймать уклончивый взгляд мальчика. Павлик косился на Ваню подозрительно, словно опасаясь, что тот поддастся соблазну. или нарушит какой-то существующий втайне сговор.

— Давай, по рукам: вечером ты у меня, — упрямо повторял Петр Петрович.

— Обдумать надо, — сказал Павлик, как купец, решивший поторговаться.

Рагозин пригрозил в полушутку:

— Я тебе обдумую!

Но Ваня вдруг смутил его прямым вопросом:

— А зачем хотите жить со мной вместе?

Петр Петрович не сразу нашелся и, чтобы скрыть щемящее обидой чувство, грубовато похлопал Ваню по спине.

— Много будешь знать — скоро состаришься. Приходи вечером, расскажу. А пока довольно. Ступайте.

Он закрыл за мальчиками дверь, но тотчас снова распахнул ее и крикнул Ваню.

— На, на, — быстро заговорил он, шаря у себя по карманам и потом втискивая в ванин кулак скомканные деньги, — на, возьми. Купишь себе псесть. Да приходи обязательно! Слышишь?!

Он, насторожившись, постоял у двери, будто мог уловить сразу исчезнувшие в гуле коридоров и лестниц детские шаги. Но он только рассчитывал, когда мальчики выйдут на улицу, чтобы потом, не теряя лишней минуты, сбегать вниз, вскочить в свою пролетку и всю дорогу, тянущуюся нескончаемо долго, подгонять и подгонять кучера: скорее, скорей!

Приехав в скит, Рагозин заставил разыскать бумаги воспитанника детского дома Ивана Рагозина. В папке под наименованием «личное дело» находились отзывы учителей, заключения педагогических и врачебных комиссий, постановление социально-правового отдела несовершеннолетних, или СПОН, по поводу продажи на базаре Иваном Рагозиным казенных чуваков и много других солидных документов. Все они были наспех перелистаны Рагозиным и все сразу позабыты, едва он дошел до потертого, чуть пожелтевшего листа с царским гербом и печатным штампом министерства внутренних дел.

Взгляд Рагозина будто вырезал из бумаги единственное, всё решающее слово, но он не мог бы в этот миг ответить — что это было за слово.

Он поднялся, хотел прочитать бумагу стоя, но опять сел. Обхватив голову, он начал перечитывать строчку за строчкой.

Канцелярия тюрьмы адресовала свой гербовый лист в Детский приют на Приютскую улицу, препровождая при бумаге младенца мужского пола для выкормления и воспитания за счет казны. Матерью младенца указывалась саратовская мещанка Ксения Афанасьева Рагозина, подследственная арестантка, умершая от родов; отцом, со слов матери, — ее законный муж, крестьянский сын Петр Петров Рагозин, привлекаемый к суду по обвинению в государственном преступлении и неразысканный. О младенце было сказано, что он крещен в тюремной церкви и наречен Иваном.

Младенец, нареченный Иваном, стоял перед взором памяти Рагозина в образе большелобого мальчугана с круглыми глазами, и он будто еще осязал своими пальцами податливые теплые мускулы его ребячьих рук.

— Я беру мальчика на воспитание, — сказал Рагозин барышне, которая смотрела за ним, пока он разбирал папку.

— Чтобы сдать ребенка на патронат, мы должны иметь постановление СПОН'а, — ответила барышня.

— То есть, как — патронат?

— Вы желаете взять над ребенком опеку?

— Я его отец, — проговорил Рагозин со счастливым, почти ликующим вызовом и распрямился во весь рост.

— Безразлично. Если вы хотите...

— Мне тоже безразлично, как вы меня наречете — патроном, опекуном или еще как. Что я должен сделать, чтобы получить мальчика?

— Обратитесь в отдел народного образования. Там есть социально-правовой...

— Ах, что там еще есть! — как-то бесшабашно вскрикнул Рагозин. — Ребенка-то у вас нет, а? Ребенок-то у меня! Понимаете вы или нет? Я его нашел, понимаете?! Сына нашел! Эх, вы!..

Он весело хлопнул барышню по руке и побежал к пролетке.

Он отправился домой, дал хозяйке денег, наказал приготовить ужин и уехал на службу. Весь остаток дня ему казалось, что он чего-то не доделал: он все спохватывался, припоминая — всё ли велел купить на базаре, разузнавал, нельзя ли достать что-нибудь съестное в столовой, и еще до сумерек ушел домой.

Ваня не приходил. Петр Петрович со вниманием рассмотрел каждое приготовленное блюдо, по своему вкусу переставил на столе посуду, вынул из корзинки постельное белье, вместе с хозяйкой втащил в комнату матрац. Потом присаживался к столу, надумывая, что следовало бы еще сделать, подходил к окну, несколько раз вышел за калитку. Ночью он почти не спал, виня себя, что зачем-то отпустил мальчика, когда мог сразу привести его на квартиру.

Утром он первый раз не поехал в Затон. Он понял, что совершил ошибку, не спросив адрес Павлика, чтобы знать, каким путем снова найти Ваню. Ошибку можно было исправить с помощью Дорогомилова, и Рагозин сам себе дивился — как могло раньше не притти на ум, что в розысках Вани Арсений Романович был бы идеальным пособником.

История сына и отца поразила Дорогомилова до восхищения. Он вспомнил необыкновенные рисунки на выставке, рассказы своих маленьких приятелей о Красиле-мученике, стал уверять, что розыски этого мальчика входили в его планы и что сейчас же, немедленно все делает.

И правда, когда Рагозин в обед забежал домой — узнать, не являлся ли Ваня, — хозяйка встретила его радостью: мальчик пришел около часа назад, она накормила его, и он заснул.

Петр Петрович приоткрыл дверь и не вошел, а боком пролез к себе в комнату. На цыпочках он добрался до окна, присел на подоконник и затих.

Ваня лежал на матраце, брошенном посередине комнаты на пол. Петр Петрович разглядывал его пристально. По босым ногам мальчика ползали мухи, но он спал крепко. На подошвах, черных от пыли, виднелись корки заживших ссадин. Кончики пальцев были немного приплюснуты. Вдруг Рагозин узнал в этих приплюснутых пальцах и в плосковатой ступне свои ноги. Он подвинулся ближе и рассмотрел ванины руки. Кости на суставах пальцев слегка расширены, ногти невелики и на концах раздвинуты. Это были точь-в-точь повторенные кисти Петра Петровича, живой сколок с его рук, только поменьше. Странно, какие подражания лепит зачем-то природа, удерживая на земле сложившиеся формы. С лица Ваня был больше похож на Ксану. Особенно с закрытыми глазами. Ксана была такой же нежной и словно задумчивой, когда Рагозин глядел на нее во время ее тихого сна.

Петру Петровичу захотелось пить, он подошел к ведру, нечаянно звякнул ковшом и быстро оглянулся: нет, Ваня спал попрежнему спокойно. Рагозин накрыл его простыней, помахал полотенцем, чтобы выгнать из комнаты мух, занавесил одеялом окно.

С чего он начнет разговор, когда Ваня проснется? Он скажет: ты — мой сын. Сын спросит отца: где же ты был раньше? Отец должен будет рассказать о преследовании, которому подвергся, о смерти матери. Ты спасал себя, — скажет сын, — но почему же ты не спас мать? Я спасал не себя, я спасал то великое общее дело, которому служил и служу, — ответит отец. Но ведь ты знал, что я должен родиться, почему же ты меня не искал? Это могло помешать великому делу, — скажет отец. Значит ты любишь великое дело больше меня, — спросит сын, — зачем же я тебе? Ты не знал сына и жил. Я не знал отца и жил. Зачем я тебе?

Надо подумать, как вести разговор, надо подумать. Самое опасное в том, что сына легко отпугнуть. Что такое отец для ребенка, привыкшего считать себя безродным? Помеху своеволию, власть надзирателя, закон старших — все это Ваня вкусил полной чашей до того, как совершенно неизвестный, может быть не очень приятный, лысый человек назовет его сыном. Нет, отец должен пробудить в нем чувства, каких не может дать никакой воспитатель. Отец должен быть отрадой и примером существования для сына.

Рагозин тихонько вышел из комнаты. Он надумал — пока сын спит — купить ему краски и тетрадь для рисования. Он сказал хозяйке, чтобы она не отпускала мальчика, если он проснется.

В ближнем магазине ни красок, ни тетрадей не нашлось. Рагозин пошел в центр города. Он торопился. Каждая мысль, приходившая ему на ум, была неожиданно новой, и мысли спешили еще больше, чем он сам. Он обнаружил, что прежде не думал о воспитании детей. То есть, конечно, он думал о воспитании, однако наравне со многими другими темами. Это был вопрос в числе других вопросов, которые отвлеченно более или менее удачно разрешались. Сейчас Рагозин должен был строить не теорию, а поведение — свое поведение отца. Ребенку надо видеть поведение отца, чтобы знать, как себя вести. Разумеется, обязанность воспитания лежит на обществе. Ребенок непременно будет по-

дражать поведению общества. Чтобы построить общество, достойное подражания ребенка, нужно время. Но ведь Рагозин не может сказать сыну: погоди, вот мы построим примеры, достойные подражания, и ты будешь знать, как себя вести. Мы сейчас ведем войну за твое будущее, и пока нам не до тебя, а как только мы победим, мы тобой займемся. Это все равно что сказать: перестань расти. Нет, нет, ребенку следует дать безотлагательно все, что недостает для его развития.

Рагозин зашел во второй магазин и узнал, что краски найти вряд ли можно, ибо сейчас нехватка в предметах куда более важных, чем краски, а тетради надо искать в третьем магазине, где они не так давно, кажется, продавались.

На улице он не сразу припомнил, на чем оборвались размышления. Ах, да, он думал, что прежде всего должны быть ясно установлены цели воспитания. Вот мы хотим, чтобы наш гражданин хранил достоинство советской страны неколебимо везде и всюду. Очевидно, надо следовать так, чтобы чувство достоинства было спутником ребенка повседневно, чтобы оно не оскорблялось буднями отношений, а стало обычным состоянием человека с детских лет. Или вот мы призываем Красную Армию к братской связи между рядовым воином и командиром, к верности и чувству взаимного долга в бою. Очевидно, уже в школе должно насаждаться товарищество, в семье — дружба, в быту — внимание к встречному, вежливость и приличия. Позволь, позволь! — остановил себя Рагозин, — приличия? Это что-то из умерших условностей. Дружба вообще? Дружба как культ? Из какого это арсенала? С другой стороны, можно ли пробудить в ребенке этот высокий дар души, если насаждать дружбу от случая к случаю, в определенных интересах, с особыми намерениями? Здесь надо разобраться раньше, чем сын успеет найти себе друзей. Надо разобраться сию минуту, пока Ваня еще не проснулся. Может быть, он уже проснулся? Надо спешить. Надо быть готовым к любому вопросу сына. Надо думать о нем, думать за него. Да, да.

И в третьем магазине не было красок и не было тетрадей. Какие тетради? — сказали тут Рагозину, — откуда они, если сейчас каникулы?

Однако ведь не приснилось же ему, что на выставке детских рисунков по стенам развешена бумага, покрытая красками? До Аудитории было подать рукой, и Рагозин вздумал забежать на выставку.

Он застал там своих знакомых — студента, напоминавшего мавра, и гордую барышню. Они о чем-то спорили, но, увидев Рагозина, стали к нему единым фронтом. Он посвятил их в свою беду. Они ответили, что он зря беспокоится, так как всё обстоит нормально: тетради и краски распределяются в школах и детских домах, и дети достаточно снабжены.

— Кажется, это недостаточно продумано, — возразил Рагозин. — Как быть с домашними занятиями, с уроками?

— У наших детей понятие «дома» должно отмирать, — сказал студент.

— Уроки — это устаревшая педагогика, — сказала барышня.

— Это всё вызывает на споры. А мне хотелось бы короче: где я могу купить краски своему сыну?

— Мы не торгуем, — вспыхнула барышня.

— Мы боремся с чувством личной собственности в детях, и мы против того, чтобы детям дома подносились подарки, как барчукам, — сказал студент.

— Знаете, — ответил Рагозин, решительно поворачиваясь к выходу, — вы либо сильно переучились, либо просто — недоучки!

Он мерил улицы своими длинными ногами все быстрее. Ваня уже наверно проснулся. Сейчас Рагозин его увидит. Несомненно, болезненная точка в самосознании такого ребенка, как Ваня, — чувство свободы. Нельзя показать, что отец покушается на эту драгоценность. Нельзя врываться в маленькую жизнь, спрашивать, допытываться, чем Ваня живет. Наоборот, надо сначала доверчиво ввести его в жизнь отца, рассказать о своей работе, о своей борьбе и планах будущего мира.

Рагозин внезапно замедлил шаг. Недурное начало! Вот он уже не поехал в Затон, бросил занятия на службе и носится по городу в поисках какой-то чепухи. Что он скажет Ване? Знаешь, дружище, я сегодня махнул рукой на свой общественный долг. Я так тебе рад, что мне, ей-богу, не до работы. Значит, если очень рад, — спросит сын, — можно наплевать на обязанности, правда?

Петра Петровича так смутила эта мысль, словно ее действительно высказал Ваня. Но ведь это же исключение, — подумал он. Первый раз за целую жизнь! Упущенное будет наверстано с лихвой. Работа, как стояла, так и стоит у Рагозина на первом месте.

Он свернул за угол, решив предупредить на службе, что задержится еще часок-другой.

У самого крыльца шедший впереди, немного неуклюжий (как показалось) человек вдруг упал. Поднимался он тяжело, и Рагозин помог ему.

— Благодарю вас, ничего. Поскользнулся на арбузной корочке. Вон раздавленная корочка.

— Ушиблись?

— Пустяки. Немного, локоть, — сказал прохожий, отряхивая запачканный белый китель.

Он любезно взглянул на Рагозина и отступил.

— Удивительный случай! Я иду именно к вам. Здравствуйте, товарищ Рагозин.

Петр Петрович узнал Ознобишина.

— По какому делу? Я, извините, занят.

— По личному делу. Много времени не отниму. Если угодно — даже здесь, в сторонке от подъезда.

— По вашему делу?

— Нет, по вашему, — произнес Ознобишин доверительно.

— По моему?

Они отошли от крыльца и медленно двинулись вдоль палисадника.

— Только, пожалуйста, поскорее.

— В двух словах. Я очень признателен за внимание, с которым вы отнеслись ко мне и устранили недоразумение, весьма для меня щекогливое.

— Вы ведь бывший прокурор?

— Если бы так, — улыбнулся Ознобишин, — вряд ли я сейчас беседовал бы с вами... то есть, на улице. Я именно хотел вас поблагодарить, что вы проявили терпение разобраться и снять с меня подозрения насчет моего прошлого.

— В чем же мое дело?

— Вы прямо тогда не высказали, но я понял, что вам крайне было бы ценно установить участь вашей супруги и, более того, вопрос — родился ли у нее ребенок и существует ли он.

— Так, так, — сказал Рагозин, приостанавливаясь.

— Я тогда не осмелился предложить вам услугу, но дал себе слово употребить все силы, чтобы быть вам полезным.

— И что же?

— И мне удалось, после кропотливых поисков, напасть на документ, который проливает свет, правда, на трагические обстоятельства, но одновременно дает в руки шанс некоторого счастливого оборота. Документ теперь доступен, вы можете его получить.

— Где?

— В архиве.

— Что это такое?

— К несчастью, это подтверждение, что супруга ваша скончалась в тюрьме. Указывается и место погребения.

— Да?

— Да. Но, вместе с тем, документом устанавливается, что она скончалась от родов и, таким образом, что у вас... осторожность требует допустить, во всяком случае, был ребенок.

— Вон что, — сказал Рагозин.

— Так или иначе, но я могу уверенно сказать, что след вашего ребенка мною найден.

— Да что вы?! И куда же след ведет?

— Это требует еще известных усилий, которые я с радостью приложу, если вы окажете мне поддержку.

— Поддержку в чем?

— В дальнейших розысках.

— Но, если окажу, вы уж, конечно, наверняка отыщете след?

— Безусловно! — воскликнул Ознобишин почти вдохновенно. — Это для меня прямо-таки дело чести! Я начну с тюремных архивов, с года рождения ребенка.

— А если я скажу вам, что след приведет вас ко мне на квартиру?

— На какую квартиру?

— На которой я проживаю вместе с сыном.

— Вместе... Вы отыскивали своего...

Ознобишин даже как-будто испугался. Свежих красок лицо его поблекло, он немного вскинул руки, осторожно потер ушибленный локоть, но тут же устремился всем корпусом к Рагозину, освобожденно дохнув на него:

— Поздравляю, поздравляю ото всей души! Неужели возможно? Сын с вами? Тот, который...

— Вот так-то, — прервал Рагозин. — А из каких соображений вы, собственно, стараетесь? Можно спросить?

— То есть... Исключительно из доброго намерения быть вам полезным. Отблагодарить.

— Благодарить меня не за что.

— Я был бы счастлив вам просто услужить.

— Услужить мне не просто. Я услуг не принимаю.

Рагозин приложил руку к виску, откланиваясь, и пошел к подъезду, но на ходу обернулся, сказал с усмешкой:

— Поскользнулись... на корочке!

Он взбегал по лестнице, когда был остановлен одним из сотрудников своего отдела:

— Вы заходили в Комитет? За вами присылали.

Не подымаясь к себе в кабинет, он направился коридорами в конец первого этажа.

Тот член бюро Комитета, с которым он спорил, разбираясь в толковании письма Ленина, встретил его легким кивком и сказал:

— Ну, твое желание исполнено. Есть решение направить тебя на военную работу. Ты назначен в Волжскую флотилию комиссаром дивизиона. Обстановка на судах тебе немножко знакома.

— Немножко знакома, — ответил Рагозин, опускаясь на стул. — Когда я должен направиться?

— Позвони сейчас военному. В дивизионе заболел комиссар, ты его заменишь. Выступление наверно завтра.

— Завтра?

Рагозин помедлил немного и отвел взгляд в сторону.

— Как же с моим отделом?

— Что тебя заботит? Сдашь дела заместителю.

— За несколько часов?

— Не знаю. Может — за несколько минут. Белые у Лесного Карамыша.

— Ну, счастливо оставаться, — сказал Рагозин, тяжело поднявшись.

— Ты будто недоволен?

— С чего ты взял?

— Тогда желаю тебе... благополучно...

Они пожали друг другу руки.

Рагозин позвонил военному комиссару, узнал, что должен немедленно прибыть к нему для получения бумаг, и послал за своей пролеткой.

Он велел ехать домой.

Входя к себе в комнату, он растворил дверь нарочно шумнее, чтобы разбудить Ваню. Одеяло, которым он, перед уходом, занавесил окно, было опущено и висело на одном гвозде. Матрац был пуст, скомканная простыня откинута на пол.

Рагозин обернулся к хозяйке. Она в смущении развела руками. Она слышала, как Ваня вставал, пил воду, и она хотела согреть ему чайку, но когда заглянула в комнату, мальчика уже не было. Ушел ли он или выпрыгнул через окно, она не заметила. Она только боялась — не пропало ли, избави бог, что-нибудь из вещей?

Петр Петрович метнул на нее осуждающим взором, но невольно осмотрелся — все ли на своих местах. Но все было цело.

Он на минуту задержался в комнате. Странно пустынной и отчужденной она ему представилась, будто он никогда не был в ней наедине с собой. Ему ясно стало, что все его поведение было ошибочным: следовало с первой встречи открыть Ване истину. Догадался ли мальчик, что обрел своего отца? И что же будет с ним дальше? Неужели так все и кончится навсегда?

Рагозин тщательно сложил помятую простыню и спрятал ее под подушку на своей постели.

— Я, наверно, должен буду экстренно уехать, — сказал он, волнуясь, хозяйке, — на некоторое время. У меня к вам будет просьба: если заявится этот парнишка, вы его, пожалуйста, не выгоняйте, а приютите. В моей комнате. Он того стоит. Я с вами рассчитаюсь, не беспокойтесь на этот счет. Прощайте.

Он выбежал на улицу и потребовал от кучера, чтобы он гнал боевому, как никогда еще не гнал.

У военного комиссара его ожидало направление в штаб Северного отряда Волжской флотилии. Там он получил приказание назавтра в шесть утра явиться на канонерку «Октябрь», которая, в голове дивизиона, стояла на якоре за песками.

Весь вечер и всю ночь Рагозин сдавал дела Финансового отдела и прямо со службы, которая в этот момент делалась его бывшей работой и о которой он мог теперь не думать так же, как не думал о всех своих прежних службах и прошлых работах, поехал на берег.

Военный бот доставил его на коренную Волгу. Он поднялся на борт «Октября», встреченный вахтенными флагманского судна. Спустился час он начал, с командиром дивизиона, осмотр четырех судов, выстроенных колонной вдоль линии островных песков. Последним судном была канонерская лодка «Рискованный». С укороченной трубой и узким фальшбортом, свежевыкрашенный в зеленовато-серый оттенок воды, буксир казался очень воинственным. Хотя команда его состояла почти сплошь из военных моряков, Рагозин встретил на нем нескольких волжан, с которыми работал в Затоне, и эта встреча знакомцев на знакомом судне не только обрадовала Рагозина, но дала ему среди матросов первое молчаливое признание «своим»: стало известно, что в составе дивизиона есть корабль, который перевооружался комиссаром, и что комиссар этот умеет взять в руки какой угодно рабочий инструмент.

С полудня во флагманской рубке открылось заседание штаба дивизиона, и Петр Петрович Рагозин впервые в жизни увидел, как читают военную карту, и сам взял в пальцы легкий циркуль. Потом ему сделали доклады комиссары судов.

Оглушенный усталостью, он вышел к вечеру на палубу и, хотя провёл на воде уже больше полусуток, только сейчас увидел Волгу.

Она была гладкой и розовой, и слева, к луговому берегу, розовое постепенно переходило в золото, а еще дальше, над золотом, точно горбы и головы верблюжьего каравана, неровно высились желтые от солнца хлебные амбары Покровска.

Вдруг Рагозин отчетливо вспомнил розовую пустыню с желтым верблюдом — на рисунке, который его так взволновал. Значит, правда, это бывает в жизни, — подумал он, — такие краски, такая пустыня и — неужели? — такая безнадежность. Он услышал неожиданные толчки сердца. Надо было отдохнуть: он не сомкнул глаз подряд две ночи. Воспоминание о сыне; выраженное этим розово-желтым тоном, благодаря необъяснимой способности мысли — видеть одновременно несколько картин, сопутствовалось другим воспоминанием: в неаполитанской желтизне песков и в розовой глади воды Рагозин обнаружил повторение того закатного часа, когда, на рыбной ловле, он заметил мчавшийся к острову моторный катер. Он и сейчас ясно увидел этот катер и крепко протер кулаками глаза, решив, что галлюцинирует от переутомления. Но открыв глаза, он еще явственнее увидел катер, словно двумя лемехами отваливавший на стороны золотые клинья волн.

— Это что, катер? — спросил он у вахтенного.

— Катер, товарищ комиссар.

Лодка быстро приближалась, все больше вырастая, все громче шумя. Она описала разбежистый круг и подвалила против течения к борту «Октября». С кормы канонерки спустили трап, и Рагозин разглядел ловко подымавшегося на судно человека.

— Кирилл! — крикнул он и побежал.

Они встретились на нижней палубе около машинного отделения. В горячем дыхании нефти и пригорелого масла, наполнявшем тесный проход, они обнялись. Рагозин повел Кирилла в свою каюту. Там они взглянули друг другу в глаза и, обрадованные, негромко посмеялись. Сон сняло с Рагозина как рукой.

— Что это у тебя? — спросил он.

Кирилл держал камышовый кошель, с какими хозяйки ходят на базар. Он ответил застенчиво:

- Это мама. С утра пекла. Я вчера сказал ей, что ты уходишь.
- Словно в больницу, — сказал Рагозин.
- Какая больница?

Кирилл порывлся в кошеле, достал со дна бутылку, и они опять засмеялись. Разложив на газете разрумяненные пирожки и разлив вино, они уселись плечом к плечу на неширокой койке. Выпили молча, только кивнув друг другу, и потом, прожевывая закуску, долго глядели через открытый иллюминатор на подоженное зарей водное зеркало, которое отсюда казалось лежащим выше уровня глаза, а движение речной массы — будто в сто крат сильнее своей мощи.

- Нынче снимаетесь? — спросил Кирилл.
- Ровно в полночь.
- Я торопился, думал — опоздаю.
- Не из тех, которые опаздывают, — сказал Рагозин и положил на колено Извекова ладонь.
- Но, видишь, ты — не военный, а меня обогнал.
- Не спеши. Хватит и на твою долю. Тебя берегут на самое важное.
- А что самое важное? Каждый час со своей задачей — самое важное.

— Да. Со своей главной задачей и со своими второстепенными. И главную надо немедленно решать, а второстепенные... их можно отложить.

Рагозин выговорил это в сосредоточенном раздумье, и Кирилл стоически посмотрел на него.

— Ты о чем?

Рагозин вскочил, потянулся, по своей домашней привычке, но в каюте было ниже, чем дома, — он стукнул кулаками в потолок.

— Эх, чёрт! — воскликнул он, опять взяв и сжимая колено Извекова. — У меня есть задача, ты меня извини, может, она... может, ее надо отложить, но... Я тебе не успел сказать. Я нашел, видишь ли, своего сына.

Кирилл рассматривал его все удивленнее.

— Да, сына. Моего и Ксении Афанасьевны. Она родила его тогда в тюрьме. Я узнал недавно.

— Где он?

— Он.. Я его нашел, видишь ли, не совсем.. Его еще надо искать. Но это легко, легко! (Рагозин заторопился, всем телом поворачиваясь к Кириллу). Если ты согласишься... Я не успел его устроить. Ну, не до того! Понимаешь? Я только его нашел, и тут как раз..

— Да говори толком.

— Павлика Парабукина помнишь? Так это его приятель. Ты скажи Павлику, чтобы.. Или, еще лучше, скажи Дорогомилову, что ищешь Ивана Рагозина, понял? Он все сделает. У него ведь, знаешь, все мальчишки за пазухой. И ты только скажи, пошли к нему... Ладно? А?..

Кирилл никогда не видел таким Рагозина — лицо Петра Петровича соединяло в себе что-то настолько противоречивое, в нем трепетало такое неестественное сочетание отчаянной решительности с извиняющейся мольбой, что на него невозможно было дольше смотреть.

Кирилл, нагнув голову Рагозина, придавил ее к своему плечу и сказал горячо и твердо:

— Я все понимаю и все сделаю. Ты не волнуйся. Я мальчика найду и возьму его к себе. То есть, к себе с Верой Никандровной. И буду за него перед тобой в ответе. То есть, вместе с мамой. Согласен? И ты выкинь из головы, что это дело второстепенное, это ерунда. Я считаю это дело таким же главным, как и другое наше главное дело, за которое ты пойдешь сегодня в полночь. И ты можешь за это дело спокойно итти. За него и за своего сына одинаково. И счастливо возвращайся!

Они посидели еще и поговорили, успокоенные, и выпили расставную в наступивших сумерках.

Когда они шли обратно к трапу тесным проходом мимо машинного отделения, им встретился могучий моряк. Он был чуть выше Рагозина и так пространен в груди, что даже прижавшись к стенке спиной, почти загородил собой дорогу. Протискиваясь мимо него, Кирилл поднял глаза к его лицу, которое находилось чуть не вровень с потолочной электрической лампочкой, и в ее оранжевом свете различил широкие скулы, необычную основательность крупных надбровий и целую пелену веснушек вокруг носа. Моряк слегка улыбнулся, и спокойствие улыбки подсказало Кириллу, что он уже видел это лицо. Он тотчас вспомнил архангелогородца, с которым встретился в лазарете, когда навещал Дибича, и тоже улыбнулся.

— Товарищ Страшнов?

— Товарищ Извеков, вы что же — к нам? — отозвался помор своим ёмким «о».

— Я только гостем. А вот мой друг, товарищ Рагозин, к вам хозяином. Любите да жалуйте.

— Милости просим, — опять окнул моряк.

— Смотрите с вас за него спросится, — смеясь, сказал Кирилл.

— Мы постоим. Не выдадим.

— Ну, правильно, — ответил Кирилл, отчетливо припоминая это словцо и свое свежее чувство будто только что оконченной гимнастики, при расставании с помором в лазарете.

— Поправились?

— Забыл, в каком боку болело.

Кирилл с улыбкой пожал моряку руку.

Простившись с Петром Петровичем, он сошел в катер, крикнул вверх — «счастливо!», но в шуме запущенного мотора не расслышал ответа.

Рагозин долго смотрел вслед убежавшему фонарику на носу катера. Уже довольно стемнело, и вода стала буро-черной. В ней ступенчато отсвечивали мирные огни канонерок. Коллонна была неподвижна. Холодок августовского вечера на воде давал себя знать. До полуночи оставалось больше двух часов. Необходимо было соснуть. Рагозин вернулся в каюту.



# КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

## МОЛОДЫЕ ГОЛОСА

(Заметки о лирике)\*

Б. РУНИН

★

*«И чувствую —  
«я»  
для меня малю.*

*Я сам расскажу  
о времени  
и о себе».*

Владимир Маяковский.

**Д**ве цитаты из Маяковского, приведенные в эпиграфе, могут послужить отправными положениями в разговоре, связанном с проблемой лирики вообще. Первая может рассматриваться как определение лирического состояния художника. Вторая — как определение масштаба и объема его переживаний. Если в первой, относящейся к самому началу творчества поэта, как бы сформулирована потребность самовыражения, то вторая, взятая из произведения, завершающего путь Маяковского, может, как мне кажется, стать определением содержания лирики.

Это, так сказать, одновременно — и необходимые условия лирической поэзии, и обязательные ее признаки. Отсутствие или слабость одного начала обесценивает другое, и наоборот. Без потребности высказать себя без внутренней творчески осознанной необ-

ходимости раскрыть в поэтических образах свое «я» — никакой рассказ стихотворца о времени и о себе не может быть отнесен к лирической поэзии, просто потому, что не может стать фактом этой поэзии.

Точно так же, одной настоящей потребности выразить состояние своей души — тоже недостаточно. Ясно, что источником полноценного лирического творчества не может служить желание высказать свои волнения и мысли, если они случайны, узко индивидуальны, лишены жизненного содержания и интересного для других смысла.

Обе приведенные выше цитаты взяты из произведений, по существу окаймляющих творчество Маяковского (первая из «Облака в штанах» — 1915 год, вторая из «Весь голос» — 1930 год). На протяжении пятнадцати лет, заключенных между этими датами, величайший лирик нашего времени создал «все сто томов» своих «партийных книжек».

Я говорю об этом к тому, что помимо двух, уже установленных вех, определяющих и необходимых в разговоре о лирике, обязательна еще и третья, самая нужная для того, чтобы не отклониться в пути от заданного направления. Иначе говоря, мало установить наличие творческого импульса у поэта-лирика, мало охарактеризовать сферу, которую охватывают его переживания. Надо уяснить также идейный характер его

\* Семен Гудзенко. «Стихи и баллады». Изд-во «Молодая гвардия». 1945. Стр. 45. «Однопольчане». Стихи. Изд-во «Советский писатель». 1944. Стр. 48. «После марша». Стихи. Изд-во «Советский писатель». 1947. Стр. 66.

Михаил Луконин. «Сердцебиенье». Стихи. Изд-во «Молодая гвардия». 1947. Стр. 103.

Виктор Урин. «Весна победителей». Лирика. Изд-во «Советский писатель». 1946. Стр. 92.

А. Межиров. «Дорога далека». Стихи. Изд-во «Советский писатель». 1947. Стр. 102.

лирического вмешательства в жизнь, ту общественную задачу, которую поэт себе ставит.

Итак, лирика является раскрытием в образах внутреннего мира человека. Но, в то же время, она (как и всякое художественное творчество) тяготеет к обобщению, к типизации явлений жизни. И воздействуя на читателя, лирика, таким образом, активно участвует в формировании общественного сознания.

Пройти мимо того, куда направлена эта активность — значит пройти мимо существа лирической поэзии. Следовательно, необходимо установить, помогает ли тверчество данного поэта правильно познавать жизнь и воздействовать на нее в духе передовых идей нашего времени.

История литературы знает прямые высказывания больших поэтов, где они акцентируют случайное, субъективное начало в лирике. «Поэт всемогущ, как стихия, не властен лишь в себе самом», — писал Тютчев. Прямо противоположный, на первый взгляд, но по существу смыкающийся с этим утверждением тезис сформулировал Блок, отстаивающий право поэта на полный лирический произвол. Он говорил: «Т а к я х о ч у. Если лирик потеряет этот лозунг и заменит его любым другим, — он перестанет быть лириком. Этот лозунг — его проклятие — непорочное и светлое». Он же утверждал, что «поэт совершенно свободен в своем творчестве, и никто не имеет права требовать от него, чтобы зеленые луга нравились ему больше, чем публичные дома».

Значит ли это, что лирика Тютчева или Блока лишена всякой идейной направленности? Конечно, нет. Речь идет не только о субъективных намерениях поэта, но и об объективной, общественно-полезной стороне лирического творчества. Ясно, что эти взгляды Тютчева и Блока никак не совместимы с методом советской литературы, которая развивается на принципе сознательного вторжения художника в жизнь для ее справедливого переустройства. Только на этом пути возможно истинное исстворство в советской лирике.

«Ленинизм признает за нашей литературой огромное общественно-преобразующее значение. Если бы наша советская литература допустила снижение этой своей огромной воспитательной роли—это означало бы развратие вспять, возврат «к каменному веку»,—говорит А. А. Жданов. Следовательно, советский поэт должен руководствоваться в своем лирическом творчестве сознательно поставленными задачами, стремясь научить людей правильно оценивать явления жизни, стремясь поэтически оформить нарождающееся новое сознание своих современников. И на этом пути ему еще больше, чем отбор слов и образов, необходим отбор чувств и переживаний. Новая действительность должна раскрываться в советской лирике через новое отношение к жизни, через новый строй идейно-эмоциональных оценок, свойственный нашему времени, нашему обществу и нашим целям.

### «Третье поколение»

*«Подробно изложить все не смог. Пишу в окопе, рядом рвутся мины, звенят пули. Засыпало землей. Но не писать не могу...»*

Из письма артиллериста Сологуба.

*«Невольню настраиваешься на лирический лад. Вспоминается детство, школа, товарищи. Где сейчас мои школьные друзья? Наверное, тоже сидят в блиндажах и дотах...»*

Из дневника сержанта Григория Житова.

Отечественная война провела слишком очевидный рубеж в жизни нашей Родины и в нашей личной жизни. И нет нужды подробно говорить о том, что она ознаменовала собой для страны новый этап ее истории, а для каждого из нас новый отрезок биографии. Мы теперь часто употребляем выражение «это было до войны», четко отграничивая этими словами прежние особенности на-

шего бытия, подразумевая все те перемены, которые произошли за последние годы в нашей общественно-политической жизни, в нашей психике, в нашем быту. Война стала тем межевым знаком, который разделил на периоды непрерывное течение времени.

Естественно, что и в литературе история поставила такой разграничительный столб. Отечественная война подняла на небывалую

высоту тему советского патриотизма, породила новые проблемы, вызвала к жизни нового героя. Война, кроме того, познакомила нас с новыми писателями. Это пополнение заметно и в поэзии. Сейчас уже можно смело говорить о «третьем поколении» советских поэтов, чей голос начинает звучать в современной литературе все более звонко, заявляя о себе все с большей уверенностью. Творческое рождение поэтов этого поколения почти во всех случаях неразрывно связано с пребыванием на фронте и хронологически, и биографически, и тематически.

«В Красной Армии был с 1939 года до мая 1946 года. В финскую кампанию служил рядовым бойцом. В дни штурма Выборга был тяжело ранен. В Отечественную войну работал специальным корреспондентом армейской, затем фронтовой газеты.» Так рассказывает о себе Алексей Недогонов, опубликовавший помимо уже отмеченной критикой поэмы «Флаг над сельсоветом» несколько лирических циклов.

В первые дни Отечественной войны ушел на фронт тоже участник финской кампании—Михаил Луконин, недавно выпустивший свою первую книгу лирических стихов «Сердцебиенье». В армии си прошел путь общий для многих. Отступление, затем поход на Запад — от подступов к Москве до наших границ и дальше, через Польшу к Штеттину, до Берлина.

Три сборника военной лирики выпустил Семен Гудзенко, который стал поэтом на войне, начав ее рядовым десантного отряда и кончив военным журналистом.

Командиром отделения автоматчиков воевал Виктор Урин, выпустивший первую книгу лирики «Весна победителей».

Через месяц после окончания школы ушел на фронт Александр Межиров. Его первый сборник лирики «Дорога далека» вышел в свет совсем недавно.

Тяжелый фронтовой путь прошла и Галина Николаева, обратившая на себя внимание стихами своей первой книги «Сквозь огонь».

В партизанском отряде на Смоленщине сражался М. Максимов. Его первый лирический сборник «Наследство» уже известен читателю.

Многие участники боев на Волхове помнят отважного танкиста Сергея Орлова, который недавно выпустил в Ленинграде

первую книгу лирических стихов «Третья скорость».

Уже одного этого, далеко не полного перечня достаточно, чтобы понять, каким широким фронтом идет в лирической наступление молодая поэзия, порожденная войной. Ясно, что в нашу литературу входит целый отряд новых стихотворцев, для которых недавние битвы совпали с пробуждением серьезного творчества. Все они принесли с собой в поэзию свою военную биографию, свою готовность к жизни. Это — то общее, что, при учете творческих особенностей каждого, позволяет рассматривать молодых лириков, как своеобразную поэтическую плеяду.

Здесь надо оговориться. Самый термин «молодая лирика» весьма условен, как неточно и другое распространенное у нас выражение—«молодые поэты». Что это—возрастное определение? Если так, то оно очень приблизительно. И не в нем дело. Здесь важнее оттенить то обстоятельство, что все названные поэты выступают, по существу, как дебютанты. Те немногие опыты, которые у некоторых из них предшествовали военным годам, никак не определяют их творческого пути. Настоящее начало у Недогонова и у Луконина, у Максимова и у Баукова, не говоря уже о совсем юных Межирове и Урине, — связано с тем, что испытали и что написали они на войне и о войне. А еще вернее воспользоваться словами Маяковского и сказать — с тем, что написали они войной.

Таким образом, всех названных мною поэтов объединяет не только одновременность их прихода в литературу, но и единство жизненного материала, который послужил основой их творчества. Кроме того, и отношения с читателем у них отличаются своеобразием, характерным не для всякого времени.

В чем же заключается это своеобразие? Дело в том, что при естественной художественной неопытности молодые лирики обладают неоценимыми богатствами опыта войны. Надо прямо сказать, что для некоторых из них биография — это пока наиболее ценное накопление. Конечно, даже самая насыщенная военная биография не делает человека художником. Но она необычайно благоприятствует первым творческим шагам. Во-первых, благодаря огромному запасу впечатлений и наблюдений, почерпнутых на войне. А во-вторых, благода

ря тому, что эти впечатления и наблюдения очень близки и понятны множеству людей.

В этом смысле молодые лирики имеют возможность обратиться к очень отзывчивому, очень восприимчивому читателю, потому что сами они прошли путь, типичный для миллионов своих современников. Здесь не может быть разговора на разных языках и обеспечен самый активный отклик.

Убедиться в этом можно, прочитав, например, безыскусственные записи фронтовиков, собранные в весьма интересной книге «Жизнь солдата», выпущенной не так давно «Молодой гвардией». Здесь помещены дневники, заметки и письма с переднего края, в которых рядовые участники войны рассказывают о своих делах и думах на фронте, подобно уже упомянутому артиллеристу Сологубу и сержанту Житову. В дальнейшем разговоре я буду не раз обращаться к этой книге.

Таким образом, тот жизненный и душевный опыт, который поэт вобрал в себя в долгие годы войны и в первые дни мира, во многом будет неизбежно перекликаться и даже совпадать с чувствами и переживаниями

читателя. Благодаря такой общности личной судьбы в ее главном и ее повседневном читатель невольно дополнит поэта своими воспоминаниями и возможно найдет в его стихах больше, чем они на самом деле содержат.

Однако такое выгодное положение в то же время ко многому обязывает молодых поэтов. Они должны понимать, что никакая душевная фальшь, никакая психологическая или фактическая неточность в стихе не сможет «проскочить» незамеченной. Такой читатель сразу заметит все надуманное, искусственное, нежизненное, в какую бы красивую форму это ни было облечено. И он ничего не простит, так что и на снисходительное отношение рассчитывать тоже не следует.

В своем обзоре я коснусь творчества лишь некоторых поэтов «третьего поколения», причем тех из них, которые уже знакомы читателю по своим первым стихотворным опытам и которые, на мой взгляд, дают возможность затронуть наиболее существенные стороны молодой лирики.

## Начало пути

*«...Нужно быть правдивым и честным: до мелочей, последовательным и настойчивым. И от себя зависит многое: не возьмешь себя в руки — и будешь маяться. Послабление страшный враг, это я знаю по себе».*

Из фронтовых записей младшего политрука Б. Губанова, погибшего в районе Синявино осенью 1942 года.

*«Мальчик рос и мужал на тревожной недоброй планете.»*

А. Межиров.

Лирический герой Александра Межирова еще очень молод. Отдаленный гул начавшейся в Европе второй мировой войны, первые раскаты грома достигли его сознания, когда он еще сидел за партой. Вскоре гитлеровцы вторглись в нашу страну. Сейчас многие сверстники поэта вспоминают, как что-то далекое и призрачное, школьные выпускные вечера в тихий субботний вечер 21 июня 1941 года. Истории было угодно выпустить этих юношей из школы в мир, уже освещенный вспышками орудий, и она тут же определила их в куда более суровую школу, заставив держать трудное, решающее испытание на личном мужестве и гражданскую доблесть. Они вступили в жизнь, чтобы сразу же близко

познакомиться со смертью, и не всем суждено было пройти до конца тяжкую науку четырехлетней битвы.

В холодной теплушке воинского эшелона лирический герой поэта ощутил для себя пришествие большого начала; в кромешно-мутную ночь, где-то на перегоне, под хлопья близких разрывов открылось ему высокое значение всего предстоящего. Война всей своей тяжестью навалилась на его плечи, но она же пробудила в нем святое беспокойство поэзии, ту, по словам Пушкина, исключительную страсть, которая объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления жизни.

Каковы же были эти наблюдения, усилия и впечатления, если судить о них по

первым лирическим опытам Межирова? Почти все они связаны с солдатской судьбой, с фронтовым кочевьем, с предельным напряжением физических и духовных, но прежде всего — физических сил, с нечеловеческим терпением, преодолевающим стужу, голод, грязь, зной, блокаду, бездорожье и, конечно, страх смерти, присущий человеку инстинкт самосохранения. Герой Межирова ничего не забыл из того, что ему пришлось испытать в страшные годы войны, да и не сможет забыть — слишком глубоко все это проникло в душу, врезалось в память. И сорокаградусная блокадная ночь под Ленинградом, и безымянный прифронтовой полустанок, где на морозе «пляшет очередь за кипятком, длинная, как товарный состав», и перехлест пулеметного огня, и солдатский пот на гимнастерках.

Когда молодой поэт рассказывает, как «рота шаги заплетает устало», когда он с будничной простотой говорит «я упал — умереть», или вскользь замечает: «до следующего боя — сутки целые жить и жить», — действительно веришь, что **этой** юности выпали на долю самые большие испытания века.

Лирический герой Межирова многое познал из того, что пришлось познать солдату на войне. Он зимовал в синявинских топких чащобах, под его ногами хрустело ломкое крошево ладожского льда, черного от разрывов. На невоспыхих еще путях зойны он почувствовал многопудовую давящую тяжесть верст, которые взвалила себе на плечи терпеливая пехота. На смертном рубеже перед боем он ощутил огромную протяженность каждого мгновения. Чего раньше не замечал, да и не мог заметить.

Военная лирика Межирова беспокойна, тревожна. Ей свойственна какая-то лихорадочная и вместе с тем заклинятельная интонация. Все, чем гремела, лягала и громыхла война, все, что обжигало и леденило тела, все, что слепило глаза и оглушало сознание, — получило в этих стихах резкую, напряженную выразительность. Его поэзия может поразить стремительной сменой впечатлений и картин. Один образ наслаивается на другой, вытесняя и замещающая его, чтобы сейчас же в свою очередь раствориться, потерять резкость под возникшими очертаниями третьего.

Его строки одновременно отрывисты и настойчивы, они нагнетают чувство и заставляют все больше и больше повышать голос. Межиров, вообще, склонен все преувеличивать. Но в самой повторяемости слов и восклицаний, в настоятельном возвращении к поэтической фразе, ставшей рефреном, он находит средство, чтобы передать каждодневное присутствие опасности, пафос постоянного преодоления фронтовых тягот и сопутствующее человеку на войне состояние напряжения.

Но опять,  
опять  
и опять—  
В нескончаемый  
липкий  
ород,  
За увесистой  
пядью  
пядь,  
За стотысячный  
поворот,  
Вырывая  
с мясом  
подсосы,  
Задыхаясь  
в бензопровод,  
Нажимает на все колеса  
Грязью  
взмывленный  
броневзвод...

Почти все эти стихи читаются на пределе дыхания, и когда уже нехватает воздуха, чтобы не сломать заданный ритм, не нарушить настойчивость интонации, неожиданно прорывается в них, где-то на самой высокой ноте, почти на крике, самое простое и самое сложное — «очень хочется жить!»

Очень хочется жить, валяться на горячей траве, мечтать о дальних дорогах, читать стихи, вдыхать запах сена, смотреть в июньское небо, пересыпать в ладонях нагретый песок...

Будь это чувство всеподавляющим, преобладающим в военной лирике Межирова, мы бы не придавали значения его стихотворным опытам. Потому что, хотя оно, это чувство, и очень понятно, по-человечески естественно, но часто уводит в область узко индивидуальных переживаний. А ведь подобное впечатление может создаться и здесь.

— Выживу я  
или умру?  
Что ж ты молчишь,  
земля?

Может действительно показаться, что большое и страшное навалилось непосильной тяжестью на юность героя, и она не выдержит, не вынесет, поникнет. Но нет, есть что-то такое, что помимо личных надежд и робких иллюзий вселяет в героя уверенность и потребность действия. Не случайно он обращается к земле, вопрошая ее о жизни и смерти. Он не только ищет у нее защиты от осколков и пуль, по плечи вращая в траншеи, прячась в окопе, но и сам защищает ее. Она раскинулась кругом — «мне доверенная земля».

Это не просто случайно найденная в стихе удачная строка, но лаконично выраженная, хотя еще и неустойчивая жизненная позиция героя Межирова.

Почему же неустойчивая? Потому что эти два начала — «очень хочется жить» и «мне доверенная земля», определяющие военную лирику Межирова, иногда противостоят друг другу, и он не может их примирить. Здесь проявляется то решающее противоречие лирического «я» молодого поэта, которое наложило отпечаток на его творчество, сообщило ему черты тревожной отрывочности и наполнило интонацию его стиха нервной силой.

Эти два начала как бы выражают столкновение сознания и инстинкта, и они не только противопоставлены друг другу, но и тесно связаны между собой. Если в первом («очень хочется жить») звучит, по просту говоря, жажда элементарно ощущать мир, то во втором («мне доверенная земля») сказывается более или менее определенное мироощущение.

Межиров с удивляющей легкостью переходит от личного к общественному, от своей затерявшейся на войне жизни к судьбе страны, к войне в целом, и сокровенное в его стихе часто соседствует с патетическим. Но перегородочка где-то сохранилась, и он, пожалуй, не имел бы полного душевного права сказать вслед за Маяковским: «это было с бойцами или страной, или в сердце было моем».

Для того, чтобы действительно проникнуться традициями Маяковского, молодому поэту недостает целостности мировоззрения, прежде всего исторической созна-

тельности. Ход времени все-таки заслонен от него его сегодняшними переживаниями, связанными преимущественно с его собственной судьбой. Близкое знакомство со смертью приучило его быть внимательным к тому, что происходит «сейчас», а «после», может быть, уже и не будет. Слишком прочно вошло это в него на фронте.

Правда, в очень выразительном стихотворении «Ночь» он пытается протянуть нити от переднего края в вечность, но заглянуть за грань времени ему еще не дано, и он значительно увереннее чувствует себя, расширяя горизонты художественного видения не во времени, а в пространстве. Он стремится раздвинуть стенки окопа, увидеть всю войну, и здесь ему на помощь приходит гипербола. Она делает более просторной сферу его поэтического вмешательства. Но тут же обнаруживается несоответствие. Обретенное пространство нечем заполнить — для него мало того духовного и общественного опыта, которым располагает молодой поэт.

Он готов сделать заявку на весь мир — чем-чем, а художественной робостью Межиров не отличается. Но и без того иногда ясно, что он знакомит нас с очередным стихотворением, написанным на пределье своих запасов культуры, что за внешней эмоциональностью у него подчас не содержится ничего существенного. Особенно это относится к произведениям, написанным на невоенные темы.

В стихе Межиров чувствует себя свободно, судя по тому, с какой непринужденностью он ставит в строку эпитет, как легко перебивает размер, как незаметна, то есть органична у него рифма, как непривольны ассоциации. Но при этом он пренебрегает строгой дисциплиной поэтического мышления. Его обуревают множество соблазнов, и он не противится им, с готовностью отклоняясь от намечившейся темы, отвлекаясь в сторону и снова возвращаясь к замыслу. Может показаться, что свободная стихия поэзии подхватывает его, и он не во всем еще разобравшись, отдается ей безраздельно, лишь на короткий миг вспоминая о первоначальном намерении.

Вот почему иной раз чувствуешь, что не все сказанное в стихотворении обязательно, необходимо, а главное — завершено, не смотря даже на определенность концовки. Межиров и не стремится четко организо-

вать впечатления, и потому поэтическая мысль у него часто расплывчата, неясна. Она мерцает, то вспыхивая, то угасая, чтобы в следующей строфе вновь разгореться, как костер на ветру, который внезапным порывом может совсем загасить пламя. Эффектность отдельного образа, удачная строфа—едва ли не важнее для него, чем выражение целого. Ему еще очень не хватает определенности творческих намерений, целеустремленности и ясности поэтической мысли. И несмотря на несомненную взволнованность стиха, он редко взвывается до подлинных художественных обобщений.

В отличие от обычного процесса становления человека, в силу своей военной биографии, герой Межирова начал познавать мир сразу с двух его противоположных проявлений. Опыняющая радость бытия и слишком реальное знакомство с возможностью умереть вошли в его понимание одновременно. Эта нераздельность восприятий жизни и смерти стала тем центром, где пересекаются все его душевные движения.

В человеческой судьбе  
есть такая тропа  
Мне знакомо все на этой тропе —  
Есть на ней цветы,  
есть под ней гроба.

Но когда снарядам над тобой  
Разнесет накаты блиндажа,  
Ты увидишь купол голубой  
И умрешь, тем блеском дорожа...

Этот контраст двух начал, их постоянное и необычно близкое соседство,—вот эмоциональная основа его стиха.

Характерно, что после победы герой Межирова утратил, правда на время, привычное пространство, привычное измерение вещей. Осталась какая-то наивная, бездумная радость существования. Трагическое (в основе своей) одушевление сменилось ребячьим восторженным оптимизмом, тем более легкомысленным, что сверстник героя, вернувшийся с войны, — уже не мальчик, но муж.

Известно, что если одних опыт войны отупляет и надламывает, то других — проецирует и закаляет. Психика героя Межирова не надломилась и не притупилась на фронте, хотя кое-какие симптомы «тран-

шейной лихорадки» проскальзывали в его признаниях. И если он сумел преодолеть их, то здесь прежде всего заслуга той системы воспитания, которая окружала его, когда он еще сидел за школьной партой.

Но в какой мере просветила его война, какую сумму знаний о жизни и времени почерпнул он, пройдя на фронте курс высшего образования своего века?

Вот стихи, которые озаглавлены «Май—июнь 1945» и «На рассвете». Все прошло, все миновало. Весна и мирное голубое небо на тысячи верст.

Я иду, шатаюсь и хромая,  
Улыбаюсь, плачу и пою,  
Ничего кругом не понимаю,  
Никого кругом не узнаю.

Он готов снова заслонить собой это цветение жизни, которая ему так дорога. Чем же дорога? Какие дали открыл перед ним новый этап истории? Чем наполнено теперь его существование? Что, кроме самой элементарной радости, переполняет его «я», требуя выхода в поэзии, рождая необходимость поделиться с людьми своими чувствами и вызвать ответный трепет в сердцах современников и потомков?

На этот вопрос очень трудно ответить. Вернувшись с войны, герой Межирова, как новорожденный, «смотрел удивляющимися глазами и ничего разобрать не мог». В самом деле, неужто весь смысл его нынешнего бытия заключается в том, чтобы отыскивать повсюду мирные приметы и «дышать сплошным спокойствием погоды»? Неужто в том, чтобы воспевать обдувающие человека ветры—«прозрачные», «тревожные», «майские», «весенние», «стройные», «пришедшие с юга», «бесконечные» и всякие иные, а также—дожди, дождики, ливни и грозы?

Поистине, трудно найти другой лирический сборник с такой богатой розой ветров и таким количеством осадков. Неужто вся поэтическая восприимчивость Межирова обращена теперь в область метеорологии? Да, почти что так. Боевые рубежи, воронки, рвы и траншеи остались позади, и трудно, сопоставляя все это суровое и страшное с нынешней послегрозовой свежестью и солнечной новизной, удержать поэтические слезы счастья.

Конечно, после огня и порохового тумана красота осеннего тихого утра особенно прекрасна. Но поэт и сам понимает, что одной благодати природы для послевоенной поэзии мало. Он и сам вскоре начинает чувствовать наивность своего отношения к эпохе. И вот, герой Межирова старается серьезно задуматься над прошлым, настоящим и будущим. Его лирические монологи — стремление осмыслить уже не собственное безмятежное существование, не восторги по поводу весны или осени, а смену эпох, веков и лет. Однако здесь-то и сказывается интеллектуальная бедность его лирики, которая проявляется в мнимой многозначительности образов, в весьма сомнительных, чтобы не сказать резко, утверждениях:

Середина нынешнего века,  
Втиснутая в ямбы и гранит  
Жесткими руками человека,—  
Что-то первобытное хранит.

Таким представляется ему ход времени. Ясно, что никакая внешняя эмоциональность, а она-то и увлекает и соблазняет молодого поэта, не в силах восполнить его недостаточную историческую сознательность. Подняться от первоначального и смутного ощущения к широкому поэтическому обобщению ему почти нигде не удается.

Чувство исторической миссии своего поколения, ощущение большой судьбы, выпавшей на долю его сверстников, — все это осталось там, на фронте. Там, по существу, родился и рос герой Межирова.

Вот почему тема возвращения с войны оборачивается у молодого поэта неизменным возвращением к войне. Оторваться от нее—значит потерять почву под ногами, и всякое отвлечение от фронтовых переживаний. — будь это взгляд в далекое прошлое, попытка рассмотреть настоящее или обращение к будущему — смутно, абстрактно, неясно, иногда чересчур декламационно, иногда мелко философично. Тут кажется, что некоторые стихи Межирова продиктованы не полнотой внутренней жизни, а лишь усилием воображения. Соблазн опасный...

И пока трудно сказать, куда растет Межиров. Для того, чтобы стать действительно выразителем дум поколения победителей, ему надо еще во многом разобраться. И прежде всего, возвыситься до широкого и ясного понимания своего современника. То, что поэт об этом знает, позволяет надеяться на плодотворность его дальнейшей работы.

На моем холсте одни лишь пятна.

Я мечтаю разобраться в сути...

Суть — проста. Проста и непонятна.

Это люди...

Да, ему надо как следует присмотреться к людям, к их нынешним заботам и стремлениям, словом, к тому, чем живет сейчас страна. Хочется верить, что «Дорога далека» — первая книга стихов Межирова, отмеченная очевидной талантливостью ее автора, — тем не менее, уже пройденный этап для него. Хочется верить, что дорога идет в гору.

### Цветные карандаши

*«...Мальчишки ни черта не переживают. Это мы, взрослые люди, всегда что-нибудь переживаем, — сказал Жора, — а мальчишки, знаешь, ни черта не переживают...»*

А. Фадеев. «Молодая Гвардия».

*«...чтоб каждый день тебе казался новым,  
чтоб принимал оттенок он любой:*

*оранжевый,  
березовый,  
лиловый,  
зеленый,  
розоватый,  
голубой...»*

Виктор Урин.

Есть такой карандаш «Светофор» — мечта многих школьников. Грифель его одновременно и синий и красный. Иной раз он пишет сразу двумя цветами, и как жаль, что только двумя!

Когда читаешь первую книгу Виктора Урина, кажется, что стихи его писались таким карандашом. И те, кто должны по всем признакам писаться «кровью сердца», и те, что могли быть закреплены на бумаге во-

дянистыми чернилами. Вот буква получилась красная, а вот уже синяя... Чудесный карандаш доставляет его владельцу много радостей и приводит его к удивительным открытиям. Можно найти такую точку, — нет, не зрения, а писания, — что буква, или, скажем, человек, или, там, яблоко будут изображены двухцветным контуром. Это ли не радость? Сделал черточку на бумаге, а в ней заключен прообраз радуги!

Я не хочу, чтобы меня поняли буквально, — мол, Урин любит и тонко чувствует цвет, и красочность мира ему дороже всего. Это справедливо только отчасти. И не в этом дело. Слово «стиль» вошло в нашу речь от названия древнего орудия письма, которым пользовались античные греки. Поэтический стиль Урина очень близок нехитрым цветовым эффектам, достигаемым с помощью продукции фабрики «Сакко и Ванцетти». Порой чувствуешь, что и такого раздвоенного грифеля ему мало. Вот бы достать весь набор карандашей, засесть за бумагу и, наклонив голову к плечу, нарисовать все, что тебя окружает.

Вот этот домик, с дымом, прямо взлетающим в небо, — моя школа. Вот эти красные и черные пятна — война. Вот здесь — яблоки, груши, сливы, а над ними, видите, «наверху», в лучах солнца, летят самолеты. Это — победа. Вот это сплетение голубых, синих, зеленых и «розоватых» линий — моя юность.

Речь идет, конечно, не о том — можно ли писать стихи, условно говоря, цветными карандашами, или обязательно следует предпочесть, говоря столь же условно, акварель или уголь. В конце концов, если такой способ творчества позволяет поэту извлечь дополнительный эффект из своей работы — пусть пишет так. Речь идет о той грани, которая отделяет свежесть молодых восприятий от радужной инфантильности.

В детстве и солнце светило ярче, и трава была зеленей. Подобные замечания можно найти в высказываниях многих писателей. Широко распространена также мысль, уподобляющая восприятия творческой личности восприятиям ребенка. Непосредственность и полнота восприятия звуков, запахов и красок, присущая началу человеческой жизни, действительно завидное свойство. Но кто же из больших поэтов пытался добиться силы и интенсив-

ности выражения своих чувств путем отказа от «взрослых» представлений и понятий? Как раз напротив, свежесть и новизна первоначального видения вещей обычно сопутствует в искусстве мудрому пониманию жизни, зрелым представлениям о ее содержании. Значит, все дело в том, какая мысль освещает все эти оттенки — оранжевые, лиловые, зеленые, розоватые и голубые.

Нас всегда будет умилять отсутствие перспективы и чувства масштаба в детском рисунке. В данном случае примитив — заведомое условие творчества. Но полотно взрослого художника, лишенное дали, глубины и соразмерности вещей, вызовет у нас совсем иные эмоции.

Тут следует сказать и еще об одном обстоятельстве. Мы более или менее охотно слушаем непрофессионального пианиста или смотрим спектакль драмкружка. Тяга к искусству, удовлетворяемая любительским исполнением, кажется нам вполне естественной. Самодеятельные концерты доставляют удовольствие как неискушенным артистам, так и снисходительным зрителям. Однако всякая попытка широко утвердить правомерность литературной самодеятельности, уместной в домашнем кругу и только, была бы нами воспринята как очевидная нелепость. Тут, видимо, тоже существует какая-то грань. Она трудно определима, но весьма существенна при оценке первых стихотворных опытов. По одну ее сторону находится знакомая почти каждому старшекласснику смутная потребность приобщения к миру образов, усвоенных на школьной скамье. По другую — творчески осознанная необходимость высказать людям правду своих переживаний, приобщить читателей к этой правде.

Виктор Урин человек одаренный. Судя по тому «лирическому напору», который ощущается в его стихах, он тоже мог бы сказать о себе — «я чувствую — «я» для меня малоб». Но вот вопрос, что способен он рассказать нам «о времени и о себе»? Мне кажется, что его первая книга «Весна победителей», хотя и обладает некоторыми достоинствами, все же в большей мере дает повод и для того и для другого разговора — и о житейской инфантильности и о самодеятельном характере творчества.

«В открытое окно влетает плотный кожаный стук волейбола. Я сижу в своем уголке за письменным столиком, и Владик Бахнов предлагает мне поменять остров Ямайку на республику Чили. Так было», — начинает Урин свою автобиографию.

С тех пор прошло много времени. Была война. Но кажется, что первые радости жизни до сих пор владеют его сознанием. В «Весне победителей» кожаный стук волейбольного мяча слишком часто перекрывает гул канонады, а восторги юного коллекционера марок грозят заслонить суровые картины борьбы.

Эта книжка — результат причудливого сочетания претензии и непосредственности, искренности и легкомыслия, внутренней необходимости и объективной необязательности. Грань между детскими радостями и взрослыми волнениями провести здесь невозможно. Точно так же — как между стихотворной резвостью и серьезным, творческим отношением к поэзии. Книга Урина может произвести такое впечатление, будто молодому поэту одинаково близок герой Майн-Рида и Герой Советского Союза, одинаково интересен носорог на почтовой марке и «тигр» на поле боя. Я верю, что на самом деле это не так, но возможность подобного восприятия военной лирики Урина не исключается, ибо главное у него растворяется во второстепенном.

С одной стороны, Урин многое воспринял от современной русской поэзии, и новизна формы органически присуща его опытам. С другой стороны, он словно поставил себе целью пополнить известную книгу Корнея Чуковского «От двух до пяти». Он пишет «лягушечья ква-квачная вода», рассказывает, как «беж жубов оштавался», простодушно радуется, подыскав новорожденному имя «Победия». Ему кажется необычайно эффектной строка: «Ах, Майка в майке», ему представляется весьма соблазнительным воспользоваться любезностью типографии и расположить буквы не в строку, а в виде журавлиного строя самолетов.

И наряду с подобными поэтическими «находками», способными вызвать шумное одобрение на волейбольной площадке, он серьезно говорит о торжественной простоте языка победителей, о творческих дерзаниях, о стремлении писать так, «чтоб сло-

во твое простое, как вывеска, на всех перекрестках было приколото».

В каждом стихотворении чувствуешь — детство, вот оно! Оно еще не ушло, еще живо в мельчайших деталях и, что значительно серьезнее, — в неспособности высидеть над ним. Война не «перешла» в героя Урина школьных воспоминаний и привычек. Собственно, это даже не воспоминания, а рассказ о том, что было только вчера. И доска в классе, и девочка с косичками, и конфеты «Ромашка», и пионерские песни, и вечеринки вскладчину, «и пр. и др.», как выражается сам Урин. Он еще не успел или не сумел разобраться в круговороте первых чувств.

В моей душе попрежнему осталось все то, что было для меня нередко таинственным, особым, сокровенным, когда крадется холодок по венам.

На фронте его герой старается постигнуть все эти «неясные детали, которые ни капли не давали, как говорят, ни сердцу, ни уму». Думал ли он раньше о войне? Думал, но как-то так, неопределенно, «казалось, даже обойдемся «без». А что произошло, когда выяснилось, что не обошлись «без»? Он отправился воевать и сражался храбро и самоотверженно. В этом нет никакого сомнения. Но стал ли он на войне взрослым человеком? Иначе говоря, с каким содержанием пришел Урин в поэзию?

Я думаю, что стихи Урина, написанные на переднем крае, на фронтовых дорогах и после фронта, выражают собой наивное стремление воссоздать прерванное отрочество. Воссоздать не только в содержании, не только в свойственных этому возрасту мыслях, но и в манере выражения, в страстности и к словесным шалостям. Тут следует говорить не столько об исторической сознательности, — куда уж там! — сколько о художественном такте.

Почему же, в таком случае, мы рассматриваем книгу Урина в ряду других поэтических явлений молодой лирики? Потому, что Урин, тем не менее, — поэт, и суровая реальность времени, независимо от его намерений, вторгается в «мальчишковое» сознание его героя. Потому, что наряду с восхищенным рассказом о том, как «ты над лужей сделался вальетом», как игралось в цурки, —

Тревожный день проходит мимо вас,  
улавших в перебежке на колени,  
крутых приказов, и предсмертных фраз,  
и окопавшихся подразделений.

Потому, что хотя герой Урина часто сбивается с верного тона, фальшивит в поисках нужного слова, но он без всякого кокетства и с полным правом говорит о себе:

Измученный, молчаливый солдат,  
становясь жестоким и угловатым,  
ни единой пулей я не солгал,  
когда разговаривал автоматом.

А рядом — опять ребячье, опять «розоватый оттенок», отроческие прыжки и ужимки, детская скороговорка. Этот же измученный и молчаливый солдат, знающий, что о нем и его сверстниках в народе сложат легенды, вдруг начинает скакать на одной ножке:

Пусть не мешает немчура,  
а если вылезет с утра,  
из пулемета: чур-чура  
по немчуре, как и вчера...

Ну как тут быть? Остается только руками развести. Ведь самое досадное, что оба начала нераздельны в герое Урина. Таков он во всем. За что он сражается, во имя чего воюет, мучается, терпит лишения? Конечно же — за родину, которой он присягал, «за Маяковского, за Льва Толстого». А если внимательно прочесть это стихотворение, — почти в той же мере — за волейбол, за Жюль Верна.

Как мститель, приходит он на землю врага, и вдруг снова в нем пробуждается школьник, которому все интересно «в этом трофейном краю».

Смерть витает вокруг него, и если прикажут, он умрет просто и мужественно. Здесь он солдат, как и все его сверстники, кующие Победу. А рядом совсем другой разговор о смерти, причем не менее искренний. Схватить бы на руки уже упомянутую «Майку в майке», «я не давая вырваться бандитке» (это о любимой!), «во что бы ты ни стало от счастья и от смеха — умереть!» Так трудная жизнь под пулями соседствует в этой книге с веселящимся угловатым отрочеством.

Что это, оптимизм? Нет. Просто хорошее настроение. Может быть — счастье молодости, осознающей свою силу? Нет. Это

счастье беспечное, вопреки обстановке — бездумное, просто оттого, что «в сердце до черта задора». Белинский говорил когда-то, что быть безусловно счастливым — это привилегия младенчества. «Младенец, — говорил он, — играет жизнью, плещется в ее светлой волне и безотчетно любитесь брызгами, которые производят его резвые движения».

«По свойству своих душевных хлопот» герой Урина производит эти резвые движения не замечая, что становится смешон и может вызвать уже не снисходительную улыбку, а неподдельное раздражение. В задоре природа, действительно, не отказала поэту. Но беда-то в том, что этот задор грозит вычеркнуть из его стихов содержание, а радость бытия почти не оставляет места для серьезных размыслений.

Темперамент — качество в поэзии необходимое. Но как обидно, когда истинно поэтический темперамент растрачивается на мыльные пузыри, которые беззвучно лопаются, едва успев отразить в себе радужный мир.

... Отчего, почему, не знаю,  
не могу догадаться сам, —  
только весело,  
ух, как весело!

Это — радость победы, радость возвращения. После войны Урин, как и Межиров, переживает «дождливый» период. Ливни омыают мир. Снова мигают светофоры, снова в сетку летят мячи, снова созревают плоды, и родина, даже, уподобляется «анисовке». Надо сказать, что безвкусица, как бы дремавшая в прежних стихах Урина, теперь пробудилась ото сна. Она вырвалась на простор, и даже редактор не сумел ее обуздать.

И все-таки Урину нельзя отказать в том, что он — поэт. Вопреки безвкусице, легкомыслию, инфантильности, вопреки тому, что он часто пишет (вернее было бы сказать — «его пишет») совсем не то, что может утвердить молодого поэта в литературе. Но когда сквозь эстрадную развязность прорывается благородный голос солдатской судьбы, когда за беспечным порханьем «пернатых фраз» почувствуешь идущую в лирическое наступление военную юность, становится ясно, что отрицать возможности Урина было бы преждевременно.

К сожалению, таких достижений у него еще очень мало. Он живет в стихе привольно и весело, простодушно не скрывая ни радости, ни удивления от того, что видит, и от того, что получается на бумаге. Ему ничего не стоит, как говорил Пушкин, «в куплеты рифмы набросать», но он еще только пробирается «сквозь лирические пусыри» к настоящему творчеству. Вот почему его первую книгу «Весна победителей» хочется считать не первой, а предварительной.

Профессия и назначение поэта предполагают наличие не только общей и литературной культуры, но и культуры переживаний, культуры таланта. Незрелость эмоций труднее преодолеть, чем низкопробную строчку. Поэтому мне кажется, что Урину прежде всего необходимо задуматься над воспитанием своих чувств. И уж потом пытаться поэтически оформить переживания и чувства своих товарищей, своего героя. А молодость — что ж, — она не извинение. Лермонтовский возраст уже не за горами...

### Цельность характера

*«Я молодой человек первой половины великого двадцатого века. Сегодня я хочу говорить о себе, потому что я рассердился и потому что у меня большое горе.»*

Из фронтовых записок старшего лейтенанта Б. Булкина, погибшего в Восточной Пруссии зимой 1944 года.

*«Дорого я обхожусь себе!  
Дорого я обхожусь стране!»*

М и х. Л у к о н и н.

На пути к достоверности чувства у поэта множество трудностей. Не всегда удается подслушать на бумаге свой собственный голос. Великое искусство быть самим собой в лирике часто дается труднее, чем в жизни. И тем драгоценнее дар, позволяющий поэту, оставаясь самим собой, быть выразителем многих. Мы часто и пространно говорим о типических характерах и типических обстоятельствах, о героях нашего времени, когда речь идет об эпических жанрах или о драме. И почему-то мало задумываемся о типизации в лирике, о том, насколько органичен для нашего времени тот или иной лирический герой, насколько присущи эпохе те душевные обстоятельства, в которых он нам раскрывается.

Конечно, к уяснению этого вопроса нельзя подходить так же, как к рассмотрению романа или повести, пьесы или эпической поэмы. Здесь герой поставлен совсем в иные условия литературного существования и находится в других взаимоотношениях с автором. Как было когда-то сказано, в лирике живописец сам становится картиной, творец сам превращается в свое творение. Но это лишь самое общее определение существа лирического творчества, и тот же Белинский, который приводит эти слова, идет гораздо дальше. В лирической поэзии, говорит он, всякая мысль, всякая идея

должны входить в ощущение поэта «будучи связаны не с какой-либо одной его стороной, но со всей целостию его существа».

Целость существа! Можно ли говорить о ней в применении к герою Урина? Конечно нет. И не потому, что его характер внутренне противоречив, а потому, что характера-то еще нет, он пока не установился.

Герой Межирова отличается многообразием впечатлений, он жадно вбирает в себя различные излучения жизни, и они овладевают всем его существом, грозя даже захлестнуть его. Но можно ли говорить о типичности его настроений, мыслей и чувств, если подтекст всей военной лирики Межирова пронизан сознанием собственной исключительности, необычности своей судьбы, жертвенной тяжести испытаний, выпавших на его именно долю?

Вот почему я думаю, что Михаил Луконин мог бы ближе других молодых поэтов подойти к лирике типизирующей, обобщающей чувства современников и сверстников. Черты новой морали, советского самосознания, благородной, проверенной в боях этики органичны для его стихов и естественно присущи его герою. В людях и в себе самом его интересует самое настоящее и стоящее, самое главное и до-

подлинное. Не мимолетные движения души, а длительные стимулы, решающие устои, определяющие поведение, общественные принципы. Он оценивает человека по большому счету, в его наиболее существенных, наиболее значительных проявлениях.

Луконин хотя и не претендует на философичность, но, возможно именно благодаря этому, в своих обобщениях счастливо избегает мнимого глубокомыслия и всяческих туманностей. При этом он серьезен всегда и во всем. Эта серьезность порой спорит с его эмоциональностью, иной раз мешая ему быть по-настоящему нежным, действительно радостным, безраздельно торжествующим, слегка печальным или беспричинно веселым. И она же никогда не позволяет ему быть легкомысленным. В чем угодно можно его упрекать, но только не в легкомыслии. Для его героя не существует лирических сенсаций, как, например, у Межирова. Он скорее даже тяжелодум. Он не бегает по земле вприпрыжку, как герой Урина. Его походка, пожалуй, даже чересчур медлительна.

Его жизненная позиция проста и мужественна — надо быть честным во всем. В любви и в бою, в дружбе и в работе. И в той же мере — честным в поэзии. Для этого не нужно выставлять напоказ свои добродетели и свои раны, нельзя гордиться тяжестью перенесенных испытаний и легкостью побед. Нельзя играть в рифмы или заигрывать с читателем, рисоваться перед ним или рисовать ему радужные картинки. Во всем нужно найти простую первооснову. Надо прежде всего знать, за что ты воюешь, во имя чего борешься, для чего живешь. Вот почему в разговоре Луконина о жизни и смерти нет ни капли кокетства, ни малейшего стремления вывернуть себя наизнанку.

Возможно, внезапное озарение не часто посещает молодого поэта, не всегда осеняет своим присутствием его стихи. Но мне ясно, что он сам прибегает к нему навстречу, настойчиво доискиваясь общественной правды своих переживаний и подчеркивая в них то, что имеет гражданскую ценность. Он не выходит из себя по каждому лирическому поводу, не становится на цыпочки, чтобы его заметили, не повышает голос, чтобы обратить на себя внимание, а рассказывает о себе чуть глуховато, немного сбивчиво, несколько моно-

тонно, иногда совсем неуклюже, но всегда честно.

Да, он дорого обходится себе, и в его стихах чувствуешь себя неуютно. Но зато — надежно, как в блиндаже с перекрытием в шесть накатов.

«Пусть человек живет по-человечески. Пусть человеческий мир будет реальным миром. Во имя этого мы боремся, во имя этого мы не шадим жизни. Во имя жизни мы презираем смерть». Эта запись для себя одного из миллионов участников войны, слова которого я привел также в эпиграфе, прямо перекликается с книгой Луконина «Сердцебиенье». Попробуем восстановить биографию героя, как она раскрывается нам в этой книге.

Сначала финская война — боевое крещение наших молодых современников. Первая разлука, первое знакомство со смертью, первые размышления о мужестве. Уже тогда он сказал себе слова, требующие открытого взгляда на вещи: «Ты в сражении. Ты солдат». Суть, разумеется, не в самих словах. Они могли не содержать в себе никакого открытия, никакого лирического откровения. Но они были произнесены с той силой внутренней убежденности, которая уже тогда превратила их в норму поведения.

Из финской войны герой Луконина вынес твердое понимание того, что он скоро снова пойдет воевать. Его отношение к жизни приобрело воинствующую требовательность. Не просто радость существования, а грозная прелесть борьбы раскрылась перед ним. Это чувство сделало его непримиримым по отношению к человеческим слабостям.

Я бы всем запретил охать,  
Губы сжав — живи!

Плакать нельзя!

Не позволю в своем присутствии

плохо

Отзываться о жизни,

за которую гибли друзья.

Это из стихотворения о погибшем друге, написанного сразу после финской войны. Законы фронтового братства, равенства всех перед высшим долгом советского гражданина, истинно солдатское отношение к возможностям фронтовой судьбы — вот что высказано здесь простыми словами. У артиллеристов есть суровый в своей прямоте термин — «взаимозаменяемость номеров».

Смысл его заключается в том, что каждый боец в боевом расчете должен уметь выполнять обязанности соседа, на случай, если тот выйдет из строя.

Чувство личной «взаимозаменяемости» у Луконина порождается пониманием общности целей, единства намерений, коллективности устремлений и питается непоколебимой верой в необходимость и правоту нашей борьбы. Герой Луконина, вспоминая убитого друга, говорит об этом с мужской прямоотой и товарищеским целомудрием:

А если бы в марте, тогда,  
мы поменялись местами,  
Он  
сейчас  
обо мне написал бы  
вот это.

Таким образом, герой Луконина ушел на войну с немцами, уже хорошо зная свое место в строю. У него не было никаких иллюзий, да он и не нуждался в них. Не нуждался в них и сам поэт. Никаких прикрас, никаких изысканностей, ничего «вышешенного». Он хочет найти поэзию там, где ее, пожалуй, редко ищут. Поэзия — это когда «сержант Иванов в атаку выводит пехоту», когда на фабричном собрании ткачиха читает вслух письмо от сержанта.

Фронтные стихи — это чувство победы,  
такое,  
Что идут и идут неустанно  
на подвиг и труд,  
Все — туда,  
где земля стала полем последнего  
боя.  
Иногда умирают там.  
Главное —  
это живут!

Воюя, герой Луконина все больше и больше проникается народным пониманием войны. Он освобождает не просто родную землю, а землю, которую нужно снова возделывать, которая вызывает о мирном труде. Она для того должна стать как можно скорее полем боя, чтобы тем быстрее превратиться в пашню. Пахать пора! Надо торопиться.

Воин-труженик — таков этот образ, может быть нарочито «сниженный» Лукониным, но для того лишь, чтобы выявить в нем главное.

Я уже привел несколько выдержек в эпиграфах и в тексте из книги «Жизнь солдата». Приведу еще отрывок, чтобы показать, как осознавали себя на войне рядовые участники, отнюдь не поэты. Вот, например, что писал сержант Бутенко:

«Кто мы? Откуда у нас это упорство в борьбе и необыкновенная, титаническая сила?»

Я смотрю на своих боевых друзей: ничего героического и титанического в них нет — все это простые, скромные, честные люди, все они — труженики, которых война, оторвав от мирных занятий, не искалечила, не извратила: они и здесь остались такими же тружениками. Просто, как бы делая самое обыкновенное дело, выполняют они свой долг, защищая Родину, свой очаг, свою свободу и право на труд и счастье.

Именно эти мысли стремится сделать поэт содержанием своей военной лирики, именно об этом говорит герой Луконина. Он — рядовой солдат. Таковым он обнаруживает себя во всем — и в думах о любимой, и в отношениях к друзьям, и в ненависти к врагу. В окружении и в наступлении, в дни тяжких неудач и в дни победы.

Как же складывается дальше его судьба? Ранение. Из госпиталя он снова устремляется туда, «где ветер боя дует», чтобы до конца пройти свой воинский путь. И вот он на земле врага, Эльбинг, Шварцвальд. А затем — «и Берлин за спиной». Стихи Луконина, освещенные салютом победы, говорят о зрелости поэтической мысли, о зрелости чувств, которые он «воспитывал» все эти годы, начиная с того времени, когда сам как бы определил пафос своей лирики, сказав — «Дорого я обхожусь себе! Дорого я обхожусь стране!»

Процесс «воспитания чувств» ему как поэту обходится действительно дорого. Этот процесс труден, он требует душевной дисциплины, постоянной самопроверки, и не потому ли стихи Луконина читаются нелегко. Чтобы ими проникнуться, тоже требуется известное напряжение, повышенное внимание. В них надо вчитываться.

Это кирпичная кладка на прочном основании, но не каждый кирпич ложится ровно. Некоторые не помещаются, их приходится класть на ребро. Иные торчат из

стены, и за них неминуемо зацепятся прохожие.

Поэзия Луконина как бы разъята на стихотворные фразы, фразы — на слова. И, как говорил Маяковский:

Начнешь это  
слово  
в строчку всовывать,  
а оно не лезет —  
нажал и сломал.

У Луконина обломки тоже идут в дело. Они не цементируются интонацией, но крепко пригоняются друг к другу настойчивым стремлением к цели и плотно заполняют пустоты. Луконин еще не подчинил себе сопротивление поэтического материала, потому что занят более важной задачей: преодолением душевной инерции, постоянными поисками общественно-необходимого, истинно ценного в себе самом. За это он платит дорогой ценой, может быть даже лишая свой стих гармонической ясности и стройности, иной раз отказывая себе в непосредственности переживаний, но легко поступаясь традиционными правилами, обязательными для педантов и эпигонов.

Что ж? Писать гладенькие стишки о ливнях и цветах? Или мужественно держаться линии наибольшего сопротивления? Я думаю, что для Луконина вопрос стоит именно так, особенно в стихах послевоенных. Это вопрос о разрешении больших художественных задач, о преодолении трудностей на пути к достоверности чувства в его стихотворном выражении.

К счастью, Луконин остается верен себе. И после войны он старается осознать в лирике больше того, что лежит на поверхности души, пойти дальше размышлений о собственном благополучии, о возможности мирных утех. Его герой и теперь не забывает, во что обходится он стране.

Мало ощущать себя победителем и хорошим товарищем. Есть нечто более существенное в моральном облике советского человека. И если Луконину во многом удалось выразить народное понимание войны, то это благодаря тому, что его герой привык соотносить все свои побуждения и желания с государственными интересами. Вот эта самооценка с точки зрения интересов государства и есть для него настоящая

честность, высший моральный критерий. Вот это и дорого в Луконине, в его цикле «День победы», где он подводит итоги своему военному пути и намечает себе новую дорогу.

Здесь становится особенно ясно, что его беспокойные угловатые строки дороже ему, чем добропорядочная видимость поэзии, достигнутая с помощью ее внешних примет и дешевых красот. Его не может соблазнить пышная бутафория, которая иной раз обманывает не только читателя, но и самого автора. Здесь с очевидностью убеждаешься в том, что его герой не мог питаться на фронте акридами, а ел простой черный хлеб, и что с войны он вернулся человеком, реально смотрящим на вещи.

Луконин всячески стремится к лаконичности. Но он все же еще не достиг того уровня художественной культуры, когда принцип экономии выразительных средств сам становится средством выразительности.

В чем секрет активного воздействия поэтического образа? Я думаю, что самое понятие это — выразительность — включает в себя не только точность отражения мира, но в еще большей мере смысловую емкость образа, которая сообщает искусству чудесное свойство — в малом рассказать многое, вобрать солнце в каплю воды.

Конечно, не все поэтические тропы ведут к успеху. Но все же, почему образное иносказание обогащает содержание поэтической мысли и усиливает ее воздействие? Почему удачная поэтическая метафора придает ей выпуклость, стереоскопичность?

Уподобляя одно явление другому, иногда очень удаленному от первого, поэт создает тем самым на месте плоскости пространство. При этом он позволяет пробежать творческой искре по длинной смысловой цепи, связывающей эти явления в определенной зависимости. Стремительно пробегающий между ними огонь последовательно озаряет мгновенными вспышками все промежуточные звенья. Так просторы жизни вовлекаются в атом искусства.

Метафора потому и выразительна, что она может сконцентрировать в себе столько познавательной энергии, столько эмо-

ционального содержания, сколько иной раз не отыщешь в целом стихотворении. В этом смысле не только наука, но и поэзия «сокращает нам опыты быстротекущей жизни». Процесс восприятия стиха читателем потому и отличается такой активностью, что он становится процессом высвобождения и духовного использования этой скрытой энергии.

У Луконина образное иносказание нередко еще выглядит искусственным, даже надуманным. Смысловая цепь метафорического уподобления часто рвется у него в самом начале, искра исчезает, не успев осветить даль, выхватить глубину. И все же его стих, несколько обедненный в этом отношении, — интересен и весом.

Поэтичным, по Луконину, должно быть не столько словесное выражение, сколько заключенное в стихах и прямо выраженное содержание жизни. Не эмоциональная риторика, как у Межирова, и не задушевная растрепанность чувств, как у В. Урина, а грубая прямота верных слов и нужных фраз. Луконин упорно учится управлять своими чувствами, не позволяя им захлестнуть поэтическую мысль, не разрешая себе сбиваться на легкую чувствительность. Говоря о войне, о смерти, о крови, он никогда и никого не пугает, а ведь это так естественно, рассказать как было страшно на фронте. Так естественно в послании к любимой немного пожаловаться на тяготы и лишения.

Но он вовсе не хочет, чтобы его жалели, утешали или выказывали ему сочувствие. И не о заслуженном отдыхе думает он, не об уюте мечтает, не о том, как чудом уцелел, будет говорить вернувшись.

Нет, не думай, что так приду.  
В этой большой войне  
Мы научились ломать беду,  
Работать и жить вдвойне.

Герой Луконина, в отличие от других лирических героев молодой поэзии, несколько не противопоставляет себя людям тыла только потому, что ему много раз грозила смерть, а они жили в относительной безопасности. Вспомните, как лежа в пристреленном ковчеге, представлял себе этого человека, живущего в далеком мирном городе, герой Межирова. У Луконина как раз обратные чувства — благодарность и слова утешения тем, кто напряженно ра-

ботал все эти годы и все эти годы тревожно ждал.

Не за благодарностью я бегу —  
Благодарить лечу.  
Все, что хотел, я сказал врагу.  
Теперь работать хочу.  
Не за утешением —  
утешать

Переступлю порог.  
То, что я сделал, к тебе спеша,  
Не одолженье, а долг.

В духовном мире советского человека чувство долга никогда с такой силой не заявляло о себе, как во время войны. Об этом задумывались сами ее участники, об этом много писали и пишут поэты. Я думаю, Луконин достиг здесь значительного успеха, и читая его книгу видишь, что высокая нравственная идея вошла в ощущение поэта, будучи связана со всей целостью его существа. С наибольшей яркостью это сказалось в стихотворении «Приду к тебе», которое кончается следующими словами:

В этом зареве ветровом  
Выбор был небольшой, —  
Но лучше притти с пустым рукавом,  
Чем с пустой душой,

И сейчас же хочется привести отрывок из дневника уже знакомого нам сержанта Бутенко, записавшего слова своего товарища, сказанные в палатке после боя: «Он все делал неспеша, — пишет Бутенко, — основательно и добротнo. Говорил мало, но всегда афоризмами. Вот и на этот раз, подумав, он сказал слова, которых не забыть:

— В бою не страшись пролить кровь, боясь потерять совесть!»

Истинное сознание долга не оставило героя Луконина и после победы. Насколько глубже своих поэтических соседей хочет понять он время, переход к восстановлению, к созиданию, можно заключить из стихотворения «Пришедшим с войны». Ничего благостного, умиленного, никаких домашних восторгов. Не ласковые дождики и не первосортные фрукты, а озабоченность и жажда действия:

Нам не речи хвалебные,  
Нам не лавры нужны,  
Не цветы под ногами,  
Нам, пришедшим с войны,

Нет,  
не это,  
Нам надо,  
Чтоб ступила нога  
На хлебные степи,  
На цветные луга.  
Не жалейте,  
не жалуйте отдыхом нас,  
Мы совсем не устали,  
Нам —  
в дорогу как раз!  
Не глядите на нас  
с умилением,  
Не удивляйтесь  
живым.  
Жили мы на войне!  
Нам не отдыха надо

И не тишины.  
Не ласкайте нас маркой:  
«Участник войны».  
Нам —  
трудом обновить  
ордена и почет,  
Жажда трудной работы  
нам ладони сечет.

Я уже говорил, что восприятие стихов Луконина предполагает известную читательскую дисциплину. Но если, читая его книгу, сумеешь почувствовать за изломами строк мужественную прямоу, за неорганизованной ритмикой — трепетное сердцебиение, — то, естественно, отнесешься к лирике Луконина с уважением и доверием.

### Условное и подлинное

*«В минуты затишья мы иногда мечтаем. Мы стараемся заглянуть вперед, увидеть, что будет впереди. Конечно, будет наша победа...»*

Из письма старшего лейтенанта М. Автоманова с Северо-Западного фронта.

*«Здесь,  
на переднем,  
любят мужчины  
Поговорить о тепле у костра.»*  
Семен Гудзенко.

Для Семена Гудзенко военные годы были тоже начальной порой литературного пути. Он пошел на фронт в том возрасте, когда для человека еще новы все впечатления бытия, когда только устанавливается человеческий характер. И неудивительно, что грозные события, пробудившие в нем настоящую потребность высказать себя, проявились в его первых стихах несколько наивно и по-юношески романтично.

Война и романтика. Соседство этих двух понятий издавна кажется естественным в советской литературе. Но есть романтика и романтика. В этой связи мне хочется напомнить интересный поэтический разговор двадцатилетней давности. Разговор Багрицкого с комсомольцем Дементьевым о грядущей войне.

Было ли то широко известное стихотворение Багрицкого апологией «пресловутого ворона», «черного пера», как это может показаться на первый взгляд? Я думаю, что нет. Оно звучит скорее отказом от традиционных литературных канон, несовместимых с представлениями о будущих битвах. За выслугой лет увольнялась

старая романтика, отметались ее потребные регалии. Это было прощание с книжными поэтическими атрибутами, но ни в коем случае не прощание с романтической мечтой. А в ответе Дементьева прямо утверждалась действенная сила такой мечты, ее побудительная энергия.

Стихи Гудзенко романтичны не только потому, что в них оманутся приподнятость, какое-то такое отношение к жизни, которое превосходит наши повседневные восприятия, будничные представления. В них есть также мечта, стремление. Воюя, он старается заглянуть вперед, рассмотреть очертания победы, торжество нашего справедливого дела. Но в его приподнятости и его мечтаниях надо разобраться, чтобы отделить подлинную поэзию от столь соблазнительных для автора и обманчивых поэтизмов.

Лирический герой Гудзенко тоже еще очень юн. Ему тоже «пройти довелось всеми дорогами лютой беды». С трогательным простодушием говорит он: «ведь на войне я в первый раз побрил усы». Но в отличие, например, от героя Урина, он во

что бы то ни стало хочет казаться старше, солиднее, многоопытнее. Он стремится всячески доказать, что он уже не юноша, не дай бог, если о нем так подумают! Он храбрый, выносливый, все повидавший мужчина. И потому он подозрительно часто напоминает о «мужской дружбе», о «пепле волос», о том, что на переднем крае любят мужчины поговорить у костра, что после боя «глушили водку ледяную», словом, обо всем том, что может его приобщить к бывалым солдатам, познавшим все испытания своего сурового ремесла.

Но об этом потом. Как бы там ни было, лирический герой Гудзенко воевал отважно, и мы готовы были ему поверить и согласиться с ним, когда он говорил:

Стали за время  
большой войны  
мужественней сердца,  
руки крепче,  
весомей слова,  
и многое стало ясней.

Прошло несколько лет, и Гудзенко выпустил не одну, а целых три книги. Все они о войне. И, странное дело, когда теперь знакомишься с ними, невольно отмечаешь, что многое в этих стихах уже отодвинуто в прошлое салютом победы. Почему же так произошло? Почему так быстро состарились некоторые военные стихи, написанные поэтом несомненно одаренным, да к тому же еще очевидцем и непосредственным участником боев?

Видимо, дело не в том, что у Гудзенко можно найти немало безвкусных строчек или необязательных эпитетов. Кстати говоря, судя по недавно вышедшей книге «После марша», его стих стал заметно чище и точнее. Суть, очевидно, в более существенных особенностях его творчества. Мне думается, что многие стихи Гудзенко не могут удовлетворить наши нынешние запросы потому, что сейчас, в 1947 году, такого осмысления войны, какое в них содержится, и такой военной романтики, какая им свойственна, нам уже недостаточно.

От разговора Багрицкого с комсомольцем Дементьевым нас отделяет целая эпоха. Мы уже совсем по-иному смотрим на вещи. Двадцать лет разницы — не пуськи! Во-первых, за это время мы привыкли не только «торопить» будущее, но и ви-

деть его осуществленным. Абстрактные, беспочвенные мечтания в наши дни уже невозможны в литературе. А во-вторых, за это время «будущая» война стала войной прошедшей. И она была для всех нас слишком осязаемой реальностью, исключавшей всяческое легкомыслие. Но любопытно, что на месте старых романтических условностей успели сложиться новые.

И если Гудзенко никогда не был, да и не мог уже быть прямым приверженцем «черного пера», то все же некоторые его военные стихи многим обязаны именно условно романтическим представлениям, связанным, правда, не столько с традицией, сколько с... возрастом. Мне кажется, что чисто внешние признаки романтической эмоциональности проявились во многих его стихах значительно отчетливее, чем взволнованное осмысление настоящего и романтическое ощущение будущего.

В существе современного поэта многое определяется тем, в каких отношениях находится он с будущим, что диктует ему воображаемое «завтра» и насколько его взгляд в грядущее реально обоснован настоящим. Характерно, что и у Багрицкого прощание с романтическими условностями было связано с потребностью заглянуть вперед.

Надо сказать, что почти все молодые поэты необычайно легко обращаются с вечностью. Они часто адресуются к «уважаемым товарищам потомкам», а тем лишь, однако, чтобы сказать: о наших героических делах вы будете слагать саги, легенды, сказания, былины, песни и т. д., до вас дойдет слава о наших подвигах, вы будете завидовать нашему времени, полному борьбы и доблести.

Все это, конечно, справедливо, но, к сожалению, на этом путешестве в ненастоящие еще времена обычно и заканчивается, превращаясь в некую чрезвычайно распространенную условность. А по существу такое заигрывание с потомками представляет собой легкий способ отделаться от величия темы, которая не вмещается в стих, отказ от попытки осознать современное как историческое. Куда проще переадресовать этот бесценный груз в будущее, чтобы он шел туда малой скоростью. А там, когда получают, уже разберутся, что к чему.

Каким же видит поэт из окопов это будущее? Какой представляет себе победу? Что принесет она с собой, что будет означать в судьбе его поколения, чем станет она в жизни страны? Она ему видится, чувствуется, снится...

И день настанет.

Будет вдоволь славы,

И радости в заждавшихся сердцах,

И отдыха на выжженных полях.

Снова в зарослях сирени будут до ночи петь малиновки. Снова молодые влюбленные будут у тополя встречать рассвет. «Мы по-другому взглянем в небеса. Сильней полюбим и сильнее подружим». Будет весна, музыка, «пьют друзья, и моя невеста неразлучна опять со мной».

Победа пришла. Желаемое свершилось. Но что же? Так скудны были идеалы, так незначительны стремления, что поэту по существу и сказать-то нечего. По Кишиневскому шоссе его герой возвращается с войны. О чем он думает, какие дали открылись перед ним?

Мы с войны

идем с победой на восток.

... Как сорок первый год далек!

И всё! Едва наметившись, тема уже исчерпана в этом непрехотливом сопоставлении времен, не родив сколько-нибудь существенной поэтической мысли. В другом стихотворении, «Послесловие 1945 года», лирический герой Гудзенко восторженно восклицает:

Случайные попутчики!

Солдаты

передних линий, первых эшелонов! ..

Закончилась вторая мировая.

Нам жить и жить!

Гони, шофер, гони!

Радость жизни после отгремевших битв — чувство, конечно, естественное. Но отчего же эта радость звучит здесь бестактно? Только ли оттого, что она выражена неловко? Я думаю, еще и оттого, что поэт не чувствует масштабной несоразмерности между величием события и облегченностью лирического отклика. «Закончилась вторая мировая». Здесь есть досадная фамильярность в обращении с историей.

Мысленно часто устремляясь к победе, Гудзенко как художник оказался к ней неподготовленным. Тут выяснилась необхо-

димось в такой достоверности чувств и такой широте зрения, которые юношеская приподнятость его поэзии уже не вмещала.

Горький когда-то говорил, что советским писателям «необходимо знать не только две действительности — прошлую и настоящую, ту, в творчестве которой мы принимаем известное участие. Нам нужно знать, — говорил он, — еще третью действительность — действительность будущего... Мы должны эту третью действительность как-то сейчас включить в наш обиход, должны изображать ее. Без нее мы не поймем, что такое метод социалистического реализма».

В том-то и дело, что Гудзенко обходится без этой «третьей действительности», не включает ее в свой поэтический обиход, не пытается проникнуть в нее зрением художника. Отсюда узость его творческого вмешательства в жизнь.

Романтическое начало поэзии социалистического реализма — не в отвлеченной эмоциональности условно литературных представлений, а в исторической сознательности, в активной побудительной мечте, обгоняющей ход событий, помогающей внимательно вглядываться в действительность. Именно тогда это романтическое начало может стать источником всего героического и возвышенного, к чему так стремится поэт.

Характерно, что романтизируя войну Гудзенко почти нигде не достигает патетического звучания. Его приподнятость кажется мне лишеной истинного пафоса, сопутствующего поэзии высоких идеалов, значительных целей.

В таком случае, чем же является это романтическое начало в творчестве Гудзенко и почему, при всем том, во многих его стихах чувствуется все же подкупающая прелесть волнения и свежести?

Отечественная война действительно содержала в себе благородную романтику, столь привлекательную для юности. — война с ее походной жизнью, атаками, призывами, великим братством фронтовиков, законами военной дружбы, с ее верностью памяти погибших, печалью утрат и радостью побед. Все это так. Но здесь надо отделить истинно романтические настроения поэта, связанные с темой активного советского патриотизма, с темами любви, друж-

бы, воинского долга, — от искусственной романтизации, привнесенной извне, едва ли не с тем, чтобы скрасить бессодержательность и неясность лирического чувства, отсутствие поэтической мысли.

Поэтический смысл лучших стихов Гудзенко шире непосредственно изображенных в них явлений. За мимолетностью чувства, за случайностью наблюдения в лучших балладах и стихотворениях Гудзенко можно различить неповторимые особенности времени и обстановки. В «Балладе о дружбе», в «Балладе о доме», в «Возвращении», «Памяти», «Тишине», «Дождях» Гудзенко не сблизается примитивными ассоциациями, вроде тех, что навеяны фильмом «Большой вальс» («Зачем ты спрашиваешь нас»), или необычным звучанием названий венгерских сел («Ясладань, Ясберень, Ясапати»). В «Балладе о коменданте», в «Памяти ровесника», в стихотворении о погибшем в Праге майоре у Гудзенко намечены возможности выхода в мир настоящих страстей и серьезных раздумий о славной и трудной судьбе своего поколения.

Но я решительно не могу признать подлинной поэтичности за таким, например, стихотворением, как «Чудеса». Сначала горячий гейзер, внезапно заклокотавший в воронке от мины. Затем девушка-словачка, точь-в-точь, как оставшаяся в Москве единственно любимая («И те же брови, губы... И все лицо до родинки твое...»). А потом оказывается, что всего этого не было..

Я это все придумал,  
когда сидел в окопах, размокая,  
как хлеб в воде —  
в звенящей рыжей жиже,  
мечтая о прорыве и тепле...

Хорошо, пусть даже эта, не слишком хитрая выдумка, пусть даже такая наивная

мечта (хотя, по правде сказать, ее хочется назвать фантазерством) способна согреть душу лирического героя. Но вместе с тем стихотворение заставляет насторожиться, потому что оно содержит в себе невольное саморазоблачение. Романтизация действительности здесь продиктована не величием цели, а потребностью скрасить обыденные подробности войны, облагородить ее повседневные лишения. Она становится своеобразным средством эстетической защиты от военных тягот. И хотя в таком стремлении есть жизненная обусловленность, надо прямо сказать, что оно крайне обедняет поэтические возможности Гудзенко.

Теперь понятно, откуда идут частые упоминания о воинственных мужчинах у костра, вся эта немного мальчишеская солдатская суровость, которая право же отдает книжностью, откуда «махра», зеленая вода в походных флягах, пропотевшие гимнастерки и крепкие армейские сапоги, а рядом «грусть в груди осколком», «мертвецы на розовом льду», «бешеные кони», восходы и закаты, крашенные солдатской кровью, караулящие в атаках золотники свинца..

В известной мере такой поэтический строй был свойствен нашей литературе военных лет. Но сейчас, когда война ушла в прошлое и осмысливается нами не как «атаки, обороны, медсанбаты и поиски разведчиков в ночи», а как четырехлетие напряженной борьбы, определившей судьбу нашего государства, — теперь из военной лирики хочется почерпнуть нечто большее. Хочется, чтобы масштаб лирических чувств и переживаний в стихах Гудзенко был приведен в соответствие с масштабом событий, чтобы в их историческом величии поэт ощутил истинно романтическое начало своей поэзии.

### Что же дальше?

*«Кто это? Я. Все люди я».*

В. И. Л е н и н. «Философские тетради».

На поле боя была найдена записная книжка. Владелец ее так и остался неизвестен. Одно ясно — он был солдат. Вот с чего он начал свои записи:

«По отвесной стенке бруствера полз небольшой черный жук. Он втыкал свой хобот в грунт и деловито выгребал землю

лапками. Мелкозернистый песок осыпался. Жук барахтался в нем, как в воде, но настойчиво делал свое. Он выбросил много земли и не продвинулся ни на один сантиметр. Потом, вероятно поняв бессмысленность такого труда, жук стал карабкаться вверх. Он цеплялся ножками за стенку.

Песок бежал гонкими ручейками. порошил ему глаза, гянул за собой. Жук выжидал, пока остановится гечение, и начинал сначала. Так он делал несколько раз. Затем немного отдохнул и стал взбираться на стебель пырея. Ветер сильно качал травинку. Трижды жук срывался и снова напористо лез.

Ему удалось достичь верхушки травинки. Но это была только половина пути. Снова поднялся ветер, и стебель сильно закачало. Жук крепко держался. Улучив момент, когда стебель прижало к стенке, он уцепился ножками за сухой корень травы, торчавший на насыпи, вскарабкался на гребень бруствера и стал врываться в землю сверху.

Что ему здесь было нужно? Для чего потребовалось ему затратить столько сил? Я вспомнил: когда насыпал бруствер, я видел норку. Может быть, в ней находилась подруга жука, детеныши? Запасы питания? Он их разыскивал. Я пожалел жука и подумал: вот так надо воевать! Долго лез жук, настойчиво, упорно шел он к своей цели.

По существу это — стихотворение в прозе. Но я позволил себе привести такую большую выдержку не просто ради ее художественных достоинств. Мне эти записи неизвестного солдата кажутся примечательными и в другом отношении. Прежде всего, они свидетельствуют о той внимательности ко всем проявлениям жизни, которая не оставляет человека на войне даже перед боем. А кроме того, о естественном человеческом стремлении проникнуть в суть всего увиденного, соотнести всякое наблюдение, всякую мелочь с тем главным, что человеком движет, что поглощает все его помыслы.

«Вот так надо воевать!» Пусть этот переход от случайного к необходимому выражен здесь наивно и прямолинейно. Пусть даже сама аналогия не слишком удачна. Это — заметки солдата. Поэт должен смотреть шире, вдумываться глубже. В его творчестве подобный переход должен заканчиваться убеждением — «Так надо жить!»

Я бы не стал столь подробно останавливаться на творчестве молодых стихотворцев, если бы не сознание того, что в их лице мы в какой-то мере имеем дело с литературной сменой, с первыми литера-

гурными опытами поколения, юность которого совпала с величайшими трагическими событиями в истории нашей страны.

Сейчас мы, видимо, находимся в преддверии небывалого расцвета советской литературы, освещенной яркими отблесками Великой Отечественной войны, распахнувшей перед человеком нашего государства такие дали, о которых он и не ведал. Победоносная освободительная война показала нашему современнику, какими силами мы обладаем, на какие подвиги мы способны, какую мощь несет в себе наш строй.

Война была не только проклятием, но и великой школой, проверкой всех сил народа, говорит товарищ Сталин. И пройдя через это испытание, советский народ еще больше уверовал в свое могущество, еще яснее осознал свою историческую миссию.

Неудивительно, что и критерии, которые наше современное послевоенное общество предъявляет к искусству, неизмеримо повысились. Огромность пережитых потрясений, величие нашей победы, сияние цели, стоящей перед нами, — все это рождает потребность в искусстве больших обобщений, серьезных раздумий, пламенных стремлений. Все это требует глубокого проникновения писателей в характер нашего деятельного современника — воина и труженика, в его дела и думы, в его надежды и чаяния.

Тем, более высоки должны быть наши требования, предъявляемые к художникам, что мы, отметив тридцатилетие нашего государства, не только стремимся осмыслить весь пройденный путь, — нам есть на что оглянуться, — но и все чаще стараемся заглянуть вперед, наметить дорогу дальше. И это вполне естественно. В старину говорили, что трещина мира проходит через сердце поэта. Мы скажем иначе: через сердце поэта проходит дорога в будущее, путь в наше «завтра». Иначе — он не поэт, не водитель народа, а всего лишь стихотворный комментатор происходящего.

И вот, если подумаешь обо всем этом, сразу станет очевидной несоизмеримость лирических откликов наших молодых поэтов с запросами времени, с объективными потребностями общества.

Все это так. Но зачем же тогда говорить о задачах лирики на материале творчества еще неоперившейся литературной

молodeжи, и правомерен ли разговор о некоторых общих проблемах литературного развития в связи с книжечками стихов поэтических дебютантов? Нет ли здесь тоже масштабного несоответствия? И не придаю ли я тем самым Межирову или Урину, Гудзенко или Луконину значения большего, нежели они заслуживают?

Я думаю, что такое, вполне вероятное возражение будет неправильным уже потому, что возможно и они — и Луконин, и Межиров. — отчасти будут представлять завтрашний день нашей поэзии, и потому еще, что уяснить характер и смысл явления только нарождающегося не менее важно, чем анализировать литературные явления уже сложившиеся и определившиеся. Мне кажется важным и нужным именно теперь отметить некоторые недостатки, присущие лирикам «третьего поколения», когда они только входят в литературу.

А основные недостатки большинства молодых лириков, как я уже показал, очень серьезны — идейная бедность, художественный эмпиризм, переползание от одной лирической частности к другой, неумение создать целостный образ своего современника и сверстника, молодого человека середины двадцатого столетия, живущего в стране социализма. Именно отсюда вытекает объективная незначительность и общественная необязательность многого из того, что ими уже написано.

И вот это обстоятельство заставляет серьезно тревожиться за судьбы молодой лирики. Война, Родина, любовь, долг, героизм советских людей, социалистическая мораль, послевоенный труд, отношение к капиталистическому Западу и множество других тем, важных и насущных, которые мы ощущаем как содержание нашей жизни, — все они в лучшем случае только затронуты лирическими поэтами «третьего поколения». А ведь все это лично пережитое, испытанное, ежедневно наблюдаемое.

Однако о ком из названных здесь поэтов можно сказать, что ему удалось хоть в малой степени обобщенно выразить в лирических стихах наше время в его неповторимых особенностях, в его богатстве и сложности, в его повседневном течении и историческом величии? Другими словами, кому из них удалось выразить это основное и общее через свое личное и со-

кровенное? «О времени и о себе» — это же неразрывно в лирике, это ее существо.

Никому пока не удалось, — и на мой взгляд, не по недостатку таланта, а вследствие того, что молодые поэты и не ставят перед собой подобной задачи и не слишком задумываются о своем назначении. Один только Луконин сделал первые, но еще очень робкие шаги на этом пути.

Еще сто лет назад Белинский писал о той важной роли, которую играет в лирике личность поэта, его «я». «Ощущения и чувства, о которых он (поэт) говорит, как о своих собственных, будто бы одному ему принадлежащих, — заметил Белинский, — мы приписываем себе, узнаем в них моменты собственного духа».

С тех пор многое изменилось не только в жизни, но и в самом характере лирической поэзии. Мы переживаем сейчас время, когда прежнее деление литературы на роды и виды требует, видимо, некоторого пересмотра. Совершенно очевидно, что на наших глазах лирика и эпос идут друг другу навстречу, стремятся сблизиться, что эпическая поэма, например, в том виде, в каком она существовала в прошлом веке, исчезает, превращаясь в лиро-эпическую. А с другой стороны, «чистая» лирика все настойчивее вбирает в себя картины объективной жизни.

Но этот процесс взаимного тяготения и взаимного обогащения никак не умаляет роли лирического «я» поэта. А если проникнуться теми требованиями, которые предъявляет к литературе наше общество, то станет ясно, что личность поэта приобретает в наши дни еще большее значение, уже государственного масштаба.

Лирический поэт живет у всех на виду. Его нравственная жизнь открыта для всеобщего обозрения и потому требует от поэта немалого мужества, убежденности, чувства величайшей гражданской ответственности. Самое печальное происходит в тех случаях, когда мужество, позволяющее выносить на люди свои сокровенные переживания, подменяется бесстыдством, а убежденность и ответственность понимаются как право на своеобразный «лирический произвол».

Когда читаешь, например, «Весну победителей», невольно задумываешься над тем, что лирическая поэзия лишь тогда интересна, когда она является отражением реаль-

ной общественной практики нашего современника, что далеко не всякие душевные обстоятельства, в которых раскрывается нам герой, могут быть душевно необходимы читателю, что самый термин «личная лирика», издавна бытующий в нашем обиходе, в наши дни — попросту и неверен и несовременен.

Лирический поэт — это человек, через волнения, настроения, переживания которого читателю раскрывается окружающий мир и его собственная личность. Ясное дело, что нелепо было бы требовать от каждого стихотворения, чтобы оно обязательно выражало собой кредо поэта в его законченном выражении. Но книга лирики — не просто сумма отдельных стихотворений, а нечто более цельное и ответственное. Это уже, в большей или меньшей степени, — мирозозрение. Первый лирический сборник — особенно важная ступень в формировании поэта. Маленькая книжечка стихов становится заявкой на свое место в литературе, на свой круг идей, на свое содержание.

Здесь мы ищем целостный образ современника, интересного нам активностью своего отношения к различным явлениям действительности. И мера успеха здесь прежде всего определяется насыщенностью его духовной жизни, многообразием его стремлений, страстностью его переживаний, силой проявления его печалей и радостей.

Молодые лирики «третьего поколения» принесли с собой в литературу свою военную биографию. Война несомненно была для них очень серьезной жизненной школой. На фронте действительность раскрылась перед ними в самых резких и контрастных проявлениях, в необычайном богатстве событий и страстей. Но уже сейчас понятно, что на одном житейском опыте, даже почерпнутом на войне, в поэзии долго не проживешь, что между богатством впечатлений и богатством содержания не всегда можно поставить знак равенства.

Даже в самом маленьком лирическом стихотворении поэт остается наедине со всем миром. Такова особенность лирики. Но если этот мир во всех отношениях сужен до собственной биографии, как например у Виктора Урина, если горизонты его восприятий, интересов и его лирического вмешательства легко обозначаются третьим эшелонem, московской улицей и спортивной

площадкой, то никакая юношеская впечатлительность не спасет его стихи от немедленного забвения.

Хочется также сказать Межирову и Гудзенко, что даже самые трудные испытания войны, став предметом лирики, подвергаются испытанию временем. И оно безжалостно отбрасывает все мелкое, второстепенное, незначительное, все, в чем не видит для себя необходимости.

Нельзя не согласиться с тем, что писатели, не видевшие войны, упустили невозможное. Однако молодым поэтам необходимо задуматься над тем, что вынесли они из войны, насколько осознали они на фронте ответственность перед своей большой судьбой, перед историей.

«Жизнь с мелкими и скучными делами, тревогами, волнениями, заботами и всякими пустяками повседневности есть и на войне, — записывает сержант Бутенко. — Но в жизни всякого человека, а особенно война, часто бывают такие минуты, когда все это отступает на задний план, когда душа, очищаясь, становится широкой и свободной, открытой для великих чувств».

Великие чувства! Не тонут ли они у наших поэтов в море лирической повседневности? Вот мы, возвратившись с войны, прочли книги Межирова, Гудзенко, Максимова, Луконина, Урина, Орлова. И невольно возникает вопрос, в какой мере, говоря о себе, они рассказывают нас? В какой мере наше «я» обогащается от знакомства с поэтами? Мы, конечно, узнаем себя, читая их сборники, узнаем в каких-то деталях восприятия войны, во множестве ощущений, знакомых каждому из нас. Но ведь этого мало. Мы хотим узнать себя и в их раздумьях, в том, что мы, быть может безотчетно, носим в себе и что, будучи выражено поэтом, тем скорее откроется нашему сознанию. Мы хотим найти в этих стихах мысли, объясняющие нам самих себя, помогающие нам понять все пережитое и переживаемое, открывающие нам еще неизвестное. Иначе говоря, хочется поставить вопрос — в какой мере молодые поэты обладают способностью лирического размышления, поэтического суждения о жизни:

Написал я этот абзац и сразу услышал возмущенные голоса: «Вы толкаете лирическую поэзию в область рационального, рассудочного! Вы хотите лишить лирику

ее живой жизни, ее непосредственности, произвольности!»

Конечно, нет! Не хочу ее лишать того, что ей органически присуще. И вообще не хочу ее лишать чего бы то ни было. Наоборот, хочу прибавить. Слова Пушкина о том, что «не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее», — звучат сейчас необычайно современно. «С воспоминаниями о протекшей юности литература наша далеко вперед не продвинется», — говорил он, как будто бы прямо адресуя эти слова к нашим молодым стиховорцам.

\*\*\*

Идея в искусстве всегда конкретна, если она выражена художественными средствами. Что означает идейная бедность в лирике? Это прежде всего бедность отражения действительности в сознании лирического героя, это ограниченность его представлений об окружающем мире, неумение поэта передать свое отношение к различным явлениям этого мира.

Но идея в искусстве, кроме того, всегда активна и выражает стремление человека воплотить свои желания в жизнь, видеть свои мечты осуществленными, свои цели достигнутыми, переделать мир в своих интересах. Это эмоционально-волевое начало творчества. И потому подлинный художник не только отражает окружающий мир, но и сам создает его.

Война и послевоенная действительность выдвинули перед нами новые потребности, поставили перед нами новые задачи во всех областях нашей жизни. Эти новые потребности, как и всякие общественные потребности, получают свое идейное выражение в той или иной форме. И когда мы говорим об идейности в современной нашей литературе, мы имеем в виду те огромные возможности, которые открывает перед нами образное выражение этих идей, ту силу воздействия, которую они приобретают под пером художника, облегчая разрешение выдвинутых жизнью задач.

Воля, стремление к достижению цели, к осуществлению идеала, к переустройству мира обязательно включает в себя эмоциональные элементы, которые художник в данном случае поэт, способен усилить, умножить. Но воля становится реальной силой лишь тогда, когда она носит не толь-

ко эмоциональный, но, что еще важнее, интеллектуальный характер. Отсюда ясно, что художник обязан не только взволнованно видеть, но и не менее взволнованно мыслить.

Занимаясь проблемой познания, Ленин отметил диалектичность перехода от ощущения к мысли. Лирическое стихотворение в идеале представляется мне наглядной картиной этого диалектического процесса, где переход от ощущения к мысли предстает перед нами во всей конкретности художественных образов.

К сожалению, лирика, с которой мы познакомились, как правило, останавливается на полпути к мысли. Она преимущественно иллюстративна, она главным образом только фиксирует, но не стремится к цели, в ней больше удивления, чем размышления. Ведь по существу, ни Межиров, ни Гудзенко, ни Урин, ни их поэтические соседи почти не осмыслиют свои первоначальные ощущения ни в тексте, ни в «подтексте». А если мы все же встречаем у молодых поэтов намерение разобраться в идеалах того «внутреннего человека», с которым они нас знакомят, то такие попытки по большей части выглядят искусственно, неуклюже. И нередко чувствуешь, как обобщение отрывается от переживания, мысль от восприятия, идея от эмоции.

Почему так происходит? Я думаю, это можно объяснить тем, что часто молодые лирики, как говорится, принимают пылкость юности за тревогу вдохновения. Они еще недостаточно уяснили себе как поэты свое общественное назначение, свой долг, и больше всего озабочены выражением самих себя, своих случайных волнений.

Быть «инженером человеческих душ» — значит не только наблюдать свою душу или понимать чужие, но и активно содействовать духовному становлению людей своего общества. Мало выразить себя, недостаточно выразить нас. Надо идти впереди нас, чтобы указывать нам дорогу. Социалистическая лирика призвана стать силой, организующей сознание людей, которые создают новые формы, новые условия человеческого существования.

Ведь если поэт уступает в богатстве идейного мира, в своих духовных запросах рядовому читателю, то, в лучшем случае, он может лишь проинформировать совре-

менников о своих переживаниях, пусть даже вызваны они нашей всемирно-исторической победой.

Иное дело, когда поэт как общественная личность и как художник одушевлен передовыми взглядами своего века, когда он при этом стремится видеть дальше других и глубже других осознать стоящие перед нами задачи, чтобы приобщить к своему знанию, к своим желаниям читателей. Тогда любое воздействие внешнего мира, пусть это будет, например, распустившийся цветок, может послужить поводом для высказывания обобщающей путеводной мысли.

Очень грустно, когда этот цветок у наших поэтов как и остается цветком, но еще печальнее, что и победа часто низводится у них до этого цветка.

Лирика должна быть не только «диалектикой души», но и «исполнением желаний», чтобы наши цели в поэзии осуществлялись раньше, чем в действительности. По самой природе своего призвания лирический поэт скорее, чем любой другой художник, обязан заглянуть в наш завтрашний день, «помочь осветить прожектором путь вперед» (А. А. Жданов). К сожалению, молодые поэты, за исключением разве только Луконина, еще далеки от роли проводников идей своего поколения, выразителей надежд и целей современников. Они заняты душевной констатацией, которая иногда не оставляет места для мысли и в которой потому не всегда есть объективная необходимость.

Что же говорить о целостном постижении времени? Приходится признать, что содержание нашей жизни последних лет куда значительнее и сложнее, чем содержание жизни пришедшего в литературу молодого лирического героя, что он пока еще недостаточно осмыслил самого себя, свое место в обществе, свое будущее.

Лирика, как правило, не знает отрицательного героя. За немногими исключениями, поэты всегда утверждали и возвышали того типического человека, который заявлял о себе в их лирическом творчестве. В этом смысле лирикой накоплены огромные богатства, и они могут быть неизмеримо умножены литературой социализма, несущего небывалый расцвет личности. Творчество Маяковского — этому лучшее подтверждение. И не потому ли всякое

принижение лирического героя, обеднение его внутреннего мира особенно резко бросается в глаза?

Казалось бы, все молодые поэты посвятили немало строк героизму советского человека на войне. Но удалось ли им показать героизм, как проявление идейности нашего воина, как самоотверженное стремление к той цели, которую поставило перед собой наше общество? Удалось ли им выразить побудительную силу нового сознания в борьбе за высокие общенародные идеалы? А чем же иным, как не высоким сознанием и пламенной верой в идеал обусловлены подвиги наших воинов?

Между тем, у наших лириков героизм почти всегда носит характер проявления абстрактной храбрости, инстинктивной отваги, выносливости и стойкости вообще.

Казалось бы, тема патриотизма является основной в рассмотренных нами циклах стихов. Да и как могло быть иначе, если речь там идет о войне. Но ведь эта тема выражена там преимущественно как безотчетная любовь к родине, в то время как чувство советского патриотизма наполнено глубоким идейным содержанием, пронизано страстным порывом вперед.

Здесь сказывается известная инерция, которую оказалось не так легко преодолеть. Тема патриотизма нередко разрабатывалась в нашей литературе ретроспективно. «Земля отцов» привлекала некоторых писателей значительно чаще, чем «коммунистическое далеко». И далеко не всегда звучал в поэзии мотив любви к родине, как любви к социалистическому отечеству, любви деятельной, высказанной через страстное желание, через высокую мечту — «таким я хочу видеть свое отечество».

В нашем разговоре этот упрек адресован и Межирову, и Гудзенко, и Урину. Нельзя сказать, чтобы они вовсе не касались темы переустройства жизни в родной стране и не замечали ростков будущего в настоящем. Но это еще не стало их внутренней темой, облеченной в живые выразительные образы.

Они испытывают большие трудности особенно сейчас, когда их герой, родившийся на войне, должен привыкать к мирной жизни и созидательному труду. Впрочем, переход к новой теме болезненно пережи-

вают не только они. Если посмотреть невоенные стихи очень способного поэта Орлова, или Баукова, или Галины Николаевской,—тоже сразу почувствуешь, насколько интереснее, красочнее писали они о фронте, насколько непосредственнее звучал их голос раньше и как настойчиво врываются чужие голоса в их «мирную» лирику. В отличие от поэтов старшего поколения, их герой не возвратился к прерванным войной делам, а вынужден начинать новую, доселе неведомую жизнь.

Что же, значит для молодых поэтов, созданных войной, второе рождение героя обязательно, как закон? Значит, детские болезни декларативности и риторики с неизбежностью должны последовать за этим вторым рождением? Ничего подобного!

На недавнем всесоюзном совещании молодых писателей поэт Максимов очень хорошо говорил о том, что военная тема породила в молодой лирике счастливое триединство. Лирическое «я» поэта включало в себя и автора, и героя, и читателя. В этом «тройственном союзе», в этом неразрывном слиянии было преимущество молодой лирики военных лет, при всех ее недостатках.

Следовательно, все дело в том, чтобы сохранить это единство, дорожить им, не посматривать на своего героя со стороны, не отдаляться от читателя, а проникнуться его послевоенным бытием. Только такой постоянный контакт дает искру подлинной поэзии. Тем, кто и сейчас, в мирной жизни, находится «на передовой», кто и сейчас чувствует себя поэтом переднего края, —

не приходится заново учиться ходить, маскируя свое неумение декларативными призывами и прозаической риторикой. Лучше других это доказал Луконин.

Успех поэмы Недогонова «Флаг над сельсоветом» тоже весьма поучителен. Эпический герой вовсе не разобшил поэта с читателем, а в данном случае, пожалуй, еще больше их сблизил. Значит существуют и такие возможности. Наконец, появляются и совсем молодые поэты, которые ощутили свою принадлежность к самому главному в нашей послевоенной жизни, не успев побывать на фронте. Они еще молодые, но и после победы они почувствовали себя в строю. Об этом говорят, например, многообещающие стихи Тряпкина. Однако это уже тема для специального разговора.

Совсем не обязательно призывать Межирова или Гудзенко надеть спецодежду и взяться за молоток. Нет, пусть ходят в костюмах и держат в руке перо. Не военная гимнастерка помогла им стать поэтами, а тот благородный порыв, который они разделяли на войне со всем народом, причастность их к общим помыслам и целям.

А что касается того, что «на гражданке» они почувствовали себя непривычно. то что ж, «поэзия — вся! — езда в незнаемое», как говорил Маяковский. Таков маршрут и лирики. Этот маршрут приведет молодых поэтов к их следующим книгам. Но для того, чтобы открыть «незнаемое», им надо многое осознать. Иначе они будут в вечном и неоплатном долгу и перед своей суровой биографией и перед своим поколением.



# ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА

Г. ЛЕНОБЛЬ

★

**З**а тридцать лет существования советской литературы исторический роман занял в ней выдающееся место. Всем памятна статья А. М. Горького «О литературе», опубликованная впервые в 1930 году. Горький подчеркивал в этой статье, что у нас исподволь создан «подлинный и высокохудожественный исторический роман», с которым ни в какое сравнение не могут идти «слащавые, лубочные сочинения Загоскина, Масальского, Лажечникова, А. К. Толстого, Всеволода Соловьева» и других. Небезынтересно отметить, что еще раньше, в 1926 году, когда советский исторический роман только зарождался, Алексей Максимович указывал в одном частном письме: «Исторического романа, в подлинном смысле: этого понятия, у нас еще не было, и вот он является как раз во-время. Это — замечательно. Не помню, писал ли Вам, что очень хвалю книгу Тынянова «Кюхля» и в совершенном восторге от «Разина» Чапыгина?.. Я, — добавлял Алексей Максимович, — от любви к литературе, склонен иногда к преувеличениям, что и естественно для влюбленного»<sup>1</sup>.

Эти горьковские замечания, при всей их краткости, имеют чрезвычайно большое значение. Они тем более примечательны, что в то время, когда Горький высказывал их, действительно ценных исторических романов в советской литературе насчитывалось сравнительно немного: так, в статье «О литературе» названо всего лишь пять художественно-исторических произведений. Но великого писателя интересовала не только и даже не столько конкретная оценка отдельных вещей, сколько общая характеристика оформлявшегося на его глазах лите-

ратурного явления, значительность которого он исключительно точно предугадал.

В последующие годы еще определеннее выявился новаторский характер советского исторического романа. Мы сейчас вправе говорить о советском историческом романе (и советской исторической пьесе, развивающейся в том же направлении, что и роман), как о новом слове в литературе, — идейная и художественная самобытность лучших книг советских писателей на исторические темы, несомненно, отчетливо ощущается любым внимательным читателем. Советская художественно-историческая литература опирается на богатейшее наследие классического исторического романа и, в первую очередь, на достижения русской классики, создавшей такие гениальные произведения, как «Капитанская дочка», «Тарас Бульба» и «Война и мир». Но вместе с тем наша художественно-историческая литература идет по своему особому, самостоятельному пути, обращаясь зачастую к иным проблемам, чем это делали классики, и по-иному их разрешая. Основным ее методом является метод социалистического реализма — метод, которым руководствуется вся наша литература, все наше искусство.

Но вполне законно может быть поставлен вопрос, что значит руководствоваться методом социалистического реализма при изображении исторического прошлого? В самых общих чертах это значит — рассматривать историческую действительность с той высотой, на которую нас подняла социалистическая революция. Перед любым художником, работающим над исторической тематикой, — если только он настоящий художник, а не антиквар от искусства, — всегда со всей остротой стоит проблема соотношения прошлого и настоящего, истории и современности. Однако лишь в советском историческом романе, лишь в советской историче-

<sup>1</sup> Письмо к О. Д. Форш от 27 сентября 1926, «Звезда», № 6 1941.

ской драматургии прошлое соотнесено с социалистическим настоящим, а это позволяет нашим писателям по-новому осветить весь исторический путь, пройденный человечеством, позволяет увидеть историческую перспективу развития с такой ясностью, которая безусловно была недоступна писателям XIX века.

В чем же выражается историческая перспективность, свойственная советской художественно-исторической литературе?

Мне кажется, здесь должны быть отмечены два важнейших момента.

Во-первых, наш исторический роман и историческая пьеса раскрывают в живых образах преемственную связь между прошлым и настоящим великого русского народа: они показывают, как в борьбе с «собственными» угнетателями и иноземными захватчиками вырабатывались народом его освободительные и революционные традиции.

Во-вторых, наш исторический роман и историческая пьеса дают понять и почувствовать, какое огромное расстояние разделяет прошлое и настоящее, каким поворотным пунктом явилась в истории человечества Великая Октябрьская социалистическая революция, уничтожившая в нашей стране эксплуататорский строй и положившая начало новой эре в жизни народов — эре социализма.

Эти два момента теснейшим образом друг с другом связаны, и в лучших произведениях нашей художественно-исторической литературы они выступают слитно и нераздельно.

Но отсюда следует, что требование исторической правды, впервые прозвучавшее еще у классиков, приобретает в советской литературе значение, какого оно не имело и не могло иметь раньше. Отсюда следует, что наши писатели должны в своих оценках исторического прошлого стоять на высоте современной марксистско-ленинской науки. Им должны быть чужды, с одной стороны, модернизация и идеализация прошлого, наделение людей прошлого такими свойствами и качествами, которые возможны лишь в нашу эпоху. С другой стороны, им должен быть чужд и исторический нигилизм, пренебрежительное или отрицательное отношение к историческому прошлому на том лишь основании, что в наши

дни ходом общественного развития выдвинуты новые исторические требования.

Воспроизведение исторической действительности во всей ее сложности и противоречивости, во всей ее жизненной яркости — вот задача, которую ставят перед собой советские писатели и в осуществлении которой они имеют большие, неоспоримые успехи. Наша литература с гордостью может указать на такие свои художественные открытия, как новая трактовка образов выдающихся деятелей истории и новые принципы изображения народных масс и их места в историческом процессе. Известно, что классический исторический роман выводил, как правило, в качестве главных своих героев рядовых свидетелей и участников исторических событий, тогда как крупные исторические личности появлялись в нем обычно лишь эпизодически и нередко раскрывались только в той мере, в какой это необходимо было, чтобы показать их влияние на судьбы основных действующих лиц произведения. Классический исторический роман сознательно в этом отношении себя ограничивал, что было подмечено еще Белинским в его замечательной работе «Разделение поэзии на роды и виды». Для советской художественно-исторической литературы характерно изображение выдающихся деятелей истории «крупным планом», во всем многообразии их связей с исторической действительностью. Мы видим этих деятелей в наших исторических романах и пьесах в самые решающие моменты истории, во всей полноте их умственных и нравственных сил, преследующими не только личные свои, но и общие цели — партий, классов и государств. Советский исторический роман и пьеса делают ударение на той исторической инициативе, которую проявил великий человек, на том историческом подвиге, который он совершил. Оставаясь верными исторической и художественной правде, советские писатели при этом не наделяют своих исторических героев чертами надклассовости, — напротив, они рисуют их людьми своего времени и своего класса, показывая как сильные, так и слабые их стороны, вскрывая их неизбежную социальную и историческую ограниченность. Такой показ выдающихся исторических деятелей органически соединяется в нашей литературе с показом самостоятельной роли народных масс в историческом процессе, с изображением

народа, как творца истории. Сталинское положение — «не герои делают историю, а история делает героев, следовательно, — не герои создают народ, а народ создает героев и двигает вперед историю» — находит в советском историческом романе и исторической драматургии свою художественную реализацию.

Таковы, в немногих словах, творческие установки советской художественно-исторической литературы, позволяющие ей создавать высокохудожественные, идейно-насыщенные произведения, произведения, познавательная ценность которых неотделима от их воспитательного значения. Установки эти с большим или меньшим совершенством воплощены в таких романах, повестях и пьесах, как «Петр I» и «Иван Грозный» А. Н. Толстого, как «Разин Степан» и «Гулящие люди» А. Чапыгина, «Кюхля» и «Пушкин» Ю. Тынянова, «Дмитрий Донской» С. Бородина, «Емельян Пугачев» В. Шишкова, «Чингиз-хан» и «Батый» В. Яна, «Багратион» С. Голубова, «Севастопольская страда» С. Сергеева-Ценского, «Цусима» А. Новикова-Прибоя, «Порт-Артур» А. Степанова, «Ярослав Мудрый» И. Кочерги, «Великий Моурави» А. Антоновской, «Навои» Айбека и некоторые другие. Понятно, далеко не все из перечисленных книг свободны от тех или иных частных недостатков, не все одинаковы по художественному уровню, но в целом они дают верную, выразительную картину исторического прошлого и, в особенности, исторического прошлого нашего многонационального Союза. Это прошлое, естественно, находится в центре творческого внимания советских исторических романистов и драматургов.

Однако, говоря об исторической теме в современной художественной литературе, нельзя останавливаться лишь на успехах, которые у нас в этой области имеются. Наряду с превосходными, первоклассными произведениями на исторические темы за последние годы появилось немало произведений слабых, посредственных, искажающих историческую правду, неправильно трактующих коренные проблемы исторического развития нашей Родины. В известных решениях ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искусства и в докладе А. А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» вскрыты и осуждены крупные недостатки, серьезные ошибки и извращения, которые были допу-

щены многими писателями, обращавшимися к исторической тематике.

Партия указала нам на истоки этих недостатков и извращений, разоблачила их природу, их сущность. Одна из очередных задач литературной критики — пересмотреть сейчас ряд художественно-исторических (якобы художественных и якобы исторических!) произведений последнего времени с тем, чтобы выяснить, что же в этих произведениях предлагалось читателю, как освещалось в них историческое прошлое, какие взгляды на историю нашего народа пропагандировали их авторы. Конкретный разбор подобных сочинений и ошибок в них содержащихся безусловно необходим как самим писателям, так и читателям, которых иные исторические романы и пьесы могут только дезориентировать.

Об этом и пойдет у нас в дальнейшем речь. Но прежде — несколько слов о том неправильном подходе к исторической теме, который наблюдается (или, во всяком случае, наблюдался до сих пор) у некоторой части наших литераторов. Если разобраться, история для этих литераторов, по сути дела, является самоцелью. Они усердно ищут — такое впечатление, по крайней мере, производят их книги, — о ком бы еще из исторических деятелей можно было написать, кто до сих пор остался незатронутым, неиспользованным в литературе. Но для художника-гражданина, искренне и страстно живущего всеми интересами своего времени, самоцелью история служить не может, ибо прошлое он стремится познать для того, чтобы яснее постичь и осмыслить настоящее и ответить тем самым на насущные духовные запросы сегодняшнего дня. Белинский писал, что без «могучего субъективного побуждения, имеющего свое начало в преобладающей думе эпохи» художественное произведение мертво. Если нет такого «могучего субъективного побуждения» у советского писателя, интерес его к истории может означать лишь одно (безразлично, осознает ли он это или не осознает): стремление уклониться от работы над большими и ответственными темами современности.

А. А. Жданов в своем докладе поставил в связь «удаление от современной советской тематики» и «одностороннее увлечение исторической тематикой». Односторонностью эта чаще всего является следствием нетворческого отношения к своему пи-

сательскому делу, подмены идейных побуждений, диктующих писателю выбор той или иной темы, соображениями литературного ремесла или литературной моды.

Поверхностная беллетризация архивных документов или мемуарных записей (чем частенько довольствуются невзыскательные литераторы) не может заменить собой глубокого проникновения в прошлое, а такое проникновение требует не только таланта, но и знаний и цельного исторического мировоззрения. Художественно-историческая литература всегда развивалась в тесном единении с исторической наукой своего времени, причем порой в тех или иных отношениях литература даже опережала науку. Советские писатели в своем художественном исследовании исторической действительности, в своих поисках исторической правды имеют такой надежный научный компас, как современная марксистско-ленинская историческая наука, учение Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина о законах развития общества. И именно потому, что писатели наши руководствуются единственно правильным научным представлением о сущности исторического процесса, выработанным марксизмом-ленинизмом, они и смогли поставить перед собой задачу — показать этот процесс во всей его целостности и многогранности. Об этом решающем условии плодотворной работы наших исторических романистов и драматургов уже говорилось выше.

Однако авторы некоторых произведений последних лет на исторические темы забывают основные положения марксизма-ленинизма или же ошибочно, вульгаризаторски их толкуют. Марксистско-ленинский взгляд на историю, на историческое прошлое, на связь между прошлым и настоящим подменен у авторов этих произведений всевозможными доморощенными теориями, ничего общего с подлинной наукой не имеющими. В постановлении ЦК партии о кинематографии были сказаны суровые, но справедливые слова о невежестве в вопросах истории, отличающем отдельных работников кино. К сожалению, и в литературе подобное невежество—явление не столь уж редкое. В этом именно, в пренебрежении исторической правдой, в уклонении от марксистско-ленинской трактовки важнейших исторических проблем, и заключается ос-

новная причина тех ошибок и извращений, с которыми приходится иметь дело в художественно-исторической литературе.

## II

Патриотические деяния и патриотические чувства русских людей, на всем протяжении многовековой истории русского государства, в произведениях наших исторических писателей занимают ведущее, центральное место. Особенно большое значение патриотическая тема в советском историческом романе и эссе приобрела в дни Великой Отечественной войны. Славными традициями своих великих предков вдохновлялись советские воины, сражавшиеся с самым страшным и озверелым врагом, какого когда-либо знали народы СССР. «В эту войну, — писал в 1942 году А. Н. Толстой, — наш взор часто обращается к истории нашего народа...» В самый трудный и опасный период войны, когда гитлеровцы рвались к жизненным центрам нашей Родины, мысль советских людей неоднократно возвращалась к урокам истории, к испытаниям, перенесенным страной в прошлом, к условиям, в которых начала создаваться воспетая А. Н. Толстым «дивная сила исторического сопротивления русского народа». В лучших художественно-исторических произведениях военного времени эти уроки истории выражены ярко и рельефно.

В «Батые» В. Яна, в «Иване Грозном» и третьем томе «Петра I» А. Н. Толстого, в «Багратионе» С. Голубова правдиво обрисована конкретная историческая обстановка, в которой русским людям пришлось бороться за свою землю, показаны истоки их патриотических устремлений и чувств в отдаленные от нас исторические эпохи, раскрыто и то, что усиливало, и то, что ослабляло старую Россию в войнах, которые она вела против своих внешних врагов.

Однако — и здесь я перехожу к тому, что главным образом интересует нас в этой статье, — многие писатели, изображая патриотизм русских людей в прошлом, нередко создавали о нем самое превратное представление. Патриотизм оказывался у них, по сути дела, вневременной, внеисторической категорией. Писатели эти забывали, что патриотизм отнюдь не есть нечто раз и навсегда данное—патриотизм явление исторически развивающееся, которое в различные

времена у представителей различных классов проявляется по-разному.

Что получалось в результате такого вне-исторического понимания патриотизма — можно увидеть в частности на примере книги Всеволода Иванова «На Бородинском поле». Вышла она еще в 1944 году, но так как критика в свое время прошла мимо ее существеннейших недостатков, то остановиться на ней будет нелишне.

Вс. Иванов включил в эту книгу одну повесть и ряд рассказов, написанных частью на современные, частью на исторические темы. Для данной статьи наибольший интерес представляют два произведения в книге Иванова — рассказ «При Бородине», переносащий нас в 1812 год, и повесть «На Бородинском поле», описывающая события 1941—1942 годов.

Оба эти произведения, согласно замыслу автора, должны восприниматься, как неразрывно между собой связанные. Параллелизм их подчеркнут не только общностью места действия, но и тем, что в обеих вещах выступают персонажи с одной и той же фамилией Карьины — надо думать, предки и потомки. Кроме того, очевидно для лучшей «увязки» с прошлым, советскому подполковнику, командиру полка присвоена «княжеская» фамилия Хованский, хотя он совсем не княжеского рода: «дед, сказывают, из дворовых».

Смысл всех этих натяжек отчетливо обнажается в сцене, рисующей сонные мечтания старшего лейтенанта Марка Карьины, которому «захотелось побаловать себя (!? — Г. Л.), вспоминая о Бородинском поле...»: «Из-за угла дома он слышит приглушенные голоса. Шофера о чем-то спрашивают... Три мужика, волосатых, страшных, запылевших, в лаптях и рваных полушубках, рваных валенках, держа вилы наперевес, ведут пленных немцев. «Десант, что ли, переловили? — думает Марк, здороваясь с мужиками. — Откуда тут быть пленным? Фронт дальше». Он спрашивает мужиков. Они раскрывают большие крестьянские рты и замерзшими губами, наперебой, начинают что-то кричать. «Подожди, подожди, не путай меня, — говорит Марк мужику постарше: — Говори ты, куда немца ведешь?» — «Немца-то! — кричит обрадованный почтительностью офицера мужик. — Немца-то сдавать, ваше благородие, ведем. Князь Хованский, сказывают, принимает

пленных...». — «Подожди, подожди, — говорит Марк, — какой князь? Откуда вы пленных взяли? Откуда ты ведешь-то? Кто ты такой?» — «Да партизаны мы, ваше благородие. Поручик Иван Карьин забрал их, немца-то, пушкой пугнул и велел вести к князю Хованскому, он, говорит, принимает...» — «Позвольте, позвольте, — волнуется Марк, — но это же я Иван Карьин, и разве Хованский — князь, какой же он князь?!» И смотрит на дорогу. Дома нет. Машины нет. Елка, под которой он сидел, крошечная, еле видна из-под снега, а вместо осинника стоят широкие сосны. «Позвольте, — думает Марк, — как же так, ведь нынче 1942-й год, а не 1812-й».

Вот с какой легкостью объединяются у Вс. Иванова люди и события различных эпох! Сон Марка, понятно, лишь не очень искусная мотивировка того психологического состояния героя повести, когда 1942-й год человек не в состоянии отличить от 1812-го. Но, как это вытекает из повести, на позициях своего героя стоит и сам писатель, считающий, что при всех отличиях — бытовых, социальных и исторических — русских людей прошлого и настоящего, патристическое чувство у них тем не менее одно и то же.

Непонимание социалистической сущности советского патриотизма лежит в основе подобных неверных, ошибочных взглядов, которые рассыпаются в прах при соприкосновении с фактами живой действительности. Подлинная природа современного патриотизма раскрывается в лучших произведениях советской литературы, посвященных Великой Отечественной войне и показывающих новое отношение новых, советских людей к своей, созданной революцией, социалистической Родине.

Когда в повести Б. Горбатова «Алексей Куликов, боец...» трус и предатель Дубяга начинает заговаривать о том, что «Россия Россией и останется... Вот под татарами была, а все Россия», Куликов зло его обрывает: «А мне не всякая Россия нужна... Если хочешь знать, я не на всякую Россию согласен. Мне нужна Россия, чтоб был я в ней, как и раньше, хозяин на своей земле... Советская мне нужна Россия, слышишь? А другой я не хочу, другой и не будет».

Поэтически-проникновенно патристическая гордость советских людей изображена в романе А. Фадеева «Молодая Гвардия».

Вспомните, как говорят перед смертью Шульга и Вальго о советском первородстве нашего человека.

Марксизм-ленинизм учит, что защита отечества изменяет свое содержание в зависимости от того, что стоит «на исторической очереди дня». <sup>1</sup> Нельзя отзлекаться от исторического смысла патриотической деятельности людей прошлого — иначе патриотизм превратится в общее место. Однако в ряде художественно-исторических произведений последнего времени, как раз тогда, когда нужно обрисовать патриотические чувства и порывы людей прошлого, писатели наши нередко ограничиваются общими, трафаретными фразами.

Небезынтересно будет сравнить несколько выдержек:

1. «Великой русской силой полнится земля. Разбросана та сила, но коль ручей собрать в единое русло, какой могучей потечет река!.. Мы идем затем, чтобы никто и мыслить не посмел, что Русь, как несмышленного ребенка, обидеть может всякий!»

2. «Решается ныне судьба русская... Несметна сила русская, крепок дух народа нашего, мужественны и отважны его люди... Выи своей не согнем перед врагом заклетым... Не зная страха, пойдем на битву...»

3. «Величественно звучала торжественная музыка, и Оськину казалось, что она отражает силу и мощь России. Воодушевляющие звуки наполняли сердца гордым сознанием мужества и славы, будили стремление отдать все силы на борьбу с врагом, готовность биться до последней капли крови... Матросы кричали «ура», замолкая, когда оркестр вновь начинал играть. И эти паузы, казалось, были заполнены раздумьем. Это было раздумье сильных перед смелым поступком. Они готовились выйти на бой и принять с одинаковым мужеством как победу, так и славный конец. В звуках музыки они с волнением слышали незримую поступь славы, и от этого росло понимание собственной силы, глубокая вера в победу.»

4. «Мы нашу красоту грабить не позволим... Не кто-нибудь, — Расея! Вон она какая, — просторная.»

Первая цитата взята из пьесы О. Форш и Г. Бояджиева «Князь Владимир», вторая —

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. XIX, стр. 204.

из пьесы О. Литовского и К. Осипова «Александр Невский», третья — из романа А. Сергеева «Варяг» (о русско-японской войне 1904—1905 гг.). Одни и те же выражения, одни и те же риторические штампы бездумно пускаются в ход, идет ли речь о X, XIII или XX веке! Бесспорно, в таких случаях не приходится всерьез говорить о художественной и исторической конкретности изображения патриотизма прошлого. Но обращает на себя внимание ясно сказывающаяся в этих произведениях тенденция — модернизировать старый патриотизм, наделить его такими свойствами и качествами, которые характерны для нашего времени. Что же касается четвертой цитаты, приведенной выше, то она выписана из уже известной нам повести «На Бородинском поле». Эти слова принадлежат красноармейцу, пензенскому или уральскому крестьянину. Стремление «осовременить» патриотические чувства людей прошлого вполне закономерно сочетаются у Вс. Иванова (и не только у него) со стремлением современный советский патриотизм в свою очередь подкрасить под «исконный», стародавний русский патриотизм. Оттого-то Россия в устах бойца Красной Армии заменена старинной дедовской «Расеей».

Но не только в желании «осовременить» старый патриотизм проявляется антиисторизм иных исторических беллетристов и драматургов. В прошлом существовал патриотизм подлинный, патриотизм воинов, сражавшихся за родную землю, патриотизм революционных борцов против самодержавия, и «патриотизм» казенный, «патриотизм», основанный на националистических предрассудках, «патриотизм», который правильнее назвать шовинизмом. И вот нашлись у нас писатели (конечно, единицы!), которые не сумели уловить разницы между настоящим и лжепатриотизмом. Такая постыдная путаница особенно заметна в произведениях, рисующих войны царской России в XX веке.

Можно ли в романе, посвященном первой мировой войне, обойти полным молчанием революционно-пораженческую позицию большевистской партии? Разумеется, нет. Но вот С. Н. Сергеев-Ценский в своем романе «Брусиловский прорыв» ухитрился вообще обойтись без большевиков. И это в то время, когда он очень подробно, подчас при помощи чуть ли не дословных выписок из

мемуарной литературы и оперативных сводок, описывает всевозможные детали военных операций, вовсе не обязательные в его повествовании!

Впрочем, фигура пораженца у него показана, хотя и вскользь, на одной-двух страничках. Как, однако, она дана?—это ведь главное! Генерал Гильчевский, один из самых способных брусловских командиров, знакомясь с присланным в его дивизию пополнением, обращает внимание на рядового с тяжелым, «нелюдимым» взглядом. В ответ на замечание Гильчевского рядовой этот, Мослаков, с винтовкой в руках бросается на генерала. Понятно, Мослакова тут же обезоруживают, арестовывают и под конвоем увозят, очевидно, на расстрел. Сергеев-Ценский не касается вопроса о том, каково происхождение и каков смысл «нелюдимости» Мослакова; он не видит в ней симптома того процесса возмущения и протеста против империалистической войны, который назревал тогда в широчайших народных массах. Поведение Мослакова он оценивает в сущности с той же точки зрения, что и Гильчевский, в результате чего расправа с нежелающим воевать солдатом подается в романе не только как необходимый, но и как оправданный, справедливый акт. Трудно представить себе большую политическую фальшь!

Нельзя правдиво изобразить патриотические чувства людей на войне, не вникая в вопрос о характере войны, не разбираясь в том, кем именно и ради каких целей она ведется. В «Брусилловском прорыве» имеются свои положительные стороны: в ряде эпизодов романа неплохо обрисована полководческая деятельность Брусилова, его борьба против немецкого засилья в верхушке царской армии. Но в целом роман построен на ложной основе: к своему величайшему удивлению мы узнаем из него, что война 1914—1918 годов вовсе не была империалистической и захватнической, а что, напротив, она была со стороны буржуазно-помещичьей России оборонительной и отвечала коренным интересам русского народа. Конечно, эта ничего общего с марксизмом-ленинизмом не имеющая «концепция» преподносится в завуалированном виде, но суть ее от этого не меняется. С нескрываемым сочувствием Сергеев-Ценский рассказывает об оборонческих настроениях главного своего героя из числа вымышлен-

ных персонажей — прапорщика Ливенцева. Раньше Ливенцев подшучивал над войной, «не только над тем, как она велась, но и зачем велась. Теперь ему казались странными даже чужие шутки по поводу целей войны: он твердо знал, что война велась во имя преобразования России, не ошипанной, не обдерганной, не кургузой России, а такой, какую создалась она в силу исторической необходимости». В другом месте тот же герой декларирует: «Чтобы сделать рагу из зайца, нужен заяц, — так говорят французы, — а чтобы сделать революцию в России, нужна прежде всего Россия!» По мнению Сергеева-Ценского, подобные сентенции должны свидетельствовать о высоком патриотизме Ливенцева; в действительности же, мы имеем здесь дело с типичной кадетско-меньшевистской софистикой, назначение которой заключалось в обелении подлинных грязных целей империалистической войны. В каком же виде, при подобном подходе к теме, предстает в романе царизм? Его Сергеев-Ценский в «Брусилловском прорыве» «критикует», но только за то, что он обнаружил в войне с германским блоком свое бессилие.

Сходные мотивы развиваются и в «Варяге» А. Сергеева. В этом произведении также «осуждается» самодержавие. Любопытно, однако, что у Сергеева наиболее жесткие слова для характеристики романовской монархии произнесут... американские, голландские и прочие негодяи, осевшие в Корею. Вместе с тем, русские «патриоты», с одной стороны, скорбят о «слабости власти», сознавая, что они попадают таким образом «чуть ли не в печальники самодержавья», а, с другой—на словах отстраняясь от царизма, в то же время ревностно поддерживают его агрессивную колониаторскую политику.

Не от таких «патриотов» принимаем мы наследство, не о таких «деятелях» говорит советский исторический роман. Произведения вроде «Варяга» не только грубо нарушают историческую правду; они в самом глубоком и самом точном смысле слова непатриотичны.

«Сила советского патриотизма, — учит товарищ Сталин, — состоит в том, что он имеет своей основой не расовые или националистические предрассудки, а глубокую преданность и верность народа своей советской Родине, братское содружество трудя-

шихся всех наций нашей страны. В советском патриотизме гармонически сочетаются национальные традиции народов и общие жизненные интересы всех трудящихся Советского Союза».<sup>1</sup>

Как и вся наша литература, как и все наше искусство, советский исторический роман активно участвует в воспитании миллионов масс читателей в духе советского патриотизма. Он в состоянии осуществить эту благородную задачу, так как показ национальных традиций народов, воспринимаемых советскими людьми от предшествующих поколений, неразделимо слит в нем с выявлением коренной противоположности между советским обществом, уничтожившим всех и всяких эксплуататоров, добившимся морально-политического единства народа, и старой Россией, в которой царил социальный и национальный гнет и которая раздиралась непреодолимыми противоречиями.

Правдиво рисуя прошлое, вскрывая его противоречия, советский исторический роман проявляет свою социалистическую сущность. Тем-то и силен советский исторический роман, что, оставаясь верным исторической и художественной правде, он служит сегодняшнему дню, сегодняшней борьбе, живым потребностям нашей социалистической действительности.

### III

Ошибки и извращения в показе дореволюционного патриотизма тесно связаны с той модернизацией и идеализацией прошлого, которая за последние годы получила в нашей художественно-исторической литературе весьма широкое хождение. У иных писателей все мало-мальски крупные деятели прошлого оказываются одновременно и «прогрессивными», и «народными». При этом, как видно будет из дальнейшего, «прогрессивными» провозглашаются подчас даже такие исторические фигуры, реакционный характер которых не оставляет никакого сомнения. Но и в тех случаях, когда выводятся действительно прогрессивные исторические деятели, забвение их исторически неизбежной классовой огра-

ниченности влечет за собой совершенно неправильное их изображение.

Надо сказать, что находятся и такие писатели, для которых «прогрессивность» и «народность» — это понятия совпадающие. Между тем, в лучших произведениях нашей художественно-исторической литературы чрезвычайно наглядно вскрывается та сложная взаимосвязь, которая существовала в прошлом между прогрессивными историческими деятелями, принадлежавшими к правящим классам, и народными низами современного им общества. Очень поучительна в этом отношении драматическая повесть А. Н. Толстого «Иван Грозный», одно из наивысших достижений советской художественной мысли в годы войны. Остановлюсь на некоторых моментах взаимоотношений царя и народа в этом произведении.

В соответствии с исторической правдой Толстой показывает в своей повести, что «люди» («гости именитые, купцы посадские, и слобожане, и все христианство города Москвы и деревень московских») всецело на стороне царя в его борьбе против князей и бояр. И Грозный чувствует и ценит эту поддержку снизу. Но вместе с тем в повести показано огромное расстояние, отделяющее царя Ивана от народа.

Толстому чужда тенденция преувеличивать демократические черты в образе Грозного. В драматической повести (как и в действительности) Грозный приближает к себе незнатных людей, но даже Василий Грязной, которого он сам посылает в Дикую степь большим воеводой, остается в его глазах «мужиком». Во дворец к нему из «людей» попадают лишь юродивый и скоморохи, — и как стесненно и жалко чувствуют они себя в царских хоромаш!

В бытовом плане Иван А. Н. Толстого далек от народа, общается с ним редко: о настроениях масс царь узнает из иносказаний и намеков путаной речи Василия Блаженного. Но существуют и живо ощущаются Иваном идеологические и эмоциональные связи, соединяющие его — не с народом в современном смысле слова (большое историческое чутье Толстого сказывается, в частности, в том, что Иван в его повести нигде не произносит самого слова «народ»), а с русской державой, «русской землей». Иван проникнут чувством ответственности за свою дер-

<sup>1</sup> И. Сталин. О Великой Отечественной войне советского союза. ОГИЗ, Госполитиздат. 1946, стр. 141—142.

жаву и своих подданных: «Аз есмь единодержатель и ответ держу даже за каждую слезу вдовью». Он верит в русского человека, в его одаренность, в его возможности и силу: «Мы не беднее царя индийского, бог нас талантами не обидел. О нашей славе золотые трубы вострубят на четыре стороны света...»

Подчеркивая эту веру своего героя в русского человека, Толстой, однако, нисколько не модернизирует политическую идеологию Грозного, стремившегося «возвысить царскую власть — по примеру византийскому, примеру императоров римских». Характерно, что Иван в повести Толстого отождествляет себя и государство: «Я есмь — русская земля!», «Некто, повергающий меня в прах, как Давид Голиафа, всю землю русскую повергает. Мне — срам и бесчестие — вся земля русская стыдом закрывает лицо свое...» Особенности эпохи, выдвинувшей в качестве главной исторической задачи разгром феодальной анархии и утверждение централизованной самодержавной власти (другой в тех условиях и быть не могло!), делают такое отождествление и такое самоощущение Ивана не только понятным, но и закономерным. Поэтому, как со всей определенностью покажут Толстым, путь для развития творческих сил русского человека Иван видит только один — путь верных слуг самодержавного государя. Находит он таких слуг прежде всего в служилом дворянстве.

Эти беглые замечания, конечно, далеко не исчерпывают проблемы взаимоотношений царя и народа, как они даны в «Иване Грозном» А. Н. Толстого. Мне хотелось лишь показать, что, рисуя прогрессивную деятельность Грозного и его страстную, ожесточенную борьбу против княжеской и боярской реакции, Толстой отнюдь не ставит знака равенства между «прогрессивностью» и «народностью». Не делает он этого и в другом своем значительнейшем произведении — романе «Петр I». Следует в этой связи указать, что, изображая богатый размах преобразовательной деятельности Петра и патриотические побуждения, им руководившие, Толстой в то же время отчетливо показывает, кому непосредственно шли на пользу реформы Петра и какой дорогой ценой платили за них народные массы. На это обстоятельство необходимо обратить особое внимание, так как

тот общеизвестный факт, что в прошлом прогресс нередко достигался за счет народа, в некоторых произведениях последнего времени попросту затушевывается. В других же произведениях он так толкуется, что классовый смысл действий того или иного исторического лица сводится на-нет, выхолощивается, исчезает.

Возьмем к примеру роман Д. Петрова-Бирюка «Дикое поле», посвященный восстанию Кондратия Булавина.

Два основных героя выведены в «Диком поле» — Булавин и Петр I. И как это ни удивительно, в произведении, темой которого является восстание казаков и крестьян против феодально-крепостнических порядков и против самодержавного петровского государства, — Петр изображается в нем «народным царем».

Петров-Бирюк заставляет Петра говорить казакам: «Хочу я расшевелить разум народный, не для себя хочу, мне немного надо, а для нашей державы, для самого же народа, чтобы на пользу было, чтобы держава наша крепче да сильнее была на страх врагам...» В другом месте Петр говорит своему помощнику П. П. Шафирову: «Сам я, Петрушка, знаю силы свои, верю в них, верю в своих солдат, верю в народ... Но... много злых людишек у нас. Не любят меня, мутят народ... Не понимают того, что Петр ни о себе печется, а о народе своем». Через каждые два слова у Петрова-Бирюка Петр ссылается на народ.

Но такая апелляция к народу, необходимо заметить, отнюдь не была в духе петровского времени. Для характеристики подлинных взглядов Петра можно привести хотя бы знаменитое обращение его к армии перед Полтавской битвой: «Воины, се пришел час, который решит судьбу отечества! Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, врученное Петру... А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только жила бы Россия благополучие, слава и благосостояние ее». Именно государство обладало в глазах Петра той непререкаемой ценностью, во имя которой он готов был пожертвовать жизнью, — государство, а не народ, что далеко не одно и то же.

А затем—и это, разумеется, решающее,— не только в собственном представлении, но и в действительности Петр не был «народным» царем. Товарищ Сталин в беседе с пи-

сателем Эмилом Людвигом указал, на какие классы опирался Петр, и подчеркнул, что «возвышение класса помещиков, содействие нарождавшемуся классу торговцев и укрепление национального государства этих классов» происходило при Петре «за счет крепостного крестьянства, с которого драли три шкуры». История булавинского восстания и его подавления дает немало ярких иллюстраций к этой классической сталинской формуле.

Мы и в самом романе Петрова-Бирюка найдем материал, идущий вразрез с его идеалистической концепцией. Трудно, конечно, писать о Булавине, не касаясь роли Петра в утверждении феодально-крепостнических порядков на Дону (а с этого как раз и началось восстание). Но автор поставил перед собой задачу сгладить, притушить противоречия между Булавиным и Петром. Для этого он сначала усиленно выпячивает то обстоятельство, что Булавин всегда призывал к борьбе против бояр, а не против царя. Здесь явный расчет на плохую осведомленность читателя, который может и не знать, что не только Булавин, но и Болотников, и Разин, и Пугачев, и вообще все вожди крестьянских движений в старой России были, как указывал И. В. Сталин, царистами: они выступали против помещиков, но за «хорошего царя». А в конце романа, по воле автора, Булавин мучительно задумывается над тем, прав ли он был, подняв меч против Петра. Придя к выводу, что «правда» на стороне царя, он решает с ним помириться. Любопытно, что к такому решению у Петрова-Бирюка Булавин приходит... накануне своего самоубийства. Что и говорить, предсудительное! Все это, разумеется, грубая фальсификация исторических фактов. А смысл этой фальсификации по сути дела заключается в осуждении крестьянской борьбы против крепостничества.

Ясно, что Петров-Бирюк в своем романе заблудился даже не в трех, а в двух соснах. Он не сумел совместить прогрессивность петровских преобразований с прогрессивностью булавинского восстания, правду Петра и правду Булавина. «Выход» он нашел в том, чтобы, повторяя зады буржуазно-дворянской историографии, принизить значение борьбы Булавина. Но противоречие между Петром и Булавиным—это живое, реальное противоречие, и смазывать его советскому литератору не к лицу. Петровские

реформы имели своей целью европеизацию России; что же касается булавинского движения, то оно направлено было против основ крепостнического строя, который не ослаблялся, а укреплялся реформами Петра. Движение это—чего не понял Петров-Бирюк—один из этапов той революции крепостных крестьян, которая ликвидировала крепостников и отменила крепостническую форму эксплуатации. Но не поняв этого, автор неминуемо должен был притти в конце концов к прямому отрицанию роли народа, как творца истории. Так историческая апологетика в отношении Петра обернулась в «Диком поле» историческим нигилизмом по отношению к борющимся народным массам.

У Петрова-Бирюка в идеализированном виде выведен Петр, один из крупнейших прогрессивных деятелей старой России. В романе М. Яхонтовой «Корабли выходят в море» идеализируются уже Екатерина II и Потемкин.

В этом произведении следует различать две стороны. Интересно задуман писательницей образ главного героя романа, великого русского флотоводца адмирала Ушакова. Неплохо показаны его новаторство, «простой смысл» его успехов, победы, которые он неизменно одерживал над турецким флотом, хотя противник всегда имел численный перевес—в два, три, а то и в четыре раза. Но тем ошутительнее те извращения, которые допущены в романе при изображении Екатерины и Потемкина.

«Люди неохотно идут на лишения ради общего блага,—говорит у Яхонтовой Екатерина,—но повести их на это и есть задача власти. Ибо она есть подлинное единство и разум».

«Радуюсь за наше могущество, за нашу славу,—воскликает двумя страницами раньше императрица,—и вижу, что история по справедливому оценит наши дела». «Верно, матушка, верно,—отвечает на это в романе Потемкин.—Дела наши не пропадут в истории».<sup>1</sup>

Словоизлияния Екатерины и Потемкина в книге Яхонтовой соответствуют, по мнению ее автора, действительному положению вещей. Впрочем, относительно Екатерины писательница еще допускает кое-какие оговорки. Зато личность и деятельность екатерининского фаворита превозносятся ею безо-

<sup>1</sup> Цитирую по изданию Военмориздата (1945).

говорячно. Читатель с удивлением убеждается, что для автора светлейший князь Потемкин точно такой же передовой человек, как и сам Ушаков. Суровая сосредоточенность Ушакова и не вмещающееся ни в какие рамки жизнелюбие Потемкина предстают перед нами в изображении Яхонтовой как два различных, но равноценных проявления русского национального характера.

Искреннее восхищение писательницы вызывают неукротимая энергия Потемкина, широта его начинаний, решительность, с какой он преступал всевозможные условности. Это восхищение ее своим героем столь велико, что реальное, классовое содержание его деятельности пропадает, стусеивается.

В своей аполгии Потемкина Яхонтова не останавливается перед искажением общезвестных фактов: так, Потемкин и Суворов у нее—друзья. А в конце романа, в связи со смертью светлейшего, ученый чудак Непенин, философ радищевской складки, говорит с Ушаковым о великой цепи, соединяющей поколения: «Мы все стоим в этой цепи — и ты, и я, и он...» Странно, конечно, когда такое отношение к Потемкину приписывается поклоннику свободолюбивых идей «просвещенного века».

Потемкин был руководителем реакционного крепостнического государства. Это в нем основное—и это основное зачеркивает своим романом Яхонтова, замечая лишь работу Потемкина по созданию черноморского флота. Любопытная получается картина: руководители екатерининского государства прославляются за свой государственный разум и свою «прогрессивность», а в реакционности дворянской России (которую Яхонтова не отрицает) повинными оказываются только персонажи второго плана, вроде графа Войновича или Мордвинова.

Лишь превратив понятие исторического прогресса в бессодержательную абстракцию, можно так трактовать историческое прошлое, как это сделано в произведениях Петрова-Бирюка и Яхонтовой. Лишь позабыв об основных положениях исторического материализма, можно провозглашать тождественность интересов государства Романовых и народа. Нетрудно понять, что толкнуло некоторых наших писателей на путь подкрашивания исторической действительности: это антинаучная методология истории, как «политики, опрокинутой в прошлое», мето-

дологии М. Н. Покровского и его «школь», но только взятая с обратным знаком. Однако, как и следовало ожидать, из писателей, пугающихся исторической правды и видящих верх мудрости в рискованных аналогиях между прошлым и настоящим, и политики получают более чем сомнительные.

К таким неудачным «политикам» нужно причислить и Л. Рубинштейна, автора повести «Адмирал Сенявин». Не буду разбирать это произведение в целом, а возьму лишь один из последних его разделов, озаглавленный «Флаг не был спущен». В нем описывается финал военных действий, которые Сенявин проводил в течение 1806—1807 годов против наполеоновской Франции и присоединившейся к ней Турции.

Заключив с Наполеоном Тильзитский мир, Александр I приказал Сенявину не только прекратить борьбу против французов, но и «неукоснительно» следовать «всем предписаниям, какие от его величества Наполеона посылаемы вам будут...» От выполнения этого приказа Сенявин, предвидевший скорый разрыв с французами, уклонился; укрывшись со своими кораблями в Лиссабонской гавани, он сперва соблюдал строжайший нейтралитет, но потом вынужден был согласиться на интернирование его эскадры англичанами под условием, что «флаг на корабле вице-адмирала и на других кораблях не будет спущен, покуда не оставит первого вице-адмирал, а других—их капитаны с должными, им следуемыми почестями».

Таковы исторические факты. А интерпретация их в повести сводится к тому, что Сенявин не хочет «итти с англичанами воевать!»

Переговоры Сенявина с английским адмиралом Коттоном изображаются автором, как дружеская беседа двух единомышленников, «братьев-моряков». Всячески подчеркиваются Рубинштейном предупредительность Коттона по отношению к Сенявину, подлинно-джентльменское его поведение. Невозможно догадаться по изложению Рубинштейна, что договор с Коттоном на самом деле явился большой дипломатической победой Сенявина.

Ни словом не обмолвился писатель о том, что произошло после подписания договора. А произошло следующее: британский военный министр Мульграу от имени короля дезавуировал Коттона и приказал русской

эскадре флаги спустить. Сопrotивляться: Сенявин, конечно, не мог, но решил, по морскому обычаю, спустить свой флаг в полночь, а не днем, как требовали англичане. Чувством собственного достоинства проникнут был ответ русского адмирала английскому министру: «Ежели... ваше превосходительство имеете право мне угрожать, то, нарушив этим святость договора, вынуждаете меня сказать вам, что я здесь еще не пленник, никому не сдавался, не сдамся и теперь, флаг мой не спущу днем и не отдам его, как только с моей жизнью».

Как видите, изображая в идиллическом свете отношения Сенявина и англичан и уверяя читателя, будто «флаг не был спущен», автор, попросту говоря, подтасовал факты. Различие между ним и другими авторами, упомянутыми в этой статье, состоит лишь в том, что последние идеализировали деятели отечественной истории, тогда как Губинштейн решил заняться прикрашиванием британских деятелей. Ради этого он пошел даже на то, чтобы принизить образ выдающегося русского патриота.

#### IV

Модернизация и идеализация прошлого проявлялись в последние годы не только в русской литературе; это явление имело место и в литературах других народов нашей страны. Я хотел бы в этой статье остановиться лишь на двух примерах, которые представляются мне достаточно показательными.

Во время войны узбекский поэт М. Шейхзаде написал историческую драму «Джелал-эд-Дин Мангуберди», в которой выведен сын последнего хорезм-шаха Мухаммеда, властителя Хорезма, одного из сильнейших мусульманских государств начала XIII века, рухнувшего под ударами орд Чингиз-хана. Джелал-эд-Дин — колоритная историческая фигура. В отличие от своего отца и большинства хорезмских феодалов, он настойчиво боролся с монголами, показывая при этом «чудеса храбрости»<sup>1</sup>. Борьба эта и изображается Шейхзаде, который придает Джелалу черты идеального народного героя, мечтающего лишь о «служении родине». Джелал-эд-Дин произносит в пьесе слова, которые, по замыслу автора, должны, оче-

видно, ассоциироваться с войной советского народа против гитлеровской Германии:

С неба ли, из воды ли или из-под земли,  
 Может быть, из лопа пустыни, с под  
 ножья горы,  
 Когда-нибудь я появлюсь на моей ро-  
 дине, на этой земле, —  
 Кто прогонит с родины врага, это я и  
 есть!

Цитированные строки дают отчетливое представление о том апологетическом плане, в котором поэт стремится раскрыть образ своего героя.

То, что персонажи Шейхзаде — в XIII веке! — все время говорят о «родине» и «народе», и говорят о них на современный лад, само по себе свидетельствует о явной модернизации прошлого. Ошибка, повторяющаяся не у одного Шейхзаде. Но дело не только в этом. Дело прежде всего в том, что Джелал выступал против Чингиз-хана не как народный вождь, а как феодальный полководец, как представитель воинствующего мусульманства. Свою сущность феодального завоевателя Джелал-эд-Дина особенно ярко проявил во время своего похода на Грузию (этот период его деятельности в драме Шейхзаде, понятно, совершенно не затронут). Известно, что жестокость и произвол хорезмийцев восстановили против них даже тбилисских мусульман, которые первоначально помогли «великому тюркскому орлу» Джелал-эд-Дину овладеть городом. Грабительский поход в Грузию, а затем Армению, и с точки зрения борьбы против монголов являлся серьезной ошибкой, — в этом походе, как отмечал Маркс, «гибнут к выгоде для монголов главные силы магометан в Азии»<sup>1</sup>.

Почему же умолчал обо всем этом Шейхзаде, поэт большого, незаурядного дарования? Ему следовало бы показать Джелал-эд-Дина, раз он уже взялся за его изображение, конкретно-исторически, как человека своего времени и своего класса. Такой показ, разумеется, не повлек бы за собой ни отрицания положительного значения борьбы Джелала против монголов, ни отрицания его выдающегося мужества и военного таланта. Вместо этого Шейхзаде предпочел нарисовать бесплотно-идеализированную фигуру, загримировав последнего

<sup>1</sup> Выражение К. Маркса в «Хронологических выписках» — «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», том V, стр. 221.

<sup>1</sup> «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», том V, стр. 222.

спрыска династии хорезм-шахов под вождем народа.

Вовиющая фальсификация исторических фактов допущена в пьесе башкирского драматурга М. Бурунгулова «Идукай и Мурадым».

В прологе этой пьесы старик Хобрау поучает Идукая, восстающего против могущественной Золотой Орды: «Иди в ханский дворец, проникни в него, захвати войска хана в свои руки. Вот тебе меч, — потом руби Орду насмерть». Идукай становится военачальником хана Туктамыша. Однако он не превращается в слугу хана, — напротив, пользуясь своей властью, он вешает ханских баскаков, назначает своих батыров начальниками сотен, старается оставить хана и без народа и без войска. Бурунгулов всемерно превозносит Идукая, гордо заявляющего в пьесе своему сыну Мурадыму: «Идукай, вставший на борьбу против хана, видя кровавые слезы народа и целую землю, давший клятву, не продается хану». После того, как Туктамыш, разгневанный своеволием Идукая, устраняет его с поста военачальника, между ними вспыхивает открытая вражда. Автор вводит в свою пьесу эпизод, в котором посланец Дмитрия Донского Василий предлагает, чтобы башкиры и русские вместе выступили против Золотой Орды. Китай (готовый изменить Идукая) отказывается сражаться рядом с немусульманами. Но Мурадым рад помощи русских. «Передай Донскому, — обращается он к Василию, — что все будет сделано, как он говорит». В финале пьесы Идукай умирает на поле битвы. Он счастлив тем, что «порублен корень Золотой Орды». Сыну Туктамыша Кадирберди он бросает в лицо: «Не гордись! У тебя осталась лишь горсть баскаков. Нет у тебя народа, чтобы восстановить Орду, нет у тебя силы, чтобы поработить Москву!»

Исторические факты в пьесе «Идукай и Мурадым» грубо искажены. На самом деле Идукай (иначе Идегей, Едигей, Едыга), являвшийся в конце XIV и начале XV веков полновластным хозяином в Золотой Орде, ничем не отличался от других ее правителей. С Туктамышем (точнее, Тохтамышем) исторический Идукай боролся из чисто личных, корыстных соображений. Стремился он не к разрушению Золотой Орды, а к ее укреплению. В своих отношениях к Руси он продолжал политику Мамай и Тох-

тамыша, добиваясь восстановления татаро-монгольского ига. Для этого он в 1408 году предпринял поход на Москву. Взять ее ему не удалось, но ряд русских городов он разорил и опустошил.

Лишь находясь в плену националистических представлений о прошлом, можно подобному угнетателю народа возвеличивать в качестве народного героя. Это — недопустимая для советского литератора слепота. Свою пьесу Бурунгулов написал по мотивам эпоса, известного в различных вариантах не только башкирам, но и татарам, и казахам, и некоторым другим народам. Однако он не сумел критически подойти к этому эпосу, не понял его ханско-феодалного характера. Нелепыми измышлениями о союзе, намечавшемся якобы между Дмитрием Донским и сыном Идукая, автор попытался было придать своему произведению более благопристойный вид. Ясно, что такие выдумки способны лишь дезориентировать башкирского читателя и зрителя и преуменьшить в его глазах действительную роль Руси и Дмитрия Донского в борьбе против Золотой Орды. Объективный политический смысл такого рода сочинений совершенно очевиден.

В своем докладе на последнем пленуме правления Союза советских писателей А. А. Фадеев справедливо указывал, что «у советского патриотизма нет большего врага и противника, чем пережитки, предразсудки буржуазного национализма». Именно в историческом жанре в отдельных литературе народов СССР пережитки эти сказались с наибольшей силой. Исключительно важное значение поэтому приобретают художественно-исторические произведения, в которых правдиво рисуются взаимоотношения, существовавшие в прошлом между различными народами, входящими ныне в великий Советский Союз, и показывается, какова же в действительности была та роль, которую русский народ, его революционное движение, его культура имели для всех остальных народов нашей страны. В числе таких произведений, воспитывающих читателей в духе советского патриотизма и сталинской дружбы народов, должны быть названы «Песнь о Давиде Гурамишвили» грузинского поэта С. Чиковани, роман «Абай» казахского писателя М. Ауэзова, повесть «Петербургская осень» украинского писателя А. Ильченко.

## V

Возможно, мне будет сделан упрек: «Почему вы говорите все время только об исторических ошибках, допускаемых писателями, почему вы так мало останавливаетесь на художественной стороне их произведений?» Такой упрек, на мой взгляд, не был бы правильным. Дело в том-то и заключается, что установки, охарактеризованные в предыдущих главах, лишают писателя возможности выявить подлинное историческое своеобразие описываемых им событий и людей. Будучи ошибочными и ложными в историческом и политическом отношении, установки эти в то же время и с эстетической точки зрения оказываются несостоятельными, так как противоречат основным принципам искусства, требованиям художественной конкретности, требованиям реализма.

Это и понятно. Идеализация прошлого неизбежно ведет к его обезличиванию, к тому, что всем историческим героям приписываются одинаковые мысли и чувства, однотипные побуждения и устремления, один и тот же язык. Внутренний мир героев сужается и обедняется, и поэтому в самые напряженные и ответственные моменты они прибегают к риторическим штампам, к общим цветистым фразам, образцы которых я уже приводил.

Далее, идеализация деятелей прошлого сказывается нередко в том, что их наделяют всевозможными прописными добродетелями. Вместо того, чтобы показать резко очерченные характеры сильных, волевых людей, сыгравших выдающуюся роль на исторической арене, писатели принимают наводить на этих людей, стоявших у руля событий, «хрестоматийный глянец».

Вернемся вновь в этой связи к «Дикому полю» Д. Петрова-Бирюка.

Петров-Бирюк знает казачество и умеет неплохо его изображать. Об этом его умении можно судить, в частности, по некоторым второстепенным персонажам «Дикого поля». Но в наброске Кондратия Булавина автор эту сильную свою сторону использовать не смог. В самом деле, вспомните ситуацию романа. Между Булавиным и Петром идет борьба не на жизнь, а на смерть, борьба, от исхода которой зависит не только личная судьба вождя восстания, но на известный срок и направление судеб всей страны. Однако у Петрова-Бирюка это не

мешает Булавину преклоняться перед Петром и вполне искренно заявлять: «Я супротив него не шел и никогда не пойду». А накануне своего самоубийства Булавин в романе с сокрушением признается: «Значит, правда царя побеждает... Видно, ошибку я понес...» Что общего тут с подлинным Булавиным, который не только решительно шел «супротив» Петра, но даже угрожал ему отделением Дона от Московского государства («а есть ли царь нас не станет жаловать, как жаловал отцов наших, дедов, прадедов, или станет нам на реке какое утеснение чинить, и мы Войском от него отложимся...»)? Необходимо отметить, что исторически-неправильное изображение позиции Булавина влечет за собой в «Диком поле» также психологическое неправдоподобие образа казачьего вождя, — отсюда тот дух елейности, которым пропитан весь этот образ и который так неприятно поражает читателя романа. Но автор, должно быть, думает, что он таким путем «облагораживает» Булавина.

В свою очередь и отношения Петра к Булавину предстают в романе в довольно странном свете. После разгрома булавинского движения Петр казнит врагов Булавина Зерщикова и Соколова, а остальных участников восстания прощает. О Зерщикове Петр говорит «с омерзением»: «Ехидна!.. Зреть не могу изменника! Ежели ты своих друзей, Луньку Максимова да Кондрашку, предал, то ждать от тебя нечего». А о Соколове, «что по приказанию (азовского) губернатора Ивана Андреевича (Толстого) шпионом был у вора Кондрашки», царь отзываясь: «Такой же подлец, как и Зерщиков». Таковы, по Петрову-Бирюку, мотивы, по которым Петр казнит этих двух предателей. Петр, как видите, неожиданно выступает в роли... мстителя за Булавина. Не знаю, нужно ли подробно доказывать, что не одна лишь историческая, но и художественная правда принесена писателем в жертву наивному морализаторству.

Сусальные, прилизанные герои с их приторной добродетельностью и прочими ангельскими качествами стали настоящим бедствием нашей художественно-исторической литературы — той ее части, разумеется, которая с усердием, достойным лучшего применения, занимается модернизацией и идеализацией прошлого.

В то же время встречаются произведения на исторические темы, в которых уси-

ленно подчеркиваются грубость и примитивность людей прошлого или же — в подражание западной декадентской литературе — натуралистически описываются их сексуальные переживания. Понятно, источник такого подхода к изображению исторических персонажей все тот же — антиисторизм, неумение воспринять и передать исторически обусловленное своеобразие мыслей и чувств наших далеких предков.

Какой разительный контраст между всеми этими мнимо-историческими упражнениями, в какую бы сторону ни извращали они историческую правду, и «подлинным», «высокохудожественным» советским историческим романом, которым так восхищался А. М. Горький! На неизбежное художественное бесплодие обрекают себя писатели, пренебрегающие правдой истории, правдой жизни!

\*\*

Глубокое познание — и образное воспроизведение — исторической действительности входит и не может не входить в советскую художественную литературу как ее неотъемлемая составная часть. Вся обстановка жизни и труда в нашей стране развивает у советского человека склонность к историческому мышлению, обостряя его стремление понять и осмыслить ход истории и возбуждая в нем живой интерес к прошлому и настоящему своей Родины и других государств и народов.

Многое в этом отношении наши писатели сделали, и преуменьшать имеющиеся у них заслуги было бы, разумеется, совершенно неправильно. Но хотя исторический жанр и был последние годы чрезвычайно «модным», нетрудно указать на некоторые значительнейшие темы, мимо которых прошли наши исторические романисты и драматурги.

Назову два «белых пятна» в современной художественно-исторической литературе.

Где у нас романы, повести, пьесы, в которых были бы воссозданы образы великих

революционных демократов? Ни одного более или менее крупного произведения о Белинском, Чернышевском, Добролюбове до сих пор не написано, тогда как всевозможным князьям и ханам посвящены сотни страниц. А между тем, именно великие революционные демократы являются непосредственными предшественниками пролетарского революционного движения и их замечательные традиции живы среди нас.

А. А. Жданов говорил в своем докладе о журналах «Звезда» и «Ленинград», что советским писателям не подобает занимать «пассивно оборонительную позицию» перед лицом буржуазного мира. Относятся ли эти слова и к мастерам художественно-исторической литературы? Несомненно. Но много ли у нас книг о том, как создавался строй хваленной буржуазной демократии, много ли у нас книг об империалистических войнах западных держав, об их колониальных захватах? Произведения эти можно пересчитать по пальцам. Зарубежный реакционный исторический роман поднимает на щит самые отвратительные фигуры прошлого. Так, С. Моэм в качестве «ярого патриота» прославляет... Макиавелли, а А. Мальро, по сообщениям французской печати, избирает своим героем... Лоуренса. Разве советский художник, в противовес буржуазной лжи и обману, не должен показать истинное содержание деятельности «великих людей» капитализма? Роман, скажем, о Мюнхене и его бесчестных «творцах», своей политической умиротворения агрессоров способствовавших развязыванию мировой войны, был бы, бесспорно, весьма актуальным.

В зависимости от общественных условий на разных этапах развития литературы выдвигаются различные проблемы и различные жанры. Но принцип историзма, принцип «правдивого исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии» определяет творчество советских писателей на всех этапах и во всех жанрах, как важнейший, решающий принцип социалистического реализма.



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

## ИНДУСТРИЯ ЛЖИ

(Быт и нравы американской прессы)

Очерк первый

СЕРГЕЙ КОЗЕЛЬСКИЙ

★

### Заговор молчания

**В** начале лета этого года Вашингтон, как всегда, томился в парной духоте. Устало поникли листьями японские вишни, переименованные во время войны в «китайские», но быстро вернувшиеся к прежнему названию после того, как генерал Мак Артур твердой ногой стал в Токио.

На капиголийской горе в немилосердных солнечных лучах накалялся Конгресс США, заключенный в архитектурную оболочку, похожую на огромный сахарный свадебный торт.

По улицам устало спешили размоленные жарой люди. Костюмы, лица, умы обмякали. Воля всецело устремлена к одной цели: дотащиться на распухших ногах до ближайшего «драгстора» (кафе-аптеки) и выпить высокий стакан сельтерской с земляничным мороженым. У всех этих военных, торговцев, чиновников и наезжих из провинции политиканов таяли мозги: от жары, от усталости и от спутавшихся в клубок мыслей о дороговизне жизни, о надвигающемся кризисе, о предстоящих в будущем году переменах в правительственном аппарате и о потенциальной взрывчатости настроений неизменно загадочной массы 80 млн. избирателей, разбросанных по 3,5 тысячи городов с населением в 2.500 человек и больше, и 6 млн. ферм Соединенных Штатов.

Есть от чего таять мозгам, в особенности у политиканов.

Тысяча семьсот ежедневных газет кормят ложью восемьдесят миллионов людей, которым конституция США дала — на бумаге — право руководить судьбой их огромной страны. Ложь сдабривается полуправдой, полуправда разжигается умолчаниями о правде.

Даже такой ультраконсервативный журнал, как «Форчун», давно опубликовал результаты анкеты, которая показала, что 27 процентов читателей не верят прессе и 7 процентов «не знают», честно ли она освещает факты или нет. Возможно, что теперь положение стало еще серьезней.

И политиканы, на раскаленной улице и в искусственно охлажденных номерах гостиниц, думают о том, что будет, когда лживость прессы вылезет наружу, как шило из мешка, и миллионы людей вдруг сообразят, что их систематически обманывали за пять центов в день... Политиканам страшно, а страх порождает жестокость.

Под раскаленным куполом Капитолия томится зал заседаний сената. Идут дебаты по проекту реакционного антирабочего закона Тафта-Хартлея. Этот закон должен лишить 15 млн. организованных рабочих, а с их членами семей всего около 50 млн. людей, почти всех прав, которые ими были завоеваны с тех дней, когда в США зародилось организованное рабочее движение. Сенатор Тафт из Огайо пухлой ручкой, похожей на ручку упитанного католического патера, толкает Америку вспять на десятилетия, мимо реформ Рузвельта, мимо прогрессивного закона Вагнера о труде.

В законе Тафта, между прочим, сказано, что отныне ни один орган печати, существующий не для извлечения прибыли в пользу частного предпринимателя, а для общественного обслуживания какой-нибудь организованной группы граждан, вроде кооператива, профсоюза и т. п., не сможет писать ни слова о политике. Даже в передовых статьях такой орган под страхом суровой кары не сможет высказаться за или против, скажем, того или иного кандидата в президенты США.

Разморенный жарой, безразличный клерк сената, не ведающий ни сочувствия, ни возмущения, монотонным говорком, почти без знаков препинания, читает проект закона Тафта. Это «отходная» тем остаткам свободной печати, которые еще существуют в США. Отныне монопольное право «информировать» десятки миллионов читателей, отравлять их умы ложью и клеветой и затуманивать их умолчанием о правде будет принадлежать, вежливо выражаясь, «коммерческой» прессе уже не на 95, 97, 99 процентов, как это было до сих пор, а на все 100 процентов.

Не красноречиво, но веско и вкрадчиво сенатор Тафт доказывает, что сокращение праз организованнх рабочих неминуюемо приведет к процветанию, восстановлению демократии и полной «свободе личности».

Сотни репортеров сотен газет и трех гигантских телеграфных агентств лихорадочно пишут, утирая тыльной частью руки пот со лба. «Золотые» слова сенатора появятся на первых страницах газет раньше, чем он успеет вернуться домой и переменить взможную от парламентских усилий рубашку. Шуршат страницы блокнотов, спешат и ломаются отточенные карандаши.

И вдруг вся газетная братия обмякает. Карандаши возвращаются в карманы, блокноты небрежно захлопываются. Сотни пар глаз устало устремляются в купол над залом.

На трибуну сената поднимается сенатор Клод Пеппер, демократ из Флориды. Он будет громить проект закона Тафта, но все корреспонденты знают, что их газеты не печатают почти ни слова из того, что он скажет. Можно отдохнуть и подумать о жаре, о предстоящем отпуске, о рыбной ловле или просто о холодном напитке из сельтерской, джина и лимона.

Сенатор Пеппер говорит, между прочим, что лучше было бы Конгрессу начать преследование крупных монополий, чем ополчаться против мнимой «монополии профсоюзов». Он называет гигантские корпорации — «Дженерал электрик», «Стандард ойл», «Бауш энд Ломб» и другие тресты, которые грабят Америку, которые саботировали оборону во время войны из-за картельных договоров с фашистскими концернами. Пеппер показывает, что закон Тафта выгоден только этим трестам и фактически написан ими.

Сенатор Пеппер говорит: «Если бы не существовал монополистический контроль над 90 процентами прессы, которая лгала про покойного Рузвельта, если бы народ знал и понимал факты,—сегодня у нас была бы лучшая Америка и более богатое и счастливое население, чем у нас на сегодняшний день есть».

Карандаши-одиночки чиркают что-то в блокнотах. Остальные мирно покоятся в карманах.. Все равно этого никто не напечатает!.. Сенатор Эльберт Томас называет детище Тафта «законом о рабстве труда». Он доказывает, что и Гитлер и Муссолини по началу провели аналогичные законы, а потом уже перешли просто к «закону дубинки».

Репортеры устало дремлют.

Сенатор Эйкен, республиканец из Вермонта, говорит по поводу рекламной кампании прессы вокруг закона Тафта-Хартлея:

«Мы были подвергнуты самой интенсивной, дорогостоящей и злостной пропаганде, которой когда-либо подвергался Конгресс ... Я не говорю о кампании пропаганды, которую вели профсоюзы... Я говорю о той кампании, которая стоила миллионы долларов. Меня не удивит, если выяснится, что она стоила по крайней мере сто миллионов долларов. Прошлой весной я докладывал сенату, что кампания при помощи платных реклам в газетах, направленная против рабочих, стоила «Национальной ассоциации промышленников» два миллиона долларов за один март месяц».

Репортеры шуршат на свет и зевают. Говори, говори, сенатор, все равно мало кто вне этих стен услышит твои слова!

Через несколько часов в киосках появились газеты. Разморенные жарой люди прочли заголовки через всю первую полосу. Смысл их (с вариациями) был — «Тактика obstruction задерживает голосование нового закона о профсоюзах». Речь Тафта дана со всеми онёрами. О доводах оппозиции — ни слова: они, мол, просто — «obstruction». В некоторых передовых нелестное упоминание о «Красном Пеппере» (игра слов: «пепер» — перец).

Два миллиарда долларов, которые 1.750 газет получают в год за объявления от торговых, финансовых и промышленных предприятий, придушили голоса Пеппера, Томаса, Эйкена, но создали рупор для Тафта и его единомышленников. Подавляющее большинство американского народа так и не узнало, что происходило под сводами Капитолия в жаркие дни начала лета 1947 года.

23 июня 1947 года реакционный закон Тафта-Хартлея прошел. Вето, которое президент Трумэн наложил на него, несомненно для профформы, Конгресс отменил, как бумажку. На остаток свободной прессы в Америке надет намордник. Если закон будет применяться со всей строгостью, газеты профсоюзов и общественных организаций не смогут и рта раскрыть по политическим вопросам. Из буржуазной прессы же вы узнаете, что новый закон — это прочный столб, подведенный под купол демократии, хранящий «собственную господа бога страну».

На американскую прогрессивную печать наступает задыхающийся от собственной концентрации монополистический капитал. «Национальная ассоциация промышленников», этот своеобразный «профсоюз эксплуататоров», является генеральным штабом, руководящим этим наступлением. Ассоциацией заправляют несколько десятков крупнейших корпораций-монополист, обычно принадлежащих финансовым или промышленным династиям. Неважно — двести ли этих династий, как пишет Джордж Сельдес, или шестьдесят, как утверждает Фердинанд Лендберг. Важно то, что на судьбу и благополучие американского народа систематически покушается численно крошечная, но располагающая гигантскими ресурсами группа людей. В руках этой группы сырье, заводы, машины, банки, Конгресс, суды, административный аппарат, школы и, наконец, пресса.

### *Комитет одиннадцати*

Сенатор Эльберт Д. Томас в дебатах о законе Тафта-Хартлея раскрыл, что тайной кампанией против организованных рабочих руководил орган «Национальной ассоциации промышленников», так называемый «Комитет специальных конференций». Это своего рода «военный совет» в «генеральном штабе» монополистического капитала. Пресса ни словом не обмолвилась об этом заявлении сенатора Томаса. И не удивительно, ибо этот комитет обладает достаточной властью, чтобы сломать шею любому издателю газеты, который осмелится пойти ему наперекор, хотя бы только в мягкой форме упоминания о его существовании. Важнейшее разоблачение сенатора не было «замечено» ни одной буржуазной газетой в США, включая сюда и обычно не пропускающие таких разоблачений либеральные органы. Это, как говорят американцы, «горячая картошка», о которую можно больно обжечь пальцы. Но ведь волков бояться — в лес не ходить. Есть и в Америке люди, которые помнят об этой поговорке. Тем более, что в лес ходить в данном случае вовсе не нужно. Достаточно пройти в одну из роскошных гостиниц на Парк-авеню.

Мягко дохнув сжатым воздухом, лифт несет нас на один из верхних этажей. Полный, упитанный коммивояжер высшего полета при входе дамы в лифт снял шляпу и тут же пыхнул ей в лицо сигарным дымом. Бой с вежливо-скучающим детским лицом выносит за ним кожаный чемодан, похожий на гипертрофированный портфель. Выше. Выпорхнула расчихавшаяся от сигарного дыма дама. Выше. В коридоре одного из верхних этажей пусто. В зеленом ореоле лампы сидит дежурная по этажу. Она вопросительно подымает брови, услышав четырехзначный номер апартаментов, в который простым смертным ходить не полагается. В этом номере не живут. В нем только заседают. Проходите мимо нее быстрее с таким видом, что вы один из тех, которым там надлежит заседать. Один из одиннадцати!

Пройдя Спиллу, вы нарывааетесь на Харибду. По мягкому ковру перед дверьми заветного апартаментов бесшумно, но твердо ходит крупный человек. Чувствуется, что его сила — в весе его тела и этим весом он, несмотря на кажущуюся неуклюжесть, умеет ловко пользоваться. Он увидел, что к порученным ему дверям подошли. Глаза, как гускые буравчики, Сакраментальная фраза: «Что я могу для вас сделать?» Интонация как будто намекает: «Если нужно, могу и бока намять...»

При имени «Комитета специальных конференций» частный сыщик улыбается одним углом рта, «Нет, такого здесь нет... Почему бы вам не обратиться к мистеру Эдуарду С. Каудрику, Рокфеллер-плаза 30». Сыщик весит больше восьмидесяти кило, двери добротные. Делать нечего, надо попытаться счастья у мистера Каудрика.

Свечой упирается в небо небоскреб на площади, названной не именем героя, патриота или ученого, а именем величайшего нефтяного разбойника в истории. Опять лифт несет вас в поднятую под небеса преисподнюю Золотого тельца.

Мистер Каудрик изысканно любезен, даже мягок.

«Комитет специальных конференций»? — лицо мистера Каудрика изображает несходительность и сочувствие вашей отсталости. «Он, как таковой, больше не существует. Да, да, бывают собрания, иногда в индивидуальном порядке (он так буквально и сказал), иногда групповые, но мы уже больше не организованы». И, сам как будто чувствуя, что он говорит что-то не то, мистер Каудрик, профессия которого носит громкое, но не особенно почтенное название «консультанта по индустриальным отношениям», добавляет с несколько ассиметричной, попросту кривой улыбкой: «...Если вообще вам понятно это тонкое различие». Тонкое различие вам непонятно, но большего от мистера Каудрика добиться трудно. «Подготовил ли комитет проект закона Тафта-Хартлея? Конечно, нет! Да, он обсуждался на собраниях, но только потому, что это была интересная новость. Газеты были этим полны...»

А в это время в гостинице, под охраной частных сыщиков, заседают одиннадцать человек, которые ворочают делами по поручению одиннадцати крупнейших из крупнейших монополий. Эти одиннадцать трестов пользуются трудом 1.300.000 рабочих, выплачивают ежегодно зарплату на сумму 2,4 миллиарда долларов и активы их составляют 13,5 миллиарда долларов.

Эти одиннадцать человек, имена которых отлично известны тем, кому ведать надлежит, а также тем немногим, которые дают себе труд порыться в отчетах Конгресса, представляют таких левиафанов американского бизнеса, как «Америкэн телеграф энд телефон компани», «Бетлэм стил компани», «Дюпон де немур», «Дженерал электрик», «Дженерал моторс», «Гудийр роббер компани», «Интернационал харвестер компани», «Эрвинг трест», «Стандард ойл оф Нью-Джерси», «Юнайтед стейтс роббер компани», «Вестингауз электрик энд мануфакчуринг компани».

Миллионы телефонных аппаратов и километров кабеля... Миллионы тонн стали... Миллионы автомобилей и пухлых шин, на которых они катятся по свету... Сельскохозяйственные машины... Банковские кредиты... Нефть, моря нефти... Чудесные электрические аппараты всевозможных типов и назначений...

А за ними медные и оловянные рудники, в которых работают южно-американские полурабы. Каучуковые плантации под убийственным солнцем тропиков, огромные заводы сельскохозяйственных машин Мак Кормиков. Тысячи первых закладных на дома и землю людей, попавших в трудное положение и которым банк «Эрвинг трест» ссудил деньги. Вышки и нефтепроводы. Колоссальные засекреченные лаборатории в Скенектади и других местах. Полиция и суды. Провинциальные политики и члены Конгресса. Наконец — армия и флот США.

Перед апартаментом отеля ходит сыщик. Он за пятьдесят долларов в неделю, не считая чаевых, охраняет одиннадцать человек, которые заседают за дверьми и решают вопросы жизни и смерти для десятков миллионов людей, даже и не подозревающих, что есть такой «Комитет специальных конференций» и что они от него зависят больше, чем когда-либо зависели от неограниченного монарха его подданные.

Эти одиннадцать фактически написали текст закона Тафта-Хартлея. Он свяжет по рукам и по ногам пятнадцать миллионов организованных американских рабочих. Он

заткнет глотку той небольшой прогрессивной части прессы, которая все еще боролась и разоблачала то, что прямо или косвенно исходит от зловещего «комитета». Эти одиннадцать вдохновили «доктрину Трумэна» и предначертали «план Маршалла». От них все «качества» американской внутренней и внешней политики, сводящейся к жестокой борьбе против трудящихся у себя дома и к безудержной империалистической экспансии за рубежом.

Конечно, одиннадцать членов «Комитета» действуют не самовольно, от себя. Они представляют крупнейших китов из 16 000 фирм—членов «Национальной ассоциации промышленников». Но такова концентрация власти капитала внутри самой НАП, что на ее последнем съезде было вообще только 2.560 делегатов, коими заправляли, конечно, те же одиннадцать крупнейших фирм.

О том, сколько денег НАП тратит на пропаганду, можно судить хотя бы по тому, что ее «Отдел общественных сношений» во время съезда имел бюджет в 4,7 миллиона долларов.

Этой клике всецело подчиняется американская пресса, которая ежегодно получает 2 миллиарда долларов за коммерческие объявления. Эти два миллиарда являются самым очевидным, если не главным рычагом, которым НАП управляет помыслами и действиями прессы через свой филиал — «Американскую ассоциацию издателей газет».

### **Организованная коррупция**

Совершенно ясно, что для того, чтобы эти деньги действительно влияли на прессу и направляли ее по выработанной НАП политической линии без отклонений, необходимо, чтобы они распределялись из центров, которыми легко было бы руководить и которые сами были бы органически связаны с воротилами монополистического капитала.

Рядом с огромным вокзалом Гранд сентрал высится здание «Грэйбар». Здесь находится одно из четырех крупнейших рекламных агентств в США — «Дж. Уолтер Томпсон К<sup>о</sup>». Оно занимает несколько этажей, три из которых в центре пробиты насквозь и образуют трехсветный театральный зал, где устраиваются показы рекламных фильмов, выставки, съезды объявителей и т. д. В компании «Томпсон» работает несколько сот экспертов по всем видам рекламы. Писатели, художники, фотографы, сочинители лозунгов — все они по существу «ретушеры действительности». В их обязанности между прочим входит заставлять людей покупать либо то, что им не нужно, либо вещи, которые не стоят своей цены. Это — целая наука, которой обучаются на особых факультетах некоторых университетов.

Компания «Томпсон» располагает ежегодным бюджетом в 82 млн. долларов, которые она распределяет среди органов печати пропорционально их тиражу и «весу». Компания может дать, может и не дать объявление. Она является не просто агентом объявителя. Она является его политическим советником, в особенности по делам взаимоотношений с трудом. Директоры «Томпсон К<sup>о</sup>» являются одновременно директорами крупнейших промышленных и финансовых концернов. У них не только в руках деньги для прессы, у них авторитет в глазах их же клиентов.

Одному из директоров «Томпсон К<sup>о</sup>» звонит президент компании, производящей патентованные лекарства (эта индустрия одна тратит ежегодно 350 миллионов долларов на рекламу). Он спрашивается, почему в такой-то газете агентство не помещает объявлений в то время, как значительная часть клиентов его компании читает эту газету. Директор рекламного агентства терпеливо поучает своего клиента, что за последнее время названная газета заняла не совсем четкую позицию в отношении предстоящего рабочего законодательства и что в его же интересах действовать так, чтобы эта позиция была уточнена в редакционных статьях. «Дорогой мой, эту газету надо довернуть вправо, и вам лучше всего пока воздержаться от объявлений именно в этой газете. Кроме того, вы помните, что года два тому назад эта же газета поместила заметку о том, что правительством возбуждено дело против фирм, производящих некоторые патентованные лекарства (между прочим, несколько схожие с вашими), и доказало, что они вводят в заблуждение покупателя, что лекарства не только не полезны, но даже

вредны... Возмутительно? Конечно... Остальная пресса единодушно промолчала об этом, а вот эта...» Отбой. Газета объявление не получит до тех пор, пока урок не послужит ей к исправлению.

«Дж. Уолтер Томпсон К<sup>о</sup>» рисует картинки, на которых горчица выглядит сочнее и аппетитнее бифштекса, на который ее мажут, ибо их клиент торгует не мясом, а именно горчицей. Для мясного треста они рисуют божественный бифштекс, но банка с горчицей будет затушевана и мало заметна.

«Дж. Уолтер Томпсон» сочиняет рекламные лозунги, вроде лозунга рекламы одной из популярных папирос: «Я пройду пешком мило за папиросой «Камел», в то время как папиросы эти ровно ничем не отличаются от десятка им подобных марок.

«Дж. Уолтер Томпсон» пишет тексты для реклам, в которых антисептическая жидкость представляется панацеей, излечивающей все — от кашля до перхоти и от гриппа до дурного запаха изо рта.

«Дж. Уолтер Томпсон» продает продукты и покупает прессу.

Четыре крупнейших агентства этого рода — «Дж. Уолтер Томпсон», «Йонг энд Рубикэм», «Н. В. Эйер и сын», «Баттен, Бартон, Дерстин и Осборн» располагают общим бюджетом в четверть миллиарда долларов. У них в той или иной мере находятся на откупе все влиятельнейшие газеты и журналы США.

Нередко читатель, глядя на 32, а то и на 48 страниц номера газеты, которую он купил за пять центов (зместе со многими страницами чудесных объявлений), удивленно качает головой: «Как они могут все это продавать за несколько центов? И до чего дошла техника! Как все это удешевилось!» Наивный читатель не знает, что номер крупной газеты, который он купил за 5 центов, стоит издателю газеты не менее 20—25 центов. Разница, включая, конечно, и прибыль издателя, покрывается поступлениями от рекламы. Без рекламы газета просто не может существовать, если она не хочет или не может обращаться к своим читателям за прямой финансовой поддержкой, как это делают американские прогрессивные и рабочие органы печати.

Перед войной чикагский миллионер Маршалл Фильд основал газеты «Чикаго сан» и «Пи-Эм». Газеты эти вовсе не брали объявлений и сами рекомендовали безвозмездно те продукты, которые они считали полезными и выгодными для потребителя. В прессе поднялся вой. «Костоломы» полковника Мак Кормика ломали киоски и ноги газетчиков, которые продавали газету Маршалла Фильда. Маршалл Фильд вкладывал миллионы на покрытие дефицита газет без объявлений. Газеты его имели моральный успех. Они были своего рода отдушиной, но отдушина была мала: в Нью-Йорке на долю безрекламной «Пи-Эм» приходилось только 2,7 процента общего шестимиллионного тиража ежедневных газет. В Чикаго положение газеты «Чикаго сан» было несколько лучше, но и там она «не выгребала». В результате, в 1946 году Маршалл Фильд объявил, что он «решил изменить политику своих газет» и отныне будет принимать платные рекламы; при этом он обещал читателю, что эти платные рекламы «отнюдь не будут влиять на редакционную политику газет». Осведомленный читатель грустно усмехнулся. Попытка коммерческого издателя восстать из-под могильного камня, весящего два миллиарда долларов, окончилась неудачно. Лишний раз был подтвержден принцип, что без коммерческой рекламы газету, приносящую прибыль, издавать нельзя. Иными словами — газетный предприниматель свободным быть не может, сколько об этой мнимой свободе ни болтали на конференциях и банкетах. Всякий американский журналист по опыту отлично знает, что редакционную политику газеты, где он служит, прежде всего делает финансовый отдел, или «бизнес оффис», а потом уже редактор. Это настолько известная истина, что об этом давно уже перестали говорить в баре клуба «Гильдия американских журналистов». Новичка, заикнувшегося об этом после второго стакана виски, засмеют, как засмеяли бы человека, который стал бы серьезно доказывать на съезде астрономов, что земля вертится вокруг солнца.

Итак, коммерческий объявитель держит издателя газеты в своих руках. То, что он ему платит за объявления, составляет (в зависимости от масштаба газеты) от 66 до 80 процентов бюджета газеты. Ввиду того, что это — решающая доля бюджета, он держит издателя в своих руках не на 66—80 процентов, а почти на все сто, в особен-

ности если объявитель действует организованно, через НАП, торговые палаты, разные ассоциации промышленников по специальностям и т. д.

Но и отдельный объявитель, если он богат и могуществен, имеет, как говорит дон Базилио в «Севиальском цирюльнике», «такие аргументы», против которых не очень-то поспоришь. Автомобильная компания «Дженерал моторс» ежегодно тратит на объявления в прессе свыше 15 млн. долларов (цифры относятся к последнему довоенному году); парфюмерная и аптекарская фирма «Проктер энд Гэмбл» тратит около 14 млн.; фирма «Рейнольдс табакко К<sup>о</sup>», выпускающая папиросы «Камел», за которыми «стоит пройти пешком милю», тратит 9 млн. в год. В общем десять крупнейших в США объявителей вместе тратили ежегодно до войны свыше 90 млн. долларов на рекламу в прессе.

Эти «аргументы» пускаются в ход каждый раз, когда какая-нибудь газета хоть немного отклоняется или грозит отклониться от «пути истины», начертанного монополистическим капиталом.

Когда во время войны председатель Торговой палаты США Джонстон приезжал в СССР, за ним увязался журналист Вильям Уайт. По возвращении в США Уайт написал отвратительную клеветническую книгу о советском народе. Когда эта книга вышла, шестнадцать видных американских журналистов, побывавших в СССР, выступили с разоблачением клеветы Уайта и в открытом письме фактически назвали его лжецом. Письмо было разслано всем большим газетам. Известно, что, например, в «Нью-Йорк таймс» мгновенно позвонили из издательства, выпустившего книгу Уайта, и настоятельно «пробили» письмо журналистов не опубликовывать. Издательство каждую неделю тратит много долларов на объявления в «Таймс», и просьба его была уважена. В результате таких маневров, которые, между прочим, не всегда принимают столь грубую форму, письмо журналистов было опубликовано только в прогрессивных газетах. Широкая читающая публика так и не узнала, что шестнадцать свидетелей, некоторые из коих участвовали в поездке по СССР вместе с Уайтом, заклеили его злостные измышления и открыто заявили, что он не видел того, о чем он пишет, и не заикнулся о том, что он действительно видел.

За лжецом Уайтом осталось последнее слово. Ведь по подсчету, хотя бы на основании нью-йоркской статистики, из 6 миллионов читателей газет 5,6 миллиона, то есть 93,4 процента, читают реакционные газеты «Таймс», «Геральд-трибюн», «Дэйли ньюз», «Миррор», «Джорнал-америкэн», «Сан» и «Уорлд-телеграм».

Издателям книги Уайта опубликование письма шестнадцати журналистов грозило убытками. Продажа книги могла сократиться. Но это — мелочь в сравнении с тем эффектом, который был бы произведен в стране. Кампании клеветы на СССР был бы нанесен серьезный удар. Был бы пролит некоторый свет на действительность. Это было бы невыгодно уже всем реакционным кругам Америки. Поэтому требование издателей замолчать письмо было бы в случае упорства газет (весьма маловероятного) поддержано сначала «Национальной ассоциацией издателей», потом Торговой палатой США и, наконец, одним из органов «Национальной ассоциации промышленников». Дело могло дойти и до нашего малопочтенного знакомого — мистера Каудрика, «консультанта по индустриальным отношениям» при таинственном «Комитете специальных конференций».

Могут сказать: позвольте, ведь фирм-объявительниц, состоящих членами НАП, — около 16.000, а читателей — около пятидесяти миллионов. Ведь в конечном итоге решающим фактором является читатель, ибо он покупает газету, он читает объявления и он покупает рекламируемые товары. Если читатель начнет оказывать давление на прессу в желательном ему смысле, то перед его волей придется склониться всяким херстам, говардам, мак кормикам, паттерсонам и другим «лордам прессы».

В теории это неоспоримо правильно. На деле же выходит иначе. Американские капиталисты сплочены. Они взаимно связаны трестификацией, картельными соглашениями, слияниями фирм и другими явлениями эпохи монополистического капитала.

Положение же читателя-потребителя совсем иное. Он не организован, если не считать членом прогрессивных организаций, разоблачающих коммерческую ложь прессы.

Представителю объявителя или, еще лучше, ассоциации объявителей достаточно позвонить в редакцию любой газеты по телефону и сказать: «Дорогой редактор, нам кажется, что ваша последняя передовая по вопросу о новом законе Тафта-Хартлея не совсем правильно освещает вопрос. Вы не хуже нас понимаете, что закон этот должен быть проведен, и мы уверены, что вы... э-э... подумав, измените свою точку зрения и в ближайшие дни разъясните свою подлинную позицию в новой передовой».

Бывают случаи и похлеще. Так, гордящийся прозвищем «великий громовержец», «Нью-Йорк таймс» в самом разгаре предпоследней предвыборной кампании внезапно изменил своей демократической партии и выступил... против ее кандидата Рузвельта. Можно себе представить, какое давление было оказано на мистера Сульцбергера, владельца «Таймс». Не то чтобы ему—крупному капиталисту—особенно дорог был Рузвельт и его социальные идеи, но ведь есть партийные связи и интересы, наконец есть также «редакционное самолюбие». Однако НАП не могла допустить, чтобы полмиллиона читателей и потенциальных избирателей на таком решающем участке, как Нью-Йорк, читали за утренним кофе, что Франклин Рузвельт хороший президент и что его следует переизбрать. И «великий громовержец», жалко пискнув, вывернулся наизнанку.

### *Читатель почти беспомощен*

Протест читателя против подаваемой ему его газетой отравы выражается различно. Один со злости комкает газету и кидает ее в камин. Другой острит на тему о том, что ею лучше всего прокладывать на лето зимние вещи. В большинстве случаев, и после этого читатель купит ту же самую газету. Он знает, что от перемены названия мало что изменится в смысле содержания. Ведь сейчас вся капиталистическая пресса США в отношении основных мировых вопросов напоминает ряд бутылок, украшенных старыми этикетками различных вин и напитков, но в которых налита одна и та же бурда. В этом она походит на две основные американские политические партии.

Более энергичный читатель сядет и напишет возмущенное письмо в редакцию, в котором он выскажет свой протест. Письмо это в подавляющем большинстве случаев напечатано не будет. Читательский протест погибнет в редакционной корзине, а в лучшем случае — в архиве.

Организованный протест читателя против лжи в прессе может иметь место только в весьма ограниченных масштабах. Какой-нибудь профсоюз или потребительский союз может написать письмо в редакцию. Он может пикетировать здание, где находится газета. Наконец, он может организовать обход более мелких предприятий, дающих объявления в этой газете, с целью уговорить их воздержаться, пока газета не «исправится». Но какое значение может иметь такое мелкое «действие» в жизни крупной газеты. Ну, упадет временно тираж на десять тысяч номеров! Так что же! От этого газета с крупным тиражом не только не погибнет, но и заметно не обеднеет. Небольшая неприятность — и только. Бойкот объявителей неизмеримо страшнее для газеты, чем бойкот читателей.

Если таково положение в крупных центрах, где издаются крупные газеты, то что творится в маленьких городах, где издаются свои небольшие газеты? Городов с населением в 2.500 человек и больше в США имеется немного больше 3.500 (всего «городков и городов», то есть зарегистрированных населенных пунктов в США, значит, несколько больше 16.000). Из этих 3.500 городов не больше 1.500 имеют свои или свою ежедневную газету, остальные имеют газету, выходящую раз, два раза или три раза в неделю.

Вот случай, имевший место в одном из этих городков в апреле 1947 года.

В городке Валлей-сити, в штате Северная Дакота около 6.000 жителей. Здесь издается газета «Таймс-рекорд». Читатели ее исчисляются не тысячами, а сотнями. Издатель и одновременно редактор газеты Дон Матчан, следуя своим убеждениям, выступил с поддержкой Уоллеса, против «доктрины Трумэна», высказываясь за то, что он считал соответствующим интересам его рядовых читателей. Местные бизнесмены сразу

«отполчили» на его «радикализм». Были изъяты почти все объявления, и Дону Матчану было «дружески» предложено продать свою газету, «пока не поздно». Но Матчан проявил готовность бороться. Он вынес вопрос на суд читателя, спросив его, следует ли ему или нет изменить редакционную политику? Ответ был таков: против изменения высказалось 470 читателей, за изменение — 89. Дон Матчан несомненно получил глубокое моральное удовлетворение от исхода «референдума». Однако бизнесмены, по выражению Цицерона, «кричали своим молчанием», они проголосовали долларом. Они воздерживаются от объявлений и неизбежно сломят строптивного редактора. Еще одной честной газетой в США станет меньше.

Итак, в микрокосмосе Валлей-сити, в штате Северная Дакота, мы увидели, что 5 из 6 читателей газеты высказались за либеральный редакционный курс. В макрокосмосе, который до известной степени обнимает анкета журнала «Форчун», один из трех читателей не верит прессе полностью или частично. Чем объясняется тогда колоссальное влияние прессы на общественное мнение? Почему пресса все же остается более мощным фактором пропаганды, чем радио? Почему на нее капиталом тратятся такие огромные деньги?

Во время последних избирательных кампаний до 95 процентов прессы выступали против Рузвельта, а он все же был избран. Значит, большинство людей не верит прессе.

Утвердительный ответ на этот вопрос напрашивается сам собой, но дело здесь в том — по каким вопросам американский читатель верит своей прессе и по каким он ей не верит?

Если газета проповедует ему, что для «общего процветания» страны необходимо с него, скромного труженика, взимать пропорционально более высокие налоги, чем с миллионеров-промышленников, — он прессе не верит. Если она ему говорила, что Рузвельт — коммунист, он пожимал плечами. Тут дело касается вопросов, относящихся к фактам, с которыми читатель лично знаком по опыту. Тут у него есть свое суждение.

Но если читателю ежедневно долбят, что в Турции царит истинная демократия, что Албания угрожает Греции и стоящим за ее спиной Англии и Америке, что в США цены возросли, потому что Америка «посылает хлеб России, Польше, Югославии, Румынии», и что в США ощущается недостаток станков, потому что большая часть продукции американской машиностроительной промышленности идет «на восстановление ленинградского порта», — то читатель этому верит, ибо он почти ничего не знает ни о хозяйстве своей страны, ни об европейских странах, ни о ленинградском порте.

### *Эксплуатация невежества*

Неосведомленность определенных слоев населения США по элементарнейшим вопросам истории, географии мира, современных политических событий и т. д. поистине паразитерна.

Когда много лет тому назад одна чикагская газета была привлечена Генри Фордом к суду за клевету, то один из адвокатов газеты решил «разыграть» Форда перед присяжными. Он начал задавать ему в ходе допроса ряд «общеобразовательных» вопросов, чтобы выявить его полную безграмотность. На вопрос «Кто был Бенедикт Арнольд?»<sup>1</sup> Форд ответил: «Насколько я помню — писатель...» — «Какие книги Арнольда вы читали?» — «Э-э... что-то, кажется, читал, но не помню что». Как оказалось, Форд также никогда не слыхал об англо-американской войне 1812 года и т. д. и т. д.

Но Форд — «самодельный» человек старой формации, и ему, может быть, все это было простительно. Но вот кандидат в президенты США, губернатор штата Нью-Йорк Томас Дьюи, сравнительно молодой человек, адвокат с так называемым «блестящим» университетским образованием. Передают, что на одном банкете во время последней выборной кампании он, разговаривая с бразильским послом, вежливо восхищался красо-

<sup>1</sup> Бенедикт Арнольд — вошедший в пословицу предатель, американский генерал, участник войны за независимость.

тами испанского языка и восхвалял испанскую культуру, упустив из виду ту небольшую подробность, что население Бразилии говорит на португальском, а не на испанском языке.

Совершенно недавно пишущему эти строки пришлось беседовать с двумя молодыми американцами с университетским образованием. Один из них окончил Принстонский, а другой — Колумбийский университет. Принстонец сказал: «Не понимаю, как можно иметь дело со страной (т. е. с СССР), которая уничтожила бога!» Колумбиец изрек: «Я считаю, что национализация женщин в Советской России противоречит основным законам христианской морали».

Удивительная неосведомленность некоторых американцев по вопросам, выходящим за рамки их непосредственной деятельности и жизни, объясняется рядом географических, исторических и социальных причин.

Поколениями многие американцы думали: «На юге у меня несчастные мексиканцы, на севере — горсть канадцев и моржи. Я сижу за двумя океанами, и до меня и на дикой козе не доскачешь. Какое мне дело до остального мира, если я вне пределов его досягаемости?»

Наконец, всякому, знакомому с программой и постановкой обучения в американской низшей и средней школе, известно, как мало в ней уделяется внимания истории, географии, культуре других стран. Да и своя-то страна изучается в весьма узких, примитивных рамках.

Средняя школа дает рядовому американцу набор простейших, зачастую ложных и почти всегда однобоких понятий, без социальной перспективы, без умения мыслить социально... «В Америке у всех равные права и возможности...» «Негры имеют право голосовать...» «Вашингтон с детства не лгал и нам не велел...» «Мария-Антуанетта сказала: «Если у этих оборванцев нет хлеба, пусть едят пирожные!» «У Екатерины Второй было много любовников...» «Большевики — это анархия, синдикализм, свободная любовь, массовые убийства...»

Ясно, что США могли бы ввести передовую систему обучения, но это никак не входит в расчеты могущественных монополий, подчиняющих своим интересам всю жизнь страны, в том числе и систему народного образования. Ведь мыслящие люди опасны для монополистического капитала. Таких людей труднее эксплуатировать и обманывать. Пусть лучше они интересуются игрой в мяч, смешными бульварными романами в картинках, биржей, сенсационными убийствами и любовными скандалами. Пусть читают заголовки газет и скользят по телеграммам. Пусть продолжают думать, что Америка по сей день остается «страной неограниченных возможностей для всех» и что «американский образ жизни» является для всего мира идеалом, которого разные поляки, македонцы и корейцы, местожителство которых, кстати сказать, не совсем ясно, вероятно никогда не сумеют достигнуть, но к которому они все же, под страхом обвинения в неблагодарности, обязаны стремиться.

«Доктрину Трумэна» гряднее было бы «продать» людям, которые точно знают, где находится Греция и Турция и как близко оттуда находятся запасы нефти. Пусть лучше думают, что Турция — страна гаремов, а Греция — родина непонятного языка, который поэтому называется «греческим»<sup>1</sup>. «План Маршалла» легче проглотят люди, которые привыкли думать, что «все эти европейцы» — нищие, готовые при первом удобном случае устроить революцию и вообще беспорядок, их надо научить «американскому образу жизни».

### *Подделка под „старину“*

Правителям Америки выгодно воспитывать и поддерживать в народе привязанность к старине и вытекающую из нее боязнь перемен. Это звучит парадоксально в стране, где прогресс техники движется быстрыми темпами. Но зажиточный американец

<sup>1</sup> Выражение «Это для меня — греческий язык» по-английски равносильно: «Я ничего в этом не понимаю».

охотно ставит в доме новейшую стиральную машину и рядом с ней купленное в антикварном магазине веретено XVIII века. Он обведет свой дом цементной дорожкой и снабдит гараж качающейся дверью, приводимой в движение электромотором, но перед домом он с удовольствием поставит электрический фонарь на кривом столбе из-под старого уличного керосинового фонаря.

Недаром ходовой поговоркой, в особенности среди фермеров и провинциалов, является: «Что было достаточно хорошо для моего отца, достаточно хорошо для меня». Конечно, в отношении чисто материального быта, все это — слова. Половина фермеров очень хотели бы иметь электрическое освещение, а живут при керосиновых лампах не потому, что их отцы так жили, а потому, что их районы не электрифицированы<sup>1</sup>. Старик Генри Форд, в энный раз ускоряя движение конвейера, болтал о прелестях «эры тележки с лошадкой». Он отнюдь не имел в виду, что лошадка должна заменить его автомобиль или помешать его капиталу расти и множиться. Он имел в виду «патриархальные» человеческие отношения, в которых работодатель является будто бы «отцом родным» своих рабочих, где все делается «по-семейному», не спеша, по старинке.

Боязнь коренных перемен в укладе жизни, в социальных отношениях между людьми, привязанность к этой самой старинке американцу систематически прививают. Возьмем, например, политические радиопередачи, называемые «Таун митинг оф де эр» («Городское собрание по радио»), этот форум реакционных идей. Каждую неделю по самой обширной радиосети США на этом форуме обсуждаются самые животрепещущие внутренние и международные вопросы. Это якобы возрождение старинной традиции собраний горожан в маленьких городах Америки, где каждый мог свободно высказывать свое мнение. Выступают по радио два оратора «за» и два оратора «против».

Но часть публики в зале тщательно подобрана организаторами форума, огромный звукособирающий микрофон направлен на ту часть зала, где посажены сторонники реакционных ораторов, дабы по радио создать впечатление, что эти ораторы имеют наибольший успех и что «правая сторона берет». Задаваемые из публики вопросы в большинстве случаев заранее подготовлены. Все здесь искусственно, подстроено и фальшиво. Но зато в начале и в конце собрания на сцене появляется человек, одетый в костюм городского глашатая XVIII века, который звонит колокольчиком и на старинном английском языке объявляет собрание открытым и провозглашает дату следующего собрания. У миллионов наивных людей создается впечатление, что возрождены нравы доброго старого времени, когда ни о монополиях, ни о трестах и речи не было. А в это время по приказу консорциума этих трестов и монополий сверхмощная радиостанция посылает в воздух реакционнейшую отраву под звон старинного колокольчика, на деньги крупных монополий. Современный империализм разделан под старый орех...

Конечно, было бы несправедливо и легкомысленно валить всех американцев в одну кучу и утверждать, что они неспособны к прогрессу из-за малоосведомленности и боязни перемен. В Америке есть передовая, прогрессивная интеллигенция. Недаром в США организуется своего рода «полиция над мыслями». Недаром своего рода «слово и дело» и «тайные приказы» сейчас так рьяно вводятся в американский жизненный обиход.

Прогрессивная часть американской интеллигенции хорошо осведомлена и во многих случаях неплохо политически подкована. В ее рядах насчитываются такие крупные имена, как доктор Зигерист, профессор Боас, покойный писатель Теодор Драйзер, доктор Кингсбури, писательница и драматург Лилиан Хеллман, Чарли Чаплин, скульптор Джо Дэвидсон, художник Роквелл Кент и ряд других. Активность этих передовых элементов американской интеллигенции настолько пугает американскую реакцию, что сейчас под разными формальными предлогами, но по существу за активный антифашизм, людей сажают в тюрьму. Так, недавно были посажены в тюрьму и оштрафованы лидеры Объединенного комитета помощи антифашистским беженцам доктор Барский, писатель Говард Фаст и еще девять выдающихся либеральных и прогрессивных деяте-

<sup>1</sup> Электрифицировано меньше половины американских ферм.

лей только за то, что они организовывали помощь антифашистам и, конечно, говорили и писали против фашизма.

Хотя значительная часть американских организованных рабочих находится под реакционным руководством лидеров «Американской федерации труда» и отдельных руководителей Конгресса производственных профсоюзов, в рядах американских профсоюзов есть мощные прогрессивные резервы, с которыми монополистам предстоит вести ожесточенную борьбу. Эту борьбу уже ведет буржуазная пресса. К сожалению, рабочие читают эту прессу. Возьмем прогрессивно настроенного рабочего. Допустим, что он читает газету «Дейли уоркер». Но эта газета по условиям своего существования и бюджета в большинстве случаев может давать новости дня только на другой день. У нее нет ни штата корреспондентов, ни услуг телеграфных агентств, которые есть у больших буржуазных газет, и она вынуждена своим читателям подавать «подогретые» новости. Рабочий, естественно, параллельно с «Дэйли уоркер» покупает какую-нибудь буржуазную газету, которая дает ему свежий, «забавный» и сенсационный материал, одновременно отравляя его политическим ядом.

Любопытны цифры тиража газет в Нью-Йорке, городе, общественное мнение которого задает тон стране. Вот эти цифры (за 1946 год):

Утренние газеты:

«Нью-Йорк таймс»	538.194
«Нью-Йорк геральд-трибюн»	358.813
«Дэйли ньюз» (Паттерсон)	2.354.444
«Миррор» (Херст)	1.006.279
«Джорнал-америкэн» (Херст)	673.708

Вечерние газеты:

«Сан»	303.776
«Уорлд-телеграм» (Скриппс-Говард)	383.454
«Пост»	267.826
«Пи-Эм»	164.686

---

Итого 6.051.180

Из этих цифр мы видим, что в тираже утренних газет четыре пятых приходится на самые отвратительные, реакционные газеты Херста и Паттерсона, а в тираже вечерних газет первое место занимает недалеко ушедшая от этики и стиля Херста говардовская «Уорлд-телеграм». Четыре названные газеты читают примерно три четверти нью-йоркцев.

### Чтение вскользь

С толпой едущих с работы в пригороды Нью-Йорка людей мы попадаем в поезд электрической дороги. Длинные кузова вагонов набиты доотказа. Пропеллеры вентиляции перегоняют с места на место спертый воздух. Если вагон некурящий, то половина людей жуют резинку. Если отрешиться на минуту от более или менее легкого звука чавканья, то создается впечатление, что полсотни политиканов произносят скучные речи на экране немого кино. Мужчины почти все читают газеты. Женщины или вовсе ничего не читают, или читают легкомысленные журналы вроде «Правдивые признания», «Любовные истории» и другую, слобренную завуалированной порнографией романтическую макулатуру.

Просмотрев заголовки на первой странице, рядовой американец переворачивает с десяток листов и начинает изучать последние страницы. Пожалуй, большинство углубляется в спорт, причем не столько из любви к нему, сколько потому, что вокруг спорта идет массовая игра, вроде тотализатора. Читатель вчера поставил полтинник на бейсбольную команду «Янкис» или «Доджерс» и хочет знать, выиграл он или проиграл. Потом он изучает бейсбольную ситуацию для того, чтобы вернее поставить свою ставку сегодня вечером.

Солидный, но маленький предприниматель или просто тихий биржевой маниак пробегаёт длинные столбцы с котировками акций на бирже и начинает вычислять, сляпывая карандаш, сколько он заработал или потерял.

Есть еще одна, притом численно очень большая, категория читателей, которые через несколько секунд после извлечения газеты из кармана ищут полосу бульварных романов в картинках. Херст дает их целую страницу. В этих «романах в иллюстрациях» описываются баснословные приключения «сверхчеловека», обладающего «дезинтеграционным пистолетом», при помощи которого он побеждает всех врагов; китайской пиратки, которая в бурю почему-то ходит по палубе полуголой; «лупоглазого матроса», у которого кулаки обладают ударной силой парового молота, потому что он ест шпинат. Читатели этого типа «литературы» делятся на два вида — те, которые стыдливо озираются, прежде чем углубиться в завлекательное чтение, и те, которые настолько потеряли стыд, что отыскивают карикатуры нагло, без тени стеснения.

На значительно более высокой культурной ступени стоят любители кроссвордов, но их сравнительно немного, ибо для этого занятия нужно обладать лексиконом по крайней мере в пять тысяч слов, а это дело сложное.

После проработки подобного рода материалов, от международного положения, от внутренних американских событий в мозгах большинства читателей остался только отпечаток огромных букв заголовков. Основных фактов рядовой американский читатель газет не прочел, либо прочел так быстро («до моей остановки осталось 13 минут, а нужно еще посмотреть, как расправился сегодня с бандитом «лупоглазый матрос!»), что о них сохранилось самое туманное представление, которое вдобавок испарится через день-два. Эта испаряемость облегчает задачу прессы, когда ей приходится, завравшись, выкручиваться из положения и самой себе противоречить. Американского редактора это не волнует, ибо он отлично знает, что «читатель редко помнит, что он читал».

### **„Деньги все направо“**

Что американская буржуазная пресса лжива и продажна, не является ни для кого новостью. Достаточно просмотреть любой номер любой ее газеты, чтобы увидеть, что почти каждая передовая или корреспонденция, имеющая отношение к волнующим мир вопросам, содержит ложь, клевету или — что иногда еще хуже — полуправду-полужуть о новых демократиях восточной Европы, о странах, борющихся за свою независимость против колонизаторов, об СССР.

Можно сказать даже больше: слово «продажна» уже едва ли буквально применимо к американской прессе, ибо слово это предполагает наличие акта «купли-продажи», а таковой по существу уже сейчас может иметь место только в отношении отдельных сравнительно небольших газет. Столпы американской прессы давно продались монополистическому капиталу, притом настолько основательно, что являются уже не рупорами, а интегральной частью его.

Завершился известный исторический процесс, который начался на самой заре американского журнализма.

В 1807 году, то есть на шестой год своего пребывания на посту президента Соединенных Штатов, Томас Джефферсон писал своему другу Дж. Норвелю:

«Теперь ничему, что написано в газетах, нельзя верить. Сама правда становится подозрительной, попадая в эти загрязненные органы (печати)».

Абраам Линкольн подвергался, пожалуй, больше всех политических деятелей, если не считать Франклина Рузвельта, гнуснейшим нападкам прессы, и его мнение о ней было вполне определено.

Покойный Вильям Аллен Уайт, к сожалению для него — отец вышеупомянутого автора клеветнической книги о Советском Союзе, один из немногих честных редакторов и издателей американской газеты<sup>1</sup>, говоря о неизвестном газетчике Франке

<sup>1</sup> Небольшой, но имевшей при жизни В. А. Уайта безукоризненную репутацию «Эмпория газетт», издающейся в городке Эмпория штата Канзас (население 13.000 чел.).

Монсей, выразился так: «Он превратил славную профессию в капиталовложение из восьми процентов годовых». Этот афоризм без натяжки можно уже с начала этого века отнести к 95 процентам американской прессы. Она действительно является «капиталовложением», где единственная этика — правильный учет линии, которая принесет наибольшую прибыль.

Газета в большом городе является крупным капиталовложением. Чтобы создать такую газету, надо вложить 5—10 миллионов долларов. Кроме того, в течение нескольких лет нужно вкладывать 1—2 миллиона в год на покрытие дефицита. В городе средней руки создать газету стоит от 750 тысяч до нескольких миллионов.

Тот же В. А. Уайт, на которого всегда укажет вам прижатый к стене американский редактор или издатель, как на доказательство того, что американская пресса честна, сказал однажды в речи, обращенной к «Американскому обществу газетных редакторов», председателем которого он состоял:

«Рабочие, как класс, нам не доверяют. Их недоверие отнюдь не беспричинно... Ведь так легко «политизировать» (то есть окрашивать политически) новости. В самом деле, очень трудно не «политизировать» новости, когда эти новости представляют жизненный интерес для капиталиста, который владеет газетой». Между прочим, об этой фразе в речи Уайта подавляющее большинство газет не заикнулось.

Свое презрение к прессе и суровый приговор ее лживости и продажности еще четверть века тому назад вынес выдающийся американский журналист и писатель Эптон Синклер который в своей книге «Медный чек» (что можно вольно перевести — «Цена позора») писал:

«Мы определяем журнализм в Америке так: это есть занятие, состоящее на практике в том, чтобы представлять новости дня в свете, соответствующем интересам экономически привилегированных классов и групп».

Другой выдающийся американский журналист, Джордж Сельдес, профессиональная квалификация которого была настолько высока, что такие могущественные реакционные газеты, как «Чикаго трибюн» и «Нью-Йорк таймс», долго не решались отказаться от его услуг, несмотря на его ярко выраженную прогрессивность, в конце концов не выдержал работы на кухне лжи и ушел из так называемой «коммерческой» прессы, посвятив вторую половину своей жизни разоблачению ее лживости, пристрастности и продажности. Он, пожалуй, больше, чем кто-либо другой в наше время, написал и пишет на эту тему. Его перу принадлежат такие грозные обвинительные акты против американской прессы, как книги «Этого печатать нельзя», «Свобода печати», «Лорды прессы», «Факты и фашизм» и др. Сейчас он издает в США еженедельный бюллетень «Ин факт» (вольный перевод — «По существу дела...»), посвященный опубликованию тех фактов, которые замалчивает буржуазная пресса, и разоблачению ее лжи.

В одной из своих книг Джордж Сельдес пишет: «Фашисты помешают объявления. Антифашисты не помешают объявлений... Пресса принимает объявления фашистов и стоит всегда на стороне реакции и фашизма, и против либерализма и народных интересов». И дальше: «Денег на левом крыле нет. Деньги все направо».

Сельдес так делит историю американской прессы:

1. Революционная или свободная пресса (конец XVIII и начало XIX столетия). Любой человек, имевший в кармане несколько сот долларов, мог печатать все, что ему нравится... пока его, хотя бы временно, не остановит «Закон об иностранцах и бунтарстве» («Элиен энд сэдишон акт»), это детище первого американского реакционного политического деятеля Джона Адамса, бывшего президентом США (1797—1801). Ручной пресс, некоторое количество бумаги и желание что-нибудь сказать — вот все, что было нужно тогда для издания органа печати.

2. Период внутренней экспансии и пионерства. Эра великих издателей-редакторов, от дней великой миграции на запад и золотой лихорадки до испано-американской войны. Грили, Дана и другие титаны американского журнализма ставят печать своей личности на прессу, делают ее «персональной», «индивидуальной».

3. Превращение прессы в чисто коммерческое предприятие. Грили, Дана и др. уступают место Пулицеру, Херсту, Скриппсу и др. Последние два создают первые газетные «цепи», или группы газет, принадлежащих одному владельцу и находящихся под единым редакционным контролем. Американская пресса становится чисто коммерческой. Появляется «желтый журнализм», тенденция к сенсационности ради массовости тиража. Потом наступает период, называемый «золотым веком рекламы». Однако, став чисто коммерческой, пресса пока остается более или менее свободной (вернее — «не монополизированной»).

4. Эра коррупции прессы. Пресса выросла в крупный бизнес, стала неотъемлемой его частью. Она всецело подчиняется интересам монополистического капитала, сама становится все более монополистической. Владение и управление ею сосредоточивается в беспрерывно уменьшающемся числе рук. Газеты сливаются, укрупняются. Тираж их растет, но число их уменьшается. В 1909 году в США было около 2.400 ежедневных газет. Сейчас их примерно осталось 1.750, но тираж их достиг огромной цифры в 48 миллионов.

Очень важен также факт, что только в 117 городах сейчас имеются конкурирующие между собой газеты. В остальных, примерно, 1.300 городах, где издаются ежедневные газеты, последние имеют таким образом фактическую монополию влияния на общественное мнение.

О слиянии и укрупнении газет. то есть о том, что в империалистической стадии капитализма и в газетном деле крупные акулы беспрерывно пожирают более мелких, уничтожая конкурентов, свидетельствуют многочисленные названия газет, состоящие из двух слов, соединенных тире, как например: «Геральд-трибюн», «Таймс-юнион», «Уорлд-телеграм» и др. Тире в них является символом растущей концентрации мощи в газетном деле США.

Таким образом, история газетного дела в США шаг за шагом следует, по сути дела, схеме развития капиталистического производства. Крупная газета вступила в высшую стадию капитализма, голова в голову со стальной, нефтяной, химической и другими отраслями промышленности. Ее коснулся и процесс экспорта на заграничные рынки. Об этом говорят такие факты, как парижское издание газеты «Геральд-трибюн», так называемое «международное» издание журнала «Лайф», одновременно в 60 странах, издание журналов «Тайм» и «Ньюз уик» в 10 странах, выход журнала «Ридерс дайджест» одновременно в 35 странах на английском, испанском, португальском, шведском, арабском, японском и других языках и т. д.

Времена малых, независимых, нередко честных газет безвозвратно канули в американскую Лету. Единственным исключением являются прогрессивные газеты, издающиеся по существу на средства читателей, которые ежегодно жертвуют деньги (кроме подписки) на их поддержание, а также горсть «пережитков» эры свободного журнализма в США, принадлежащая мелким либеральным издателям в глухой провинции. Из общего тиража почти в пятьдесят миллионов на долю таких честных органов прессы едва ли приходится полмиллиона, то есть один процент читателей.

Таких честных частных газет имеются в провинции десятки. Но издаются они в городах, некоторые из коих даже не числятся в списке «населенных пунктов с населением в 2.500 чел. и больше».

### *Киты прессы*

В Америке, как мы видели, около 3.500 городов и городков с населением по 2.500 человек и больше. В них издается около 1.750 ежедневных газет. Но действительное значение в формировании общественного мнения страны имеют 14 городов с населением свыше полумиллиона и с общей численностью населения примерно в 23 млн. Среди последних подлинно «ключевыми» городами являются Нью-Йорк, Чикаго и Вашингтон.

Соответственно этому и из 1.750 ежедневных газет решающее значение имеют те, которые формируют общественное мнение этих 14 городов, то есть около полусотни.

Эти газеты имеют большой тираж, большие средства, крупный бюджет объявлений, штат корреспондентов по всему миру; их политическое влияние открывает им доступ к конфиденциальной информации в правительстве, информации, которая недоступна их более скромным конкурентам.

Эти полсотни газет — киты монополистической прессы. Среди других органов ежедневной прессы они плывут, как мощные линкоры среди утлых рыбацких лодок.

Фактически эти полсотни газет принадлежат десятку людей, являющихся крупными капиталистами, владельцами не только газет, но и бумажных заводов, огромных лесных хозяйств, рудников, земельных латифундий и крупных пакетов акций разнообразнейших предприятий крупной промышленности.

Эти полсотни газет имеют общий тираж, равный, примерно, одной трети всего тиража ежедневных газет в США. Таким образом, если считать, что в США всего имеется примерно 1.500 лиц и корпораций, владеющих газетами, то окажется, что из них десять владельцев, или примерно 0,7 процента, контролируют около 30 процентов всего тиража газет. Любопытно отметить попутно, что по данным 1939 года 0,8 процента всех промышленных предприятий США давали около 39 процентов валовой продукции (в долларах). Картина положения в прессе довольно точно отражает степень концентрации монополистического капитала вообще. Давно отошли в область предания «Грилли, Дана и другие титаны американского журнализма, ставившие печать своей индивидуальности на прессу». Сейчас на их месте сидят денежные мешки, у которых одна печать — знак доллара.

### *Лорд из Сан-Симеона*

Над длинными подъездными аллеями имения Сан-Симеон высятся метелки стройных пальм. Когда с моря дует ветер, они метут ночное калифорнийское небо, как будто стараясь с него смести звезды, чтобы те не смотрели на человеческую мерзость, гнездящуюся в Сан-Симеоне.

У ворот дежурят охранники. Другие ходят день и ночь вокруг ограды. Это членовредители, стачколомы-насилыники с тяжелым взглядом на каменных лицах.

Охранники оберегают имение и заключенные в нем богатейшие коллекции средневековых рыцарских доспехов, картин, фарфора — всяких культурных ценностей, которыми хозяин Сан-Симеона уже полвека стремится пополнить полное отсутствие культуры в нем самом. Он принадлежит не к «60 первейшим» богачам Америки. Его имя значится в списке «90 денежных звезд второй величины». Поэтому его коллекции все же не полны, если не считать одной. Эта коллекция хранится в тайниках души хозяина. В ней вы найдете все, что идет в разрез с кодексами: этическим, моральным, гражданским и уголовным. Пожалуй, нет преступлений, которых хозяин Сан-Симеона не совершал за свою восьмидесятилетнюю жизнь, а в особенности за полвека своей газетной деятельности. Обман и шантаж, воровство и подкуп, членовредительство и убийство, убийство своими долларами, но чужими руками, почти без всякого риска

Имение Сан-Симеон куплено на прибыли не только от газет, которыми владеет его хозяин. Он получает доходы от эксплуатации десятков тысяч американских рабочих, мексиканских «пэонов», перувианских рудокопов. Это — сгусток прибылей от рудников «Хомстэд» в Черных горах Северной Дакоты, от мексиканских «ранчо», из которых одна «Барбикора» имеет свыше 200.000 акров, от медных рудников Серро-де-Паско в Перу, от фруктовых плантаций и консервных комбинатов в Калифорнии.

В этом современном замке средневекового «барона-разбойника» живет Вильям Рандольф Херст, влияющий на умы, взгляды и решения миллионов людей. Уверяют, что его 16 газет и несколько журналов читают в общем до сорока миллионов человек. Вероятно, это преувеличенная цифра, но за половину поручиться можно.

У Херста лицо жестокого католического прелата или, если хотите, злобной старухи. Оно расширяется книзу, что придает ему тяжелый, отталкивающий вид:

Пятьдесят лет тому назад, когда США уже вели империалистическую борьбу за остров Кубу, принадлежавший тогда Испании, но пушки еще молчали, Херст послал

своего художника Фредерика Ремингтона на Кубу, чтобы делать зарисовки во время ожидавшейся войны. Ремингтон посидел на Кубе и вынес впечатление, что войны не будет. Он телеграфировал об этом Херсту. Ответ Херста вошел в «классику» американского журнализма по своей краткости и по своему цинизму: «Вы обеспечьте рисунки. Я обеспечу войну».

Доказать это, конечно, трудно, но многие уверены, что послуживший весьма подозрительным поводом для войны взрыв американского броненосца «Мэйн» был организован не одними испанскими руками... Так или иначе, на совести Херста, по его собственному признанию, — тысячи молодых жизней американских и испанских солдат. Накануне испано-американской войны газета Херста «Нью-Йорк ивнинг джорнал» вышла с таким заголовком:

**В О Й Н А**  
**может быть**  
**О Б Ъ Я В Л Е Н А**  
**скоро**

Вторая и четвертая строки были набраны почти невидимым шрифтом. Люди вырвали газеты друг у друга из рук. Херст авансом уже снимал дивиденды с предстоявшего кровопролития. За пятьдесят лет ни этика, ни методы его не изменились. Время и седины не оказали на него своего хваленого облагораживающего влияния...

Из кабинета Херста тянутся провода телетайпов и телефонов во все его шестнадцать редакций. Утром и вечером он рассылает меморандумы своим редакторам. Они кратки и красочны. «Внушить, что генерал Деникин к августу будет в Москве» (1919 г.)... «Советская Россия пухнет с голоду» (1922 г.)... «На первое место — зверства Чека» (1937 г.). К этому добавлялось: «Иллюстрировать фотографиями». В ответ на возражение редакторов, что фотографий нет, Херст после нелестного эпитета разъяснил, что в «морге», то есть в архиве использованных фотографий, есть снимки убитых во время последней армянской резни в Турции. Газеты Херста украсились снимками груды трупов «русских жертв террора», причем «жертвы» почему-то были все чернородые, в бараньих папах.

Когда Херст вел политический торг с «Таммани холл» — организацией демократической партии в Нью-Йорке — он слал поочередно директивы примерно следующего содержания: «Помните, что «Таммани холл» — помойка политической жизни Нью-Йорка», а через непродолжительное время: «Не забывайте, что «Таммани холл» — носитель славнейших традиций американской демократии».

Когда в Чикаго появилась либеральная газета «Чикаго сан», Херст предписал принять «все меры» к тому, чтобы «отбить» у владельцев газетных киосков всякую охоту ее продавать. Во время «войны» Херста с другим разбойником прессы, полковником Мак Кормиком, владельцем «Чикаго трибюн», наемные бандиты обеих сторон ломали руки и ноги продавцов, жгли киоски и грузовики своих противников и вообще действовали соответственно моральным стандартам своих работодателей.

Сейчас херстовские меморандумы ежедневно летят с предписаниями травить коммунистов, профсоюзы, «красный» Китай, индонезийцев, греческих патриотов, новые демократии восточной Европы и, конечно, прежде всего «любимую ненависть», как выражаются американцы, Вильяма Рандольфа Херста — Советский Союз.

Хвалить приказано все реакционное, отсталое, низкое, продажное, что только есть на поверхности земного шара. Недаром один журналист-философ как-то сказал: «Американский народ должен быть по-своему благодарен Херсту за то, что он всегда ставит печать своего одобрения на любую политическую мерзость. Это одобрение — своего рода предупреждение. Оно так же полезно, как красный фонарь над дверью публичного дома».

Меморандумы летят в Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон, Бостон, Сан-Франциско, Балтимору и другие крупнейшие города США.

В соответствии с содержанием меморандумов «сан-симеонского лорда», херстовские корреспонденты лгут, прикрашивают, извращают действительность, провоцируют, клеветуют. Все это идет в херстовские газеты.

Однако далеко не одни херстовские газеты загрязняются продуктами этой кухни лжи. Существует еще херстовское телеграфное агентство, которое продает другим газетам херстовскую макулатуру. Это почтенное учреждение называется «Интернационал ньюз сервис». Это, так сказать, агентура Херста по продаже «отходов» его газет. Его услуги несколько более доступны, чем услуги «Ассошиэйтед пресс» и «Юнайтед пресс», и многие небогатые и не очень щепетильные газеты вынуждены ими пользоваться. (Впрочем, как мы увидим позже, его собратья «АП» и «ЮП» тоже далеко не без греха).

У Херста, как впрочем и других крупных газет, есть еще одна «лавочка». Это — так называемый «синдикат». В то время, как «Интернационал ньюз сервис» продает херстовские новости со всего мира, синдикат «Кинг Фишурс» перепродает не-херстовским газетам не менее опасную отраву, а именно — продукт мышления самого Херста, его передовиков, политических комментаторов, писателей по разнообразнейшим вопросам, от внешней политики до спорта и великосветских сплетен. Перепродаются профашистское освещение мировых событий, антисоветские кабинетные измышления Исаака Дон-Левина, приключения «лупоглазого моряка», одним словом все, что нужно неразборчивой, жадной до сенсации и «развлечения» газете.

Три зловещих сети заседающего в Сан-Симеоне паука растянуты по огромной стране. По их проводам ежечасно в умы миллионов людей капает отраву мысли и сознания. Сеть из 16 газет... Сеть «ИНС»... Сеть «Кинг Фишурс».

Для человека хотя бы с нормальным социальным сознанием не легко согласиться работать у Херста. Вначале это — душевная драма. Херст это понимает. Поэтому он, выжимая все соки из мелких журналистов, не скупится платить огромные деньги своим «светилам». Такой человек, как покойный политический передовик Херста Артур Бризбэйн, «блаженной» памяти Карвало, Ван Хамм и другие получали по 80—90—100 тысяч долларов в год.

В конечном итоге, решающая часть американской монополистической прессы — система сообщающихся сосудов, в которой циркулирует мутная вода. Пресса Херста — всего только один из самых низких сосудов. В нем естественно собирается концентрат грязи. По этой же причине в него журналисту попасть легче, чем из него выбраться.

### **Чикагский „трибун“**

В жаркий летний день 1947 года редактор отдела информации газеты «Чикаго трибюн» звонил в самую большую компанию, изготовляющую фейерверки. На лице у него была написана тревога. А вдруг фейерверк выйдет не лучше и не более шумный, чем какой бы то ни было фейерверк, виденный смертными дотеле? Директор компании успокоил его: все будет так, как «никогда, нигде, ни у кого не бывало».

Полковник Роберт Родерфорд Мак Кормик справлял столетний юбилей своей газеты. Сто лет показного изоляционизма — и подстрекательства к войнам, словесных атак на «банкиров и капиталистов» — и преданного служения крупному капиталу, хвастовства «правдивостью и бесстрашием» — и беспардонной, наглой лжи.

Полковник Мак Кормик не пожалел ни трудов, ни денег, ни пороха, чтобы достойным образом отпраздновать этот юбилей.

Пять тысяч тщательно отобранных и просеянных гостей приглашены на прием (пунш и печенье) в стоящее восемь миллионов долларов готическое здание газеты на бульваре Мичиган в Чикаго. Четыреста тысяч преданных читателей соберутся на берегу озера, где будет гореть огненный портрет Линкольна, заветы которого полковник Мак Кормик ежедневно попирает, и где пиротехники дадут картину атомной атаки на Хиросиму, в которую полковник Мак Кормик хотел бы превратить весь мир, за исключением его газетной империи.

За двадцать тысяч долларов Мак Кормик купил час радиосети «Мючуал» с ее 240 станциями. Правда, из этих денег четыре тысячи вернутся в его же карман, ибо он владеет одной пятой акций «Мючуал», а ее чикагской станцией — целиком. Радиоволны будут славить непоколебимый патриотизм «Чикаго трибюн».

Эта газета пишет под своим заголовком: «Величайшая газета в мире». Но о ней знаменитый американский журналист Освальд Гаррисон Виллард говорил, что она «худшая в мире», а недавний референдум среди вашингтонских корреспондентов вынес ей такой приговор: «наименее добросовестная и надежная из всех газет Америки».

Если бы состояние человеческих умов можно было изобразить в красках на бумаге, как изображается воспалительный процесс на медицинских плакатах, то на карте США в районе Великих озер появилось бы пятно хронического воспаления. От Верхнего озера вниз до Сент-Луи и от западных пригородов Детройта до Миннесоты и Айовы расплодилось зловещее пятно, соответствующее территории, на которой люди читают отраву полковника Мак Кормика.

Каждое утро в будние дни, в то время, как в этом злополучном районе закипает 1.040.000 кофейников, газету «Чикаго трибюн» за утренним завтраком читают 1.040.000 человек, а слушают чтение, вероятно, еще не меньше миллиона. По воскресеньям тираж ее доходит до полутора миллионов. «Чикаго трибюн» и ее отпрыск — «Нью-Йорк дэйли ньюз» вместе дают доход в 13 миллионов долларов в год. Одна акция «Чикаго трибюн» котируется в 42.000 долларов. Впрочем, попробуйте ее купить даже за эту цену. Дело окажется не таким уж простым.

Полковник Мак Кормик, годовой доход которого исчисляется семизначной цифрой, продолжает громить «финансистов в цилиндрах». То же делал и вскормленный финансистами Гитлер. Мак Кормик громит Англию и приглашает Черчилля на обед. Как республиканец, он распекает демократическую администрацию и молит своего бога об успехе «доктрины Трумэна». Патологический изоляционист, он кричит о том, что не следует тратить «добрые американские доллары» на Европу, и одновременно мечтает о покрытии всего мира «планом Маршалла», как гигантским векселем. Прикрываясь «здоровым американским изоляционизмом» и обманывая им простодушного читателя, полковник Мак Кормик своими капиталами участвует в американской империалистической экспансии, расплозающейся по всему миру, ибо он знает, что без экспансии его доходам скоро придет конец и «Чикаго трибюн» едва ли справит свой 125-летний юбилей. А до него 66-летний полковник, фигура которого все еще свободно, влезает в старый мундир времен первой мировой войны, твердо намерен дожить.

Полковник Мак Кормик практически вполне современный монополист. Но психологически он средневековый феодал. «Это — лучший ум XIV столетия», — сказал о нем один создатель эпиграмм, забыв при этом, что он оскорбляет память Данте. Мак Кормик представляется Мак Кормику, как закованный в сияющие латы барон-феодал с атомной бомбой вместо копья, окружающий свою «чикагскую латифундию» китайской стеной изоляционизма и одновременно собирающий дань с Ирана и Индонезии, Либерии и Парагвая, презирающий разных англичан и французов и преклоняющийся перед «стилем» английской аристократии и тонкостью французской кухни. Мак Кормик — вполне закономерное социально-политическое явление и в то же время персональный парадокс. Как «лорд прессы», он вполне на месте в двадцатом веке; как человек, он родился с опозданием на пять-шесть веков.

Самомнение полковника не имеет границ. Он мнит себя величайшим стратегом со времен Ганнибала; при этом его вовсе не смущает, что его военные предсказания о разгроме Красной Армии немцами, непобедимости немецкой авиации, жизнеспособности фашизма Муссолини и т. д. так и не сбылись.

В одном интервью он сказал: «Я ввел в школы всеобщее обучение будущих офицеров запаса. Я оснастил армию пулеметами. Я ввел механизацию и автоматику. Я был первым сухопутным офицером, который поднялся на самолете для корректировки артиллерийского огня. Я боролся, правда неудачно, за укрепление Гуама. Я утверждал, что самолеты смогут топить броненосцы. Я вывел нашу морскую пехоту из Шанхая во-время, но не мог убедить правительство, что надо вывести нашу армию из Филиппин до войны».

Прочтя все это самовосхваление, поэт Карл Сандбург заметил: «А на седьмой день он, как господь бог, почил от трудов своих». Конечно, великий стратег Мак Кормик предпочитает забыть о такой «военной заслуге», как опубликование в его

газете, в связи с депешей о морском сражении у о. Мидуэй, секретнейшего факта, что морская разведка США раскрыла японский морской шифр.

«Великий патриот» Мак Кормик однажды приказал вырезать одну из звезд из американского флага, висящего в фойе здания его газеты, как символ того, что штат Род Айланд он больше не считает одним из соединенных штатов. Род Айланд избрал в свой верховный суд демократов и этим прогневил чикагского самодура.

У поклонника старины Мак Кормика в кабинете стоит простой старинный стол, за которым сто лет тому назад начинал его дед—основатель газеты Джозеф Медилл, но сам он работает за монументальным мраморным столом. Он хочет остановить ход времени, но носит на каждой руке по хронометру с календарями, фазами луны и прочими атрибутами. В его отделанный дубом огромный кабинет посетители входят через потайную дверь, приводимую в движение педалью под столом хозяина.

В молодости Мак Кормик готовился стать судьей. В это время его кузин Джозеф Медилл Паттерсон («Нью-Йорк дэйли ньюз») писал социалистические пьесы, а его кузина «Сисси» («Вашингтон таймс-геральд»), в то время графиня Гижицкая, плясала на великосветских балах. Зловещая газетная «ось» еще не родилась. Она родилась во время свидания Мак Кормика с Паттерсоном на навозной куче за французской фермой во время первой мировой войны. Этому свиданию помог генерал Дуглас Мак Артур, в то время начальник штаба дивизии, где служил Паттерсон.

Строя «ось», Мак Кормик, этот духовный дубликат Херста, повел против газет Херста в Чикаго кровавую войну. операции коей вели профессиональные бандиты, перекупленные Мак Кормиком у Херста же.

Мак Кормик стал создавать знаменитый «конвейер от дремучих лесов Канады до «Чикаго трибюн», по которому он и вся «ось» обеспечиваются газетной бумагой.

В 1922 году радиостанция «Доблю-Джи-Эн» ворковала по случаю 75-летнего юбилея «Чикаго трибюн», что «Гомер с радостью работал бы в редакции нашей газеты, если бы она тогда существовала... То же можно сказать и о Бальзаке, Диккенсе, Марке Твэне».

В этом можно усомниться, в особенности, что касается периода между двумя войнами, когда «отвоевавший» отставной полковник Мак Кормик начал распространять свое самодержавие с редакционных статей на отдел новостей и информации, искажая, выворачивая наизнанку правду в своих интересах, то есть в интересах монополистического капитала, с персональными извращениями, соответствующими его личным «фобиям» и капризам.

Наемники Мак Кормика куплены им «с умом, душой и потрохами». Редактор отдела информации Максвелл получает 100.000 долларов в год. Заведующий отделом объявлений (в 1946 г. «Чикаго трибюн» получила больше объявлений, чем любая другая газета в США) Камбэлл — 100.000. Директор тиража Роз — 110.000. Одним из важнейших клеветов Мак Кормика является Шмон, директор и президент «Онтарио эйпер К°», бумажного комбината, который снабжает «ось». Он «командует» (у Мак Кормика и организация и терминология отдают военщиной) около 8.000 рабочих, в то время, как в «Чикаго трибюн» и в «Нью-Йорк дэйли ньюз» работает «всего по 3.200 человек». Редактор отдела спорта Урд получает 50.000 долларов в год.

Вся маккормиковская армия отравителей умов хорошо оплачивается. Она марширует с полным желудком. Сам Мак Кормик часто говорит, что ему нет дела до взглядов его журналистов. Его интересует то, что они пишут. Но люди, добившиеся материального благополучия, отлично знают, что им нужно думать, ибо впереди старость и пенсия «от больших расположений» полковника. Отставной клевет и своего рода «старший сановник двора» Мак Кормика Артур Сирс Хемминг получает пожизненно 30.000 долларов в год. За свои семьдесят лет жизни он научился и писать и думать так, как нравятся шефу.

Ответственные корреспонденты Мак Кормика получают большое жалование. Самый скромный из его тринадцати вашингтонских корреспондентов получает 137

долларов в неделю. Цена позора службы у Мак Кормика высока. Поэтому «Прогрессивному союзу журналистов» («Ньюзпэйпер гильд оф Америка») трудно проникнуть в маккормиковскую крепость, ибо там сидит сытый «гарнизон». Жестокость эксплуатация тысяч и «возвышающий обман» миллионов дает возможность Мак Кормику отлично оплачивать услуги десятков талантливых, но безропотных проституток пера.

При помощи своей армии продажных писак Мак Кормик сумел заслужить сомнительную славу издателя, «наиболее открыто искажающего новости и перемещающего центр тяжести смысла известий» в зависимости от своих интересов и желаний. Так гласит результат анкеты, проведенной среди вашингтонских корреспондентов в 1944 году. В этой тайной анкете несомненно участвовал не один маккормиковский журналист, из тех, которые получают от него «137 долларов в неделю и больше».

Беспрерывный грохот маккормиковской рекламы покрывает голос правды. Сто лет подряд в глаза читателю с заглавия ее лезет фраза: «Величайшая газета в мире». Когда происходит какое-нибудь важное или просто сенсационное событие, ни одна газета на Среднем Западе не может бросить столько высококвалифицированных репортеров, как Мак Кормик, у которого всегда есть в распоряжении дорогостоящий но необходимый «стратегический резерв» из журналистов-ассов. По всему миру носятся его корреспонденты.

Домохозяйка за приготовлением обеда прочтет душераздирающую мещанскую драму, написанную так, что у нее будет «в грудях стеснение» и «под сердце подкатит». Полицейский и политикан, бизнесмен и светская барышня, рабочий и фермер — все найдут в «Чикаго трибюн» материал, который их заинтересует. Живоотрепещущий отчет о бейсбольном или футбольном матче, как будто написанный пулеметом вместо пишущей машинки; расписанная целой радугой красок великосветская драма; общепонятный, но солидно обоснованный прогноз движений биржевых курсов на ближайший отрезок времени; разоблачение очередного политического скандала; хлесткое описание зверского убийства с фотодиаграммой пути убийцы до окна жертвы и снимком окровавленной простыни... Чтиво, чтиво, чтиво... Соблазнительное, смачное, как только что освеженная туша. Нервирующее, как стаккато биржевого телеграфа. А за всем этим — страница комических картинок, игры, загадки, рецепты, анекдоты. Смотрите грустные приключения «Сиротки Анни»... Покупайте «Листерин» от ларингита, перхоти, дурного запаха изо рта и беременности...

И под этим соусом подается сообщение о том, что «Россия готовит батальоны красных китайцев для изнасилования невинных американских девушек!».. «Вот видите, Мак Кормик все знает...», — говорит один читатель. «Чепуха, опять враки!..», — возражает другой. «Маловероятно, а впрочем...», — откладывая газету, говорит третий.

Возможно, Гитлер у Мак Кормика перенял принцип: чем колоссальнее ложь, тем скорее ей поверят. Читатель все съест! Надо лишь уметь подать.

Как и у Херста, у Мак Кормика особый язык. Яркий, как вывеска шантана. Крутой, как кипяток. Сочный, как слегка загнивающий персик. Он поможет незаметно проглотить и бактерию, и битое стекло, и червя.



# СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА „НОВЫЙ МИР“ ЗА 1947 ГОД

## РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ, СЦЕНАРИИ

- Виктор Авдеев.** Гурты на дорогах, повесть. X—3.
- Юсуф Алибали.** Рам Сула, рассказ. Перевод с албанского Т. Злочевской. III—100.
- Василий Ардамагский.** Таня, рассказ. V—106.
- Ванда Василевская.** Встреча, рассказ. Перевод с польского Е. Усневич. X—52.
- Александр Гончар.** Знаменосцы, роман. Авторизованный перевод с украинского Татьяны Стах. III—3; VIII—3.
- Серж Груссар.** С партизанами Галисии. XII—67.
- Мих. Зошенко.** Никогда не забудем, рассказы. IX—148.
- Ю. Капусто.** Нагаша. VII—18.
- Р. Кармен.** Дыхание Мадрида. XII—29.
- Григорий Колтунов.** Голубые дороги, литературный сценарий. X—64.
- Сергей Крушинский.** Алтайский хлеб, повесть. IX—93.
- Вадим Лукашевич.** Прошлым летом, рассказ. IV—93.
- Евгений Петров.** Остров мира, пьеса. VI—3.
- О. Савич.** Николас. Страницы воспоминаний. XII—44.
- Константин Симонов.** Дым отечества, повесть. XI—1.
- Дмитрий Стонов.** «Раннее утро», повесть. I—105.
- Конст. Федин.** Необыкновенное лето, роман. I—37; V—3; IX—14. XII—155.
- А. Ф. Федоров,** дважды Герой Советского Союза. Подпольный обком действует. Литературная запись Евг. Босняцкого. II—35.
- Чарли Чаплин.** Комедия убийств. киносценарий. Перевод с английского М. Абкиной. XII—87.

**Илья Эренбург.** Буря, роман. IV—3; V—63; VI—43; VII—113; VIII—79.

## ПОЭМЫ И СТИХИ

- Маргарита Алигер.** Стихотворение. II—3.
- Маргарита Алигер.** Шесть стихотворений. XI—125.
- Антонио Апарисио.** Рубен Руис Ибаррури. Перевел с испанского Федор Кельин. XII—21.
- Сесар М. Арконада.** Знамя. Перевел с испанского Федор Кельин. XII—19.
- Яков Белинский.** Баден, стихотворение. II—4.
- Хосе Бергамин.** Партизанка. Перевела с испанского Инна Тьяннова. XII—20.
- Сергей Васильев.** Стихотворение. II—5.
- Сергей Васильев.** У мавзолея. VII—10.
- Педро Гарфиас.** Сталин, поэма. Перевел с испанского Федор Кельин. XII—4.
- Анатолий Гидаш.** Стонет Дунай, поэма. Перевел с венгерского Н. Заболоцкий. III—93.
- Михаил Голодный.** Стихотворение. II—6.
- Арвидо Григулис.** Ржавая вода болот, стихотворение. Вольный перевод с латышского Б. Лейтина. I—156.
- Семен Гудзенко.** Год рождения. II—7.
- Семен Гудзенко.** Баллады. VII—7.
- Евгений Долматовский.** Улица Иванова, стихотворение. II—8.
- Евгений Долматовский.** Встреча ровесников. VII—106.
- Евгений Долматовский.** Встреча ровесников. Цикл второй. IX—84.
- Александр Жаров.** Стихотворение. II—9.
- Н. Заболоцкий.** Творцы дорог, поэма. I—101.
- Н. Заболоцкий.** Город в степи, стихотворение. V—103.
- Н. Заболоцкий.** Два стихотворения. X—120.

- Камен Зидаров. Перед Новым годом. Перевел с болгарского Ян Сашин. IV—121.
- Михаил Исаковский. Стихотворение. II—9.
- Василий Казин. Стихотворение. II—10.
- Борис Карпенко. Пять стихотворений. IV—90.
- Семен Кирсанов. Лирика. II—11.
- Александр Коваленков. Размолвка, стихотворение. II—12.
- Мария Комиссарова. Стихотворение. II—13.
- Анисим Кронгауз. У Днепра, стихотворение. II—13.
- Аркадий Кулешов. Три стихотворения. Переводы с белорусского Дм. Ковалева и М. Исаковского. V—113.
- А. Куширов. Три стихотворения. Перевел с еврейского Р. Моран. IV—117.
- Крум Кюляков. Она меня ждет. Перевел с болгарского Ян Сашин. IV—120.
- Владимир Лифшиц. Река, стихотворение. II—14.
- Владимир Луговской. Два стихотворения. VII—12.
- Владимир Луговской. Фархадстрой, стихотворение. XI—130.
- Михаил Львов. Как будто я за веком, стихотворение. II—15.
- ✓ Леонид Мартынов. Крылья, стихотворение. II—15.
- Михаил Матусовский. Стихотворение. II—16.
- Михаил Матусовский. Стихи о Донбассе. X—47.
- Александр Межиров. Елена, стихотворение. II—17.
- Сергей Михалков. Три ветра, стихотворение. VIII—281.
- Сергей Наровчатov. Разговор в блиндаже, стихотворение. II—17.
- Сергей Наровчатov. Память грозных дней, стихотворение. VIII—283.
- Алексей Недогонов. Флаг над сельсоветом, поэма. I—3.
- Алексей Недогонов. Осень, стихотворение. II—18.
- Ксения Некрасова. Мальчик, стихотворение. II—19.
- Александр Ойслендер. Лавина, стихотворение. II—20.
- Дмитрий Петровский. Стихотворение. II—21.
- Александр Прокофьев. Стихотворение. II—21.
- Радой Ралин. Тито. Перевел с болгарского Ян Сашин. IV—122.
- Елена Рывина. Любовь, стихотворение. II—21.
- Виссарион Саянов. Стихотворение. II—22.
- Михаил Светлов. Возвращение, стихотворение. II—23.
- Илья Сельвинский. Стихотворение. VII—6.
- Петр Семьнин. Окраина, стихотворение. III—112.
- Константин Симонов. День рождения, стихотворение. II—24.
- Ярослав Смеляков. Песня. II—25.
- Ярослав Смеляков. Два стихотворения. VII—4.
- Ярослав Смеляков. Рябина, стихотворение. XI—129.
- Василий Субботин. Баллада о сверстнике. III—115.
- Алексей Сурков. Из тегеранского дневника, стихотворение. II—26.
- Алексей Сурков. Чикагскому фабриканту. VII—3.
- Алексей Сурков. Великий город, стихотворение. IX—173.
- Алексей Сурков. Путь победителей, стихотворение. XI—124.
- Мирдза Темпе. Два стихотворения. Перевела с латышского Ольга Мочалова. I—153.
- Николай Тихонов. Стихотворение. II—27.
- М. Турсун-Заде. Индийская баллада и другие стихи. Перевод А. Адалис. IX—3.
- Вероника Тушнова. Горит огонь, стихотворение. II—28.
- Виктор Урин. Андиджан, стихотворение. II—30.
- Федор Фоломин. Стихотворение. II—32.
- Павел Шубин. Стихотворение. II—32.
- Степан Щипачев. Застольное слово, стихотворение. II—33.
- Александр Яшин. Стихотворение. II—33.

#### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

- Борис Галин. В одном населенном пункте (Рассказ пропагандиста). XI—135.
- Евгений Кригер. Столица мира. IX—175.
- Ксения Львова. Люди одного колхоза. VI—138.
- Ариф Сапаров. Ледовая трасса. III—116.

#### КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

- Ленин и Сталин о советском патриотизме (Краткий обзор высказываний). XI—223.
- Большевистская партия и советская литература (Краткий обзор документов). V—117.

**Коренной поворот в истории человечества.**  
Передовая статья. XI—3.  
**Салют, Испания!** XII—3.

**Юсуф Алибали.** Албанская литература. III—106.

**Борис Бялик.** Горький и социалистический реализм. IX—209.

**Самед Вургуч.** Низами и советская литература. IX—240.

**Кристино Гарсиа.** Последнее письмо. XII—81.

**В. Гоффеншефер.** Заметки критика. VII—237.

**Долорес Ибаррури.** И они не покорились. XII—6.

**Александр Исбах.** Владимир Маяковский и Запад. IV—162.

**Александр Исбах.** Алексей Маресьев и Ричард Хилэри. X—185.

**Григорий Корабельников.** Самый человеческий человек. I—174.

**Лев Крупеников.** Трудовой подвиг народа. X—170.

**Василий Куриленков.** «Звезда» и «Правда» в борьбе за идейность литературы. IV—141.

**Александр Лейтес.** Советская литература на международной арене (По зарубежным откликам минувшего года). III—154.

**Г. Ленобль.** История и литература. XII—217.

**М. Мендельсон.** Гидеон Джексон и другие (Расовая дискриминация и американская литература последних лет). V—150.

**Тамара Мотылева.** Мировое значение советской литературы. VII—211.

**И. Нович.** Великое повествование о путях к великой революции. XI—274.

**Сергей Образцов.** Заметки режиссера. VI—172.

**Виктор Перцов.** Русская поэзия в 1946 году. III—172.

**Мануэль Понтэ.** Открытое письмо английскому послу в Испании. XII—84.

**Александр Родимцев,** дважды Герой Советского Союза. Воспоминания капитана республиканской армии. XII—22.

**Николай Рошин.** Черный лагерь, письмо из Франции. IV—124.

**Б. Рунин.** Молодые голоса. (Заметки о лирике). XII—191.

**Эусебио Симорра.** Там, где костер еще пылает. XII—74.

**Лев Субоцкий.** Заметки о прозе 1946 года. III—135.

**Семен Трегуб.** Писателю Константину Симонову. VI—252.

**Я. Фрид.** Одиноким камеры для человечества. VIII—285.

**М. Чарный.** Литературные заметки о советском патриотизме. XI—250.

**А. Штейн.** Нечистый дух слепого подражания. IX—190.

**Илья Эренбург.** Трагедия Испании. XII—11.

**Борис Яковлев.** Великий принцип. II—143.

**Борис Яковлев.** Ростки коммунизма и советская литература. X—146.

#### ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

**Б. Брайнина.** Константин Федин. X—122.

**Корнелий Зелинский.** Александр Фадеев. II—168.

**М. Чарный.** Алексей Толстой. VI—194.

#### ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

**Константин Симонов.** Заметки писателя. I—157.

**Илья Эренбург.** Новый век. XI—218.

#### НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

**Александр Гитович и Борис Бурсов.** 38-я параллель. X—208.

**Юрий Жуков.** Американские заметки. VI—218.

**Роман Ким.** Японская литература сегодня. VII—250.

**Сергей Козельский.** Индустрия лжи. (Быт и нравы американской прессы). XII—232.

**Александр Лейтес.** Философия на четвереньках. II—199.

**Борис Розенцвейг.** Оруженосцы Уоллстрита. X—190.

#### ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПИСАТЕЛЕЙ

**Евгений Долматовский.** Как подобает молодым (Иосиф Уткин). V—168.

**И. Рахтанов.** Военной дорогой (Иосиф Уткин). V—171.

**Лев Славин.** О Лапине и Хацревине. I—190.

**Илья Эренбург.** Борис Лапин. I—198.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

**Американские читатели о советской книге.** VI—261.

**Б. Бегак.** Москва в поэзии народов Союза. IX—246.

**Александр Борщаговский.** Волшебный камень. IV—181.

- Н. Венгров.** Статьи и речи Николая Островского. II—210.  
**Н. Венгров.** Земляки поэта. V—178.  
**Н. Венгров.** Поэт советской детворы. VII—263.  
**А. Витман.** Детская литература в годы Великой Отечественной войны. VII—273.  
**Е. Домбровская.** Вульгаризация литературной науки. X—272.  
**Александр Дроздов.** Повесть-пустоцвет. I—213.  
**Ф. Евнин.** Новая книга о Достоевском. X—261.  
**Н. Замошкин.** Жизнь строится. V—175.  
**Н. Замошкин.** Критика критики. X—265.  
**М. Зивгина.** Новая книга о Фурманове. II—218.  
**А. Кобелева.** Юный читатель о книгах. VII—279.  
**Л. Малышев.** Книга, которой не веришь. VIII—306  
**З. Марадудина.** Благодетельный ветер. VIII—304  
**А. Марголина.** Колхозная пьеса. V—181.  
**А. Марголина.** Рассказы о москвичах. IX—253.  
**Валентина Раковская.** Образы отжившие и новые. I V—185.  
**Р. Самарин.** За священными стенами Вильбавы. VII—275.  
**Академик Н. Семенов.** Рассказы о творцах науки. VII—271  
**Роман Уралов.** О советском водевиле. IV—190.  
**М. Фрадкина.** Заметки библиотекаря. VIII—308.  
**Марк Чарный.** Рассказы журнала «Огонек». I—218.
- Я. Черняк.** Вечный город. IX—257.  
**Я. Черняк.** Послесловие к предисловию. X—279.  
**А. Штейн.** Письма читателей писателям. II—215.  
**Борис Яковлев.** Некрасовский том «Литературного наследия». I—208.

#### ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

- Н. Гудзий.** В защиту грамматики, истории и науки вообще. X—282.  
**Алексей Югов.** Грамматика на защите истории. I—200.

#### ПАРОДИИ И ШАРЖИ

- Кукрыниксы.** С. Маршак (дружеский шарж). III—189.  
**Кукрыниксы.** Вера Инбер (дружеский шарж). V—189.  
**Борис Привалов, Борис Штейн.** Зеркальный критик. VII—286.  
**Александр Раскин.** Мужчина средних лет. Друзья-приятели (Старая сказка). II—222.  
**Александр Раскин.** Каменный гость. III—192.  
**Александр Раскин.** Очерки и дочери. V—186.  
**Александр Раскин.** Зеленая драма. VII—284.  
**Ян Сашин.** «Концепция». II—223.  
**Ян Сашин.** Крейсера соната. III—190.  
**Ян Сашин.** История падения и взлета Си-лантия Кузякина. Пешком на луну. Морячий брег. V—188.  
**Ян Сашин.** Престарелая Франция. Поэтический отклик VII—285.  
**А. Яр-Кравченко.** Рисунки. XI.



Главный редактор **Константин Симонов.**  
 Редколлегия: **Борис Агапов, Александр Борщаговский, Валентин Катаев, Александр Кривицкий, Константин Федин, Михаил Шолохов.**

Редакция. Москва 6 Пушкинская площадь. 5. (Почтовый адрес).  
 Вход с улицы Чехова. 1.

Сдано в набор 20/X 1947 г. Подписано к печати 26/XI 1947 г.  
 А 02128. Объем 16 п. л. Тираж 64.300. Заказ № 2731.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР». Москва.

Цена 7 руб.

ФРУНЗЕНСКАЯ, 44  
УПР. КОМАНД. Б. Т. И МВ  
КОМ. 506 ДЕБЕДЕРУ  
9 7 12 Ч МВР